



**Дружба
народов**

1/2023



В номере:

Реальная мистика

«Изменитель» Олега ШИШКИНА пополняет богатую палитру поджанров опубликованных в последнее время на страницах «ДН» романов: авантурные «Морос, или Путешествие к озеру» Ильи Бояшова и «Кышь, пернатые!» Александра Гриневского, роман в лицах «Цунами» Владимира Лима, плутовской роман «Химера» Елены Ермолович... Настал черед романа мистического. Мистика, переплетенная с историческими событиями и географическими реалиями, романтизм испанской войны, оборачивающийся кровавым ужасом, рутина жизни советского интеллигента, претендующего на близость к властным верхам, взбодренная происками КГБ, — всё это в изобилии присутствует на его страницах. И уже не отпускает.

«Какое слово первым будет в устах младенца»

Стихи Владимира САЛИМОНА — о младенческом лепете и Божьем слове, об ускользающем смысле жизни и непостижимости поэзии: «Так и запишет — по белому чёрным/ ближе к зиме, к четвергу/ глупая птица с характером вздорным/ стих на снегу. // <...> Но содержание стихотворенья/ неуволимо, оно/ тает, теряется./ Через мгновенье/ станет темно».

Ната СУЧКОВА подхватывает: «Весь мир — как чистая тетрадь»,

О загадке слова, вмещающего целый мир, и лирика Сергея ПАГЫНА:

«Что ещё мы с тобой споём,/ что ещё мы с тобой нашепчем,/ слов легчайшее вещество/ выдыхая в морозный воздух?..»

Выдуманная новая страна

Повесть Сергея ЗОЛОТАРЁВА «Тайный орден отечественной войны» — странная история, произошедшая в годы войны, где и сама война оказывается частью этой истории. Ее вехи — и неизвестная операция советской разведки по обезглавливанию верхушки рейха, и грандиозная Курская дуга, когда вся природа Русской земли — от человека до муравья, от святого до нечисти, от мороза до гравитации — в едином порыве поднимается на защиту своей целостности, и послевоенные события, приведшие к восстановлению монастырей...

«Мама приходит во сне...»

Глубинный житель рассказов Александра КИРОВА живет нелегкой, но честной жизнью: любовь, смерть, надежды... Вроде бы всё как у всех. Но соседи вокруг — странные, друзья — незабываемые. Даже вампиры какие-то домашние, родители любимые. «И вот хоть ты тресни, но какая-то малозначительная сценка семейной жизни... И не то чтобы пастораль, а вообще... Странная безделушка из прошлого! Кажется важнее всего на свете».

Фантазмагория в духе ее героя

«"О чем пишет твой отец?" — спрашивали Нара. "Роман о жизни!" — тот отвечал. "О чем сейчас пишет Даур?" — спросил меня Резо Габриадзе. "Роман о войне", — говорю. "Наверно, ругает грузин?" — печально проговорил Резо. Я ответила: "Резо, кого ругает Гомер в 'Илиаде'?"» Марина МОСКВИНА разворачивает перед нами историю «жизни, смерти и воскресения Даура Зантария, писателя». Ее «Райские птицы над небом Абхазии» — попытка эпоса в том его изводе, о котором писал Юлий Айхенвальд: «Он ведет свое психологическое происхождение от того свойства нашей души, в силу которого нам недостаточно жить, а еще есть у нас потребность свою и чужую жизнь рассказывать. Пережитое хочется задержать в слове, — не дать уйти прошлому».

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического брака
в экземплярах журнала обращаться
в типографию, указанную в выходных
сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2022.
Подписано в печать 21.12.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Ольга
ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. На пастушьей овчине небес. <i>Стихи</i>	3
Олег ШИШКИН. Изменитель. <i>Мистический роман</i>	7
Владимир САЛИМОН. Стихи о любви	95
Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Тайный орден отечественной войны. <i>Трактат о том, как Гитлер хотел перевернуть Землю и у него ничего не вышло</i>	98
Ната СУЧКОВА. Весь мир — открытие. <i>Стихи</i>	157
Александр КИРОВ. Рассказы	159
Роман РУБАНОВ. Координаты мест. <i>Стихи</i>	188

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Алексей АЛЁХИН. Проклятое ремесло. <i>Окончание</i>	192
---	------------

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий КАГРАМАНОВ. От какого наследства мы не отказываемся	209
--	------------

НАЦИЯ И МИР

Мария АЛЕКСАНДРОВА. Хэтер. <i>Рассказ</i>	219
---	------------

ЧЕРТА ГОРИЗОНТА

Марина МОСКВИНА. Райские птицы над небом Абхазии. <i>Жизнь, смерть и воскресение Даура Зантария, писателя</i>	223
--	------------

КРИТИКА

О любви, выборе, воле к жизни, иллюзиях и надежде. <i>Заочный «круглый стол»</i> Алексей ВАРЛАМОВ, Александр ГРИГОРЕНКО, Елена ДОЛГОПЯТ, Илья КОЧЕРГИН, Михаил КУРАЕВ, Владимир ЛИДСКИЙ, Александр МЕЛИХОВ, Валерия ПУСТОВАЯ, Дмитрий ШЕВАРОВ — о своей настольной книге 2022 года ..	248
--	------------

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Сове Минервы пора вылетать (Н.Русова. «Книги, годы, жизнь: Автобиография советского читателя»; А.Голубев. «Вещная жизнь: материальность позднего социализма»; Л.Фишман. «Эпоха добродетелей: после советской морали»)	261
--	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Попытка удержаться	268
--	------------

Сергей Пагын

На пастушьей овчине небес

Рождественское

Т.Н.

Обнулённая январём,
жизнь в заснеженный входит вечер.
Что ещё мы с тобой споём,
что ещё мы с тобой нашепчем,

слов легчайшее вещество
выдыхая в морозный воздух?
Омоложены Рождеством
и вода,
и земля,
и звёзды.

* * *

В тишине подступает так близко
небо с белой овечьей дохой.
И ты можешь без всякого риска
о неё потереться щекой —

не ударит божественным током,
не царапнет летящей звездой.
И глядят из мерцающих окон
те, кто в прошлом прощался с тобой.

Отворяют запретные двери
и снежинки с порогов метут.
И нетрудно с налёту поверить,
что тебя там по-прежнему ждут.

А заснёшь в этих сумерках ранних,
и теряет прошедшее вес,
и летишь среди звёзд чужедальних
на пастушьей овчине небес.

Пагын Сергей Анатольевич — поэт. Родился в 1969 году в г. Единцы (Молдавия). Окончил филфак Бельцкого пединститута. С 2000 года — главный редактор регионального издания «Норд-инфо». Автор шести книг стихов, в том числе «Просто жизнь» (2017) и «Спасительный каштан» (2022). Дипломант Международного поэтического конкурса им.Н.С.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2010). Лауреат премии «Молодой Петербург» (2011) и др. Живёт в городе Единцы.

* * *

Человек во сне немного Бог —
он выходит ночью на порог,
и с него — в распахнутое небо...
Он в себе,
и словно бы в других.
И сидит меж мёртвых и живых
он с краюхой глины
или хлеба.

На качелях

Стоит лишь об одном — о любви и о смерти...
Но смотри — на дощечках проносятся дети
в небесах несказанных своих:
полон воздуха рот, и мурашки по коже,
и от ветра слеза...

Впрочем, это ведь тоже
о любви и о смерти — о них.

* * *

Говорят, безрадостность — это грех,
вроде богохульства и воровства...
У забора мальчик нашёл орех,
пахнут рощей сложенные дрова,

и лоснится воздух, как груши бок,
и вода озёрная золотей,
и вмещает сливовицы плоток
лёгкий жар всех прожитых сентябрей.

И такое небо, что, Боже мой,
век ходить в нём мысленно и во сне!
Но души хватает лишь на покой
в тонкокожей медленной тишине.

Но души хватает лишь на печаль,
и смотрю я долго, её познав,
на щепотку птиц, ожививших даль,
на грошовый свет придорожных трав.

* * *

Чем пахнет птица?
Солнцем и дождём,
чертополохом, облаком глубоким,
с верёвки улетающим бельём,
скворечником на вишне кривобоким.

Чем пахнет птица?
Детскою слюной,
на палочке свеченьем леденцовым,
поющей бездной,
лаской снеговой,
большой ладонью
Божьей ли,
отцовой.

* * *

От леденца порез на языке...
Как долго длится сладостное жженье!
И фантик, шевелящийся в руке, —
нечаянное детства возвращенье...

Округлый свет ворочаешь во рту —
его откроешь, и наполнен ветром,
и ранку остужаешь на ходу,
с холма спускаясь
негасимым летом.

* * *

Вчера был странный день — я ветки собирал,
сгребал листву,
смотрел на быстрых птиц мельканье...
И сад был так похож на призрачный вокзал,
наполнен золотой мелодией прощанья.

Гремел ли в небе гром, иль поезд грохотал,
и слышались гудков неясственные звуки...
Я знал, что никуда никто не уезжал.
Откуда же тогда солёный свет разлуки?!

* * *

С. Т.

Парижский дождь в молдавском захолустье...
И лето движется к мерцающему устью —
туда, где лес нищает на ветру...
Скамейки у гостиницы районной.
И кажется, что дождик полусонный,
но к нашему слетается двору

Париж, Париж — с платанами Монмартра,
с мостом влюблённых,
с «Тошнотою» Сартра —
реальность расползается опять...

Коктейль в бокале (сок с дешёвой водкой),
Камю, Кортасар — вот модель для сборки...
Но нам теперь лишь камни собирать.

Беречь живых.
Умершим ставить свечку.
И глиной мазать дедовскую печку,
не собираясь в дальние края,
хотя их много, кто туда уехал...
Ты помнишь строчку Сесара Вальехо:
«Единственное, что уходит, — это я»?

И мы уходим... меж деревьев вечных,
среди дождей, идущих бесконечно,
бессмертных птиц, поющих поутру,
над бездною несущихся без страха...

И чем мы будем? Пением и прахом
на светлом
несмолкающем
ветру.

* * *

Лист пролетает по краешку взгляда...
Мне ничего уже, осень, не надо —
птиц голосащих твоих,
долгих дымов, уплывающих в небыль,
снов шелестящих и горького неба...
Я удивительно тих.

Я удивительно пуст и спокоен,
словно зимою бесснежною скроен,
иглами инея сшит.
Строгая даль
и бестрепетность сада.

Лист пролетает по краешку взгляда...
Как же он долго летит!

* * *

Земная смерть, растущая из трав,
из мёрзлой глины, из воды грунтовой.
Но снег кружится, власть её поправ,
кружится снег — безумствующий, новый.

Прекрасный снег... Сливаются в одно
вся жизнь и смерть,
и всё теперь иное.
И страшно мне... Лишь светится окно —
дрожащее,
последнее,
родное.

Олег Шишкин

Изменитель

Мистический роман

Эту историю я выслушал десять лет назад в Гаване от одного русского на старый Новый год.

Накануне я посмотрел «Щелкунчика» в Большом театре Гаваны, и после премьеры, на шумном пати, меня представили великой слепой приме — Алисии Алонсо¹ и *этому человеку*. Суতোка премьеры, тосты, экзальтированная среда балетного мирка, брызги шампанского не дали поговорить. Тогда мы с ним и решили, что потолкуем обстоятельно наутро.

Беседа состоялась в лоджии небоскрёба на проспекте Малекон. Эмилио, хозяин квартиры, где я остановился на пути в Мексику, принёс нам кубинский кофе, напоминающий эспрессо, тростниковый сахар и ром, так что атмосфера доверительности была абсолютной. Порывы океанского бриза только подыгрывали напряжённому рассказу земляка. Мне передавалось его волнение, даже лёгкая дрожь (а там было чему удивляться). Хотя, признаюсь, было трудно поверить в замысловатый рассказ об Изменителе: то ли аппарате грёз, то ли могущественном осуществителе желаний — одним словом, предмете, имеющем характер почти что магический. Мой скепсис так до конца и не был побеждён. Хотя многое меня поразило и очень увлекло, так что мы проговорили с тем русским несколько часов. И когда он окончил рассказ, я долго вглядывался в панораму Атлантики, что открывалась с тринадцатого этажа: погода испортилась окончательно, океан сделался чёрным-чёрным, и стал накрапывать дождь...

Теперь рассказчика нет в живых и я решился-таки пересказать услышанное. Хотя понимаю, что в полной мере не смогу достичь его высокого пафоса — он-то был и жертвой, и свидетелем, а я — всего лишь его случайный исповедник.

Допускаю, что мой знакомец кое-что мог и додумать, приукрасить. Возможно, рассказу чуть-чуть добавили градуса и приторный ром, и пряный аромат курений,

Шишкин Олег Анатольевич — российский писатель, драматург, сценарист, художественный критик, журналист и телеведущий. Родился в 1963 году в Москве. Учился в Театральном институте имени Бориса Шукина. Автор множества книг, в т. ч. «Последняя тайна Распутина» и «Красный Франкенштейн. Секретные эксперименты Кремля» (2019), «Рерих. Подлинная история русского Индианы Джонса» (2022). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Алисия Алонсо (1920—2019) — балерина, хореограф, создательница Национального балета Кубы.

что ветер приносил с балкона соседки Эмилио, местной пианистки: в тот вечер она наигрывала в максимальном миноре, кажется, Chanchan¹.

Да и сам я мог что-то не расслышать, недопонять и потому исказить или истолковать превратно. (Прости меня, покойник!) Но это ведь не свойство моего сердца, а следствие прогрессирующей с возрастом тугоухости.

Да, я глухну. И врачи сказали, что скоро совсем потеряю слух...

Словом, вот во что превратился монолог того русского из Гаваны.

Глава 1

Лев в молчании

1978 год. Москва. Пятницкая, 25 — Плотников переулок, 12

1

Им всем сказали, что они вовсе не подставки для микрофонов, а советские солдаты идеологической войны в радиоэфире Московского международного радио. Что их главный жанр — это рассказ о жизни страны, а не уход в дебри искусства, где ничего не разберёшь, кроме безыдейной тематики. И весь этот доспасосизм² и хамингуёвщина, которые слова доброго-то не стоят, должны быть отринуты и в литературе, и в журналистике. Или другая крайность — писатели-деревенщики, почвенники, которые подают советского человека как дебила. Это вообще никому не интересно и не нужно, отвлекает от глубокого по своей сути переживания нового витка классовой борьбы. Тем более что в год шестидесятилетия Октября планетарная политическая схватка выходит на новый этап. И уже вот-вот произойдёт завершающая битва перед окончательным торжеством главного события мировой истории, которым является победа прогрессивных сил во всём мире...

Когда инструктор горкома партии товарищ Сеткин отбарабанил, на трибуне актового зала появился главный редактор радиостанции товарищ Кике, и понеслось:

— «Есть хлеб — будет и песня: недаром так в народе говорится», — пишет в замечательнейшей и ценнейшей книге воспоминаний «Целина» Генеральный секретарь нашей партии, трижды герой Советского Союза, величайший борец за дело мира, лауреат Ленинской премии мира Леонид Ильич Брежнев. Нашим хлебом, товарищи, является наш труд. Главной удачей в этом сезоне стала, как и всегда, передача «Коммунист у микрофона». Не мне вам говорить, что это подлинное чудо, и не мне вам объяснять почему. Я слушал передачу затаив дыхание, ловил каждое слово и повторял: всё бы так делать! Казалось бы — чего же проще? Микрофон, студия и сердце, полное огня. Твори всем на благо...

Потом Кике говорил о высоком долге, о поиске новых форм на информационном поле битвы и о приближающихся Октябрьских праздниках, когда коллектив радиостанции на всех языках мира будет освещать постановку оперы Вано Инцкирвели «Красный Октябрь», премьеры которой должна состояться 7 ноября во Дворце съездов и где впервые в мире образ Ленина будет воплощён могучим певцом на самом высоком уровне...

¹ Песня из репертуара современного кубинского проекта Buena Vista Social Club.

² От фамилии Дос Пассос. Джон Дос Пассос (1896—1970) — американский писатель, представитель литературного течения «потерянного поколения».

И вдруг Кике ни с того ни с сего угрожающе предупредил:

— Я знаю, что есть среди нас и те, кто, как говорится, наплевательски относится к высоким истинам, что принесли нам Октябрь и лично Ильич. Они могут быть даже и в этом зале: сидят сейчас и не плакуют, а потом приходится за них краснеть в ЦК партии. Мы таких горе-луковых выявим и будем с ними по-быстренькому расставаться. Для нас эти люди лишние. А в сущности, гнильца...

После «гнильцы» Кике уже никто не слушал. Сотрудники только зевали да перешёптывались в ожидании завершения традиционного и заранее известного муторного монолога.

Толику всё это порядком поднадоело.

То была обычная летучка с дежурными заклинаниями и поучениями, которую проводил главный редактор. Никакого смысла в политической болтовне в Радиодоме не было вовсе: просто так было заведено уже много лет, почти как обряд исцеления в племени бушменов.

Но пока заведённым порядком мололся весь этот вздор, Толик не мог отделаться от мыслей о странном письме, что положили ему на стол перед самым началом собрания. Конверт ничем не выделялся из общего вороха корреспонденции, разве что был с припиской «лично». Поэтому Толик его и вскрыл. Послание было таким: «У ваших родственников или у вас есть ТО, что вам не принадлежит. Отдайте ЭТО нам, пока не начались неприятности. Хорошо?»

Толик отнёсся к письму как к чьей-то дурацкой шутке и, порезав его на куски, швырнул в общую мусорную корзину. Однако уже на собрании, во время бессмысленного переливания из пустого в порожнее, он снова и снова вспоминал письмо. Только теперь анонимная угроза зудела в голове. Что-то в ней было особенное. Поэтому Толик совсем отключился от происходящего и стал делать предположения, кто же мог это написать.

Как только Кике разрешил расходиться, Толик поспешил к себе в редакционную комнату и хотел было изъять порезанный конверт из мусора и изучить подробнее, но обнаружил, что пластмассовая корзина пуста. Он спросил международника-испаниста Костю Барышева, находившегося тут же:

— А что, мусор уже вынесли?

Барышев бросил безразлично, что не следит за техникой.

Получив такой ответ, Толик насторожился. «Нет, здесь положительно что-то не то», — подумал он.

Проходя мимо буфета международного «Московского радио», он заметил Зоську, секретаршу товарища Кике, и решил с ней посплетничать. Они стали пить кофе. И тут подвалил Лёва Сосновский. Загадочный, овеванный сплетнями, пересудами, бабьими ажитациями. Он подмигнул Толику, наклонился и сказал на ухо:

— Хочешь с Зоськой покадриться, женатый мудила? Она же курва-лимитчица! Она утратила все добрые черты людей, живущих в деревне, и, приехавши в город, присосалась к товарищу Кике. Это она тебе почему-то благоволит, а вообще-то у неё две клички: Фашистка и Ильза Кох¹. Она как немецкая овчарка, бросается на всех, кто рвётся на приём к Кике. Пойдём-ка лучше на одну шикарную премьеру, там толку будет побольше, чем в нашем глубоко безнравственном буфете.

Толика удивляла прозорливость Лёвы: он всё знал точно, всё мог предсказать, а при случае сводить на закрытую вечеринку или показ. И хотя у Зоси был огромный

¹ Ильза Кох (1906—1967) — жена коменданта концлагерей Бухенвальда и Майданека Карла Коха, имела прозвища Сука Бухенвальда и Фрау Абажур.

бюст, и эта рыжая, белокожая, с конопатиной сука-стерва-оторва возбуждала в нём половой инстинкт, Толик, рассудив, всё же решил пойти с Сосновским.

Почему?

Да потому что по взгляду Лёвы он понял, что вечер предвещает какую-то тайну и интригу. Разжигая свою авантюру, Сосновский сказал, что сегодня *для своих* будет показан фильм Элема Климова «Агония». ЦК, мол, не хочет выпускать картину в прокат из-за мистики, секса, православия и откровенного облизывания Григория Распутина. Рабочий класс этого не поймёт и не примет. Но для элиты и богемы было сделано исключение. В кинозале режимной гостиницы ЦК КПСС «Октябрьская» в Плотниковом переулке, где селятся тусклые латиносы и арабские боевики с фальшивыми паспортами, где невзрачные кейсы с золотом партии передают ошалевшим от кокаина сыновьям иностранных вождей, — именно тут и решили прокрутить «Агонию» навстречу 60-летию Октября.

В «Октябрьской» вообще любили показывать не какую-нибудь «Волгу-Волгу», а «Вампирш-лесбиянок» с Соледад Мирандой¹ или «Гологрудую графиню» с Линой Ромей², «Сало, или 120 дней Содома» Пазолини³ и, конечно, любимую брежневскую «Эммануэль», с которой, как уверял всезнающий Сосновский, генсек пытался вступить в переписку.

В кинозале «Октябрьской» всегда можно было найти лишнее местечко, с невыкупленной бронью компартии Испании, Управления делами ЦК КПСС или центрального аппарата КГБ. Но дикий аншлаг случился только однажды на фильме «Изнасилование вампира» Жана Роллена⁴, который, по слухам, тайно прилетал в Москву и на премьере в «Октябрьской» дарил зрителям афродизиаки.

Откуда про все эти слухи и показы знал Сосновский, Толик догадывался. Да и его ушлый тесть дон Балтасар намекал, что Лёва парень непростой: он его однажды видел в гостинице МИДа на набережной Тараса Шевченко, там, мол, простые люди не появляются. Про Сосновского ему твердил и неудачник Борька, который, закончив факультет научного коммунизма МГУ, устроился работать дворником в Министерство иностранных дел.

— Этот твой Сосновский — совсем не тот, кем он тут себя выставляет, — предупреждал он. — Держись от него подальше. Я его в таких местах видел, что не приведи господь!

Все они Лёву где-то видели и что-то о нём знали, а Толик считал: если Сосновский может устроить проход на закрытый просмотр, да будь он хоть сам Мефистофель, надо пойти в эту гостиницу.

По правде сказать, половина контингента «Московского радио», где Толик работал, принадлежала к пенсионерам клана рыцарей плаща и кинжала, истории о которых вся страна лицеизрела в «Семнадцати мгновениях весны».

Особая таинственность порождала и особую гордость сотрудников Дома на Пятницкой. Тут существовало общество викторианских джентльменов, которых почему-то принуждали слушать бредовые политинформации, хотя со многими героями

¹ Соледад Миранда (1943—1970) — испанская киноактриса и исполнительница фламенко, снималась в откровенных картинах.

² Лина Ромей (1954—2012) — испанская актриса, снимавшаяся в фильмах о вампирах, где преобладали элементы максимальной эротики.

³ Пьер Паоло Пазолини (1922—1975) — итальянский режиссёр и писатель, близкий к коммунистам. Последняя его картина «Сало, или 120 дней Содома» была наполнена откровенными сценами. Убит в Остии.

⁴ Жан Роллен (1938—2010) — французский кинорежиссёр, создатель особого авторского жанра, совмещавшего эстетику фильмов ужасов с эротикой и даже порнографией.

международных новостей они были лично знакомы в своих прошлых личинах. Масок они не снимали даже на работе.

Толик, правда, к ним не относился. Его туда пропихнули по блату испанские родственники жены. Но на радио вместе с лихими ребятами он был частью низовой советской номенклатуры, получал свои маленькие и, как говаривал Толик по-пьяни, унизительные блага от «кровоаво-красного дьявола».

Дьявол когда-то сожрал его отца, крупного советского номенклатурщика, и закусил его матерью, но, слава богу, её не проглотил, а, поперхнувшись, выплюнул.

Так чего уж тут, рассуждал Толик, отгоняя от себя страхи: с волками жить — по-волчьи выть! Волки тоже были с этим согласны, когда внимательно слушали его в эфире радиостанции.

2

В тот вечер портье цековского отеля «Октябрьский», отличавшийся военной выправкой, проверив пропуск Сосновского и паспорт Толика, занёс их данные в свой блокнот.

Но с фильмом не повезло. В самый последний момент «Агонию» заменили итальянским фильмом ужасов «Кровавая церемония» с Люцией Бозе¹ в роли графини Батори. Заменили безо всяких извинений, сообщив лишь, что эта картина ничуть не хуже и к тому же воочию показывает уровень морального разложения западной поп-культуры.

Увидев на экране обнажённую Бозе, принимающую ванну из крови девственниц, Толик нервно пробормотал:

— Боже, какая сила в этой красавице! Она умеет выставить себя. Ух, какая чертовка!

— Ещё бы! Ты, наверное, старик-сексуалыч, немало таких в жизни встречал? — подколот Сосновский.

— Эта бестия ещё и жена тореадора Домингина!² — восхитился Толик.

Сосновский как будто не придавал этому факту значения, хотя оценил статью и сексуальность мрачноватой дивы.

Просмотренный фильм друзья решили обсудить в местном баре.

Перед входом в цековский шалман стоял новый цербер, и процедура с пропусками и паспортами повторилась.

— Эта гостиница — какой-то лабиринт, — раздражённо выпалил Толик, — за каждым поворотом тут тебя ждёт новый охранник.

— Да не кипятись ты, — сказал примирительно Сосновский. — Охранники — это элементы статуса исключительности и привилегированности. Чем выше уровень, тем больше охранников у дверей.

В этот момент из-за колонны вынырнул однорукий Эухенио. Он был испанским эмигрантом и приятелем тестя Толика. Пожилой, одевавшийся как попугай, он частенько донимал разными вопросами, назойливостью, поучениями.

— Вот не ожидал тебя увидеть на такой откровенной картине, — сказал испанец. — Ведь она настолько порочна!

¹ Люция Бозе (1931—2020) — итальянская киноактриса, известна также тем, что в 2000 году в Турегано в Сеговии открыла первый в мире Музей ангелов.

² Луис Мигель Домингин (1926—1996) — испанский матадор из профессиональной династии Домингинов, его образ использовал Э.Хемингуэй в книге «Опасное лето» (1960).

— Мне уже давно исполнилось шестнадцать, Эухенио. Или вам это неизвестно? — выпалил Толик.

— Я просто спросил тебя, увидев, что ты без жены, — продолжал испанец.

— Поверьте мне, а ещё лучше зарубите на носу, — я живу в полном соответствии с моральным кодексом строителя коммунизма! И ещё, пожалуйста, держитесь от меня подальше, — выпалил Толик. — А то, знаете, хотя мои русские гены меня сдерживают, но кавказские подбивают немного вас память.

Эухенио, кисло улыбаясь, поплёлся из бара, а Толик проводил его взглядом, полным презрения.

Только удобно примостившись за стойкой, он смог успокоиться. Выпив, Толик принялся раскладывать «Кровавую церемонию» по полкам, разглядев в ней то, чего и быть там не могло. Но Сосновский, хоть и строил из себя благодарного слушателя, оборвал Толика, обозвав испанский фильм «сусальной мистикой», сварганенной ещё при фашисте Франко. Нашёл, что там чрезмерно много крестов, монахов, голых баб и мужиков, ну а напитки из якобы человеческой крови цвета клюквы ему показались откровенной лажей.

Однако, отхлебнув «Кровавой Мери», Сосновский сдул свой критический пафос. Он перестал замечать приятеля и принялся строить глазки смазливой аргентинке, примостившейся за соседним столом. Он стал нахваливать ей Толика и нагло заявил, что у них обоих есть для неё эмоциональный план, который сделает поездку в красную Москву просто незабываемой.

Но аргентинка у Лёвы не клеилась. А когда Сосновский назвал её *chica*, то есть «девочка», она строптиво поправила: «Я тебе не чика, а сеньорита». И показала ему средний палец правой руки.

Вот в тот момент Толик почувствовал тревогу, да так сильно, что у него аж заныло плечо. Он обернулся и заметил глаза, которые смотрели на него из-за стола в дальнем тёмном углу барного зала. Они жили сами по себе, то мерцая по-кошачьи, то затухая, словно их и нет. Но Толик чувствовал этот взгляд, даже не оборачиваясь. А Сосновский настырно клеил аргентинку, видимо, считая это делом престижа.

Но вдруг Лёва оглянулся именно на «кошачьи глаза» и сделал какой-то знак. Ну, то есть даже не знак, а лёгкое движение рукой, которое можно было бы счесть случайностью. Но Толик сказал себе: «Э... что-то здесь не так». Аргентинка на ухаживанья не велась, и, бросив гиблое дело, Сосновский обернулся и спросил приятеля:

— А что у тебя-то новенького?

— Новенького? Веду цикл передач о советской опере на языке индейцев кечуа. Сегодня пересказывал им душераздирающие либретто опер «Аршин Мал Алан» Узеира Гаджибекова¹ и «Абесалом и Этери» Захария Палиашвили². Говорил, говорил, а сам представлял, как где-то в Андах у жерла вулкана сидят эти пастухи в окружении лохматых лам и слушают мои байки, наблюдая опасное извержение.

— Толь, эти твои индейцы Европе сифилис подарили, — печально произнёс Сосновский, — они ведь спали со своим скотом и заразились от него этой дрянью. Вот что принесло нам открытие Америки. А мы теперь всё это давай расхлёбывай...

— Так-то оно так, но ведь эти индейцы — они создали великую культуру... Они ведь такие там пирамиды и города построили... — стал защищать аборигенов

¹ Узеир Гаджибеков (1885—1948) — азербайджанский советский композитор-классик. Народный артист СССР (1938).

² Захария Палиашвили (1871—1933) — грузинский советский композитор-классик. Народный артист Грузинской ССР (1925).

Толик. И вдруг спросил в лоб: — Скажи, Лёва, а что за человек сейчас за нами наблюдает?

Сосновский, не поворачиваясь, ответил:

— Да из Шестого управления КГБ, наверное. Сейчас мы с тобой под микроскопом. И всё про нас известно. Как будто бы.

Сосновский ухмыльнулся, а Толик демонстративно обернулся на смотревшего — тот продолжал буровить их глазами. Ему явно что-то не нравилось. Но что?

— Толь, да не обращай внимания. Работа у него такая, — успокоил Сосновский. — Ты мне лучше вот что скажи — у тебя никто из знакомых там, адвокатов, или врачей, или просто евреев, или армян не собирает индейские безделушки из Мексики, приличные вещи из золота и даже платины? Ведь такие же встречаются в Москве? Правда? Твоя жена Кармен общается с актрисой Павловой, а она имеет большой авторитет среди антикварных дельцов. Я эту бабуся пару раз видел с такими додиками! Может быть, она что-то знает? Про мексиканские фетиши ходит много легенд по Москве. Их, кажется, привезли сюда испанские эмигранты? Есть люди, которые могли бы их купить. Серьёзные, влиятельные лица с большими возможностями и на условии полной анонимности.

Толик смерил взглядом Сосновского. Тот натянуто улыбнулся. До того неестественно, что казалось, у него на лице пластмассовая маска.

— Знаешь, Лёва, — ответил Толик, — у масонов есть такая мистическая фигура — «лев в молчании». Помолчу-ка и я лучше. Хотя нет, постой... А сколько стоит то, что мы здесь выпили?

Толик потянулся в карман за деньгами.

— Брось, — дружески ударил его по плечу Сосновский. — Это ничего не стоит. Бар входит в систему управления делами ЦК партии, за его счёт мы и выпили. Ведь мы же с тобой бойцы идеологического фронта.

— Мы с тобой оба иезуиты, но каждый по-своему, — посетовал Толик.

Сосновский добродушно рассмеялся.

— У лжи есть такая сладость, которая мозг затуманивает, она называется надеждой. А ясность-то всегда негативна. Я, конечно, про себя говорю, — пояснил Толик.

— Какой же ты бука, честное слово! — Лёва обернулся к тому самому типу и нагло подмигнул ему, чем, кажется, смутил наблюдателя.

Распрошавшись на крыльце гостиницы, каждый пошёл своим путём: Лёва на метро, а Толик по Плотникову переулку к Арбату. Проходя мимо магазина «Диета», он взглянул на горящее окно на втором этаже прямо над магазином. Там, за шторой, темнела тень его тестя дона Балтасара.

«А может, к нему имели отношения вопросы Лёвки об индейских безделушках? — размышлял Толик. — Ведь тот в последние дни нет-нет да спрашивал о тесте».

Дон Балтасар был человеком тяжёлым. И, кроме того, часть своей жизни усердно скрывал, не допуская туда ни дочь, ни уж тем более зятя.

Однажды после любовных утех Кармен призналась Толику, что у отца есть какая-то неприятная тайна. В неё, кажется, посвящена и мать. Но при Кармен родители не обсуждают этого. Она слышала лишь обмолвки или обрывки фраз, ловила намёки, ясные только им, и понимала, что там, где те замолкали, начиналась большая семейная тайна. Полной уверенности в подозрениях у неё, конечно, не было, до тех пор, пока она не услышала, как отец сказал: «Только не при Кармен. Ей всё это знать не надо. Ты поняла?»

Тайн Кармен боялась. Впечатлительная и суеверная, она подозревала, что это не просто родительский секрет, а нечто похожее на родовое проклятие. Её подозрения касались давних времён Гражданской войны в Испании, но она лишь строила предположения. Страхи Кармен, в которых она искренне призналась мужу, развеселили Толика. Он в шутку поклялся, что раскроет семейную тайну и снимет родовое проклятье.

— Тебя никто за язык не тянул. Теперь ты просто обязан найти эту тайну, иначе ты не мужчина. Ведь ты дал слово своей женщине. Это всё равно что присягнуть, — сказала тогда Кармен.

Хотя их беседа была короткой, Толик почему-то запомнил её. А тем вечером, возвращаясь после кино, он долго разглядывал в окне тень тестя — дона Балтасара.

Глава 2

*Hasta siempre, comandante*¹

1977 год. Москва. Арбат, д. 43

1

Проблемы начались, когда дон Балтасар решил уехать на Кубу. Он принял для себя решение проститься с арбатской квартирой и окончить век на тёплых Карибах. Это было лучшее место, чтобы скоротать финал жизни, полной тревог: не в больничной палате и не на морозном ветру в Москве, а погружаясь в сладкие сны на нежном песке южного побережья у Плайя Хирон² или в прогулках вдоль изумрудных лагун Хардинес-дель-Рей³.

Приятное раздражение наступало у него всякий раз, когда он нервно начинал твердить себе: «Давно нужно было послать всё к чёрту и улететь на остров».

Как там было здорово, когда в юности он гостил у брата в Гаване, пил с ним ром, а потом ездил ловить омаров на побережье в Пинар-дель-Рио! Братишка перебрался туда из Испании в поисках счастья и дармовой жизни.

В первый раз они ступили на карибский пляж в грозу. Но едва буря улеглась, братья босыми вышли на берег, забросанный водорослями. Они молчали и смотрели на запад, где чёрные тучи тушили пылающее солнце. Из облачных прорех молниями вылетали длиннокрылые птицы фрегаты и неслись над волнами, как ангелы рискованной свободы.

Пряный бриз дул с бурого кипящего океана на запад, куда уходил тайфун, накрывая крошечный кораблик, клевавший горизонт. Он мог утонуть в любой момент, свернув в жерло гигантского водоворота, но рука судьбы заставляла его продолжать мучительную жизнь, бороться до конца, покуда стучит мотор.

А на берегу царил божественная тишина.

Какое это было счастье, какое чувство свободы! Даже погружаясь в сон, он мечтал о золотых от щедрого солнца пляжах, о благоухающих пряным табаком полях, вдоль которых на двуколках ездят местные крестьяне в ковбойских шляпах.

¹ До свиданья, команданте (*исп.*).

² Пляж на карибском побережье Кубы.

³ Архипелаг на атлантическом побережье Кубы.

Там, в туфовых долинах, на горячих камнях дремлют угрюмые игуаны, а ветер шепчет всем опьяняющую тайну: «Космос всегда с тобой. Звёзды светят всем. Луна обнадёживает сбившихся с пути. Ты будешь счастлив наконец!»

— А далеко ли отсюда до Мексики? — помнится, спросил он тогда брата.

— Представь, Юкатан всего в ста километрах, — отвечал тот. — Я был там и видел пирамиды индейцев. И даже познакомился с одним колдуном, который за десять мексиканских баксов предсказал мне будущее и подарил обрубок волчьей лапы как амулет от несчастий.

Так говорил брат Балтасара, романтик и фантазёр.

Какой же сильной была мечта вернуться на тот берег, а может быть и к тому давнишнему разговору о судьбе! Забыть это было нельзя.

«Давно нужно было уехать на Кубу», — убеждал он себя много раз на дню и вспоминал Гавану, где вечером на задумчивый Малекон¹ высыпает толпа. Зеваки в романтическом безделье фланируют вдоль парапетов, что-то втирают своим женщинам, кичатся дурацкими выходками.

Он думал, как было бы здорово присесть там, в маленьком кафе, прямо на набережной и опрокинуть чуть-чуть «Куба либре», а может, и не чуть-чуть, а набратсья до зелёных чертей, потому что без *aguardiente y la cerveza*, то есть «пива и водки», эту жизнь никогда не понять.

И когда на узких приёмах в Кремле появились молодые хозяева Гаваны в военной форме, он полюбил их за патетический гонор и за желание блеснуть. Ну и за страсть к жизни, конечно.

Тогда он подумал о Кубе всерьёз.

Случай представился 26 июля в день штурма казарм Монкада², когда его пригласили в кубинское посольство. Там дон Балтасар разоткровенничался с приехавшим в Москву *comandante primo* — как было бы чудесно, если бы его старые кости приютили в Гаване, ведь бытие не бесконечно.

Прихлёбывая «Столичную» и помахивая сигарой, Фидель сказал: «Конечно, приезжай. Поселим тебя в буржуйских апартаментах в Мирамаре. Раньше там жил один жирный гринго из мафии. Там есть патио с фонтаном и сад, где круглый год пахнет можжевельником и самшитом. Будешь сидеть себе на балконе, курить вечерами ароматные *cohiba*³ и вспоминать свою славную жизнь. Ведь ты же, Балтасар, коммунист старой гвардии. А если тебе что-то потребуется ещё — скажи это старине Луису Бланко. А Луис передаст мне. Я знаю: красные испанцы — особое братство».

Луис Бланко был старинным другом Балтасара, испанским пилотом, когда-то летавшим со Сталиным в Тегеран. Грузный и грозный, он был воплощением силы, не желавшей считаться с обстоятельствами, предпочитал путь напролом. Но самое важное — Луис знал все тёмные аллеи в Кремле, хотя и жил в Гаване. Он по собственной воле уехал когда-то из СССР на Кубу, нашёл там в горах партизанскую армию Фиделя и стал её военным инструктором. По крайней мере, Луис хотел, чтобы все думали, что всё было так просто. Настоящие подробности он оставлял за скобками.

В тот вечер Бланко тоже был на приёме и вспоминал с доном Балтасаром молодость, Испанию и Гражданскую войну. Тогда, озирая Мосфильмовскую с посольской крыши, затянутой тентом, они считали, что все мечты будут теперь

¹ Центральный проспект-набережная Гаваны.

² С нападения на казармы Монкада 26 июля 1953 года начинается история революционного движения на Кубе. 26 июля государственный праздник Кубы.

³ Сорт кубинских сигар.

осуществлены, и поднимали ледяной дайкири за это и, по традиции их юности, за русских танкистов.

Потягивая коктейль, Луис Бланко сказал:

— Волки прорываются стаями, а шакалы поодиночке. Волки рассчитывают, что из них хоть кто-нибудь выживет, а шакал считает, что выживет именно он. Ну а дальше начинается судьба, ведь погибнуть могут и те, и другие. Так что дело только в сраной морали. Ну и в братской крови, без которой нам, волкам, не жить.

Балтасар соглашался с нехитрой притчей. Разоткровенничавшись, он сказал в тот миг Луису:

— В жизни всякое бывает, брат. И я тебя прошу: если старость сковырнёт меня или что ещё случится, — помоги моей дочери Кармен.

Своим визитом в Москву Бланко был обязан белому медведю, которого Брежнев подарил Фиделю со словами: «Он шёл через льды от Северного полюса, чтобы увидеть живого Фиделя». Именно за зверем Бланко и прилетел на своём Ан-12, о чём похвастал Балтасару, добавив:

— А хочешь, я захвачу и тебя? Уже завтра сядем в Гаване! Смотри, другого раза может не быть.

Так быстро собраться дон Балтасар, конечно же, не мог. Но это предложение и сказанное Фиделем на банкете задушевное «конечно, приезжай» сильно завели испанца. Он представил, как придёт в понедельник на работу в Центральный партийный архив и скажет в отделе кадров, подбоченясь: «Увольняюсь, лечу в Гавану! А то что-то я давно не грел свои кости и не дымил сигарами».

Он рассказал об этой идее и жене, а та посчитала её лучшей из возможных. Лаура только забеспокоилась: кто же вместо неё будет возглавлять испанскую секцию Союза советских писателей?

— Они без тебя не выживут, — согласился дон Балтасар, — эти полторы калеки. Что они вообще могут написать?

Язвительность не понравилась Лауре.

— Послушай, это мой кусок хлеба, и нас с тобой он тоже кормит...

Балтасар обнял её и сказал:

— Я просто хочу умереть в тёплой стране, мне грустно даже думать, что мой прах будет вмерзать в лёд.

Но в первые дни осени Лаура скончалась от сердечного приступа, и тогда желание уехать на Кубу стало для Балтасара просто нестерпимым. Он говорил Кармен об этом днём и ночью. А когда уставал об этом говорить, заключал свою тираду заветной фразой: «К тому же я уверен: что бы ни случилось, Луис Бланко выполнит то, что обещал...»

Никто до сих пор не знает, кем в действительности был тот таинственный Луис Бланко. И почему в 1945 году он командовал отрядом СМЕРШ, который по поручению маршала Жукова вылавливал эсэсовцев в центре горящего Берлина. И почему он спокойно колесил по всему свету, выныривая то в испанском Толедо, то в мексиканской Мериде, то на Микояновском мясокомбинате во время пуска пятой очереди конвейеров по производству докторской колбасы.

Он ведь тоже когда-то работал на Пятницкой, 25 в испанской редакции московского радио. Там до сих пор в отделе кадров лежит его личный бланк с последней скромной записью: «Спецкомандировка по линии ЦК партии».

2

И вот в воскресенье днём, когда старый мечтатель дон Балтасар наблюдал за Арбатом, он отметил, как невзрачный шнырь в сером пальто появился из Спасопесковского переулка и, заскочив в магазин «Консервы», взял стакан яблочного сока.

Покупатель был отлично виден из-за стеклянной витрины, особенно в театральный бинокль. Потом, выйдя на улицу, субъект долго маячил у фасада магазина, поглядывая на противоположную сторону Арбата — на окна на втором этаже, прямо над вывеской магазина «Диета». К наблюдателю подвалила его жена с ребёнком. Шнырь что-то талдычил женщине, а потом осёкся и посмотрел на стоящего в окне дона Балтасара. Эту семью шнырей испанец видел уже не в первый раз.

Вскоре у кафе «Риони» появился ещё один, на этот раз пожилой топтун, косивший под библиофила. Впрочем, может, он им и был, что легко совмещалось.

Библиофил, клюя носом, пересёк улицу перед троллейбусом, прошёл мимо «Консервов» и прилепился у витрины кафе «Ленинградское», где увлёкся чтением романа Серафимовича «Железный поток».

Ещё один тип, в роли студента, приплёлся по Арбату со стороны Смоленского гастронома. Зайдя в кафе «Диета», он взял себе дрочёны и компот, присел у стеклянной витрины, чтобы лучше видеть фасад серого дома. Был и четвёртый — «пролетарий»: он спокойно зашёл во двор дома, где грузчики «Диеты» курили с шофёром «батона» после оформления накладной.

Четыре серых типа были рядом, видели друг друга и не старались быть незамеченными для того, кто их наблюдал.

Дон Балтасар давно уже жил в квартире за арочными окнами на втором этаже над магазином «Диета». Это ведь испанцу показывали себя топтуны. Они демонстрировали чью-то волю. Кто-то считал, что дону Балтасару следует понервничать, а не мечтать о райской Кубе.

Если же говорить начистоту, то топтуны были связаны не с настоящим дона Балтасара, а с его мутным прошлым, в котором имелись всякие кляксы, и не только от чернил, но и от других органических веществ.

В дни гражданской войны в Испании дон Балтасар был комиссаром красной контрразведки в Валенсии. На ляжке его лакированной португеи болтался назидательный пистолетище, рубашка цвета хаки полиняла от тяжких трудов, а фуражка с огромным козырьком была знаком его большого чина и власти над многими людьми.

В те дни дон Балтасар дал свою «клятву Сталину» и свято, как считал, исполнял потом долг в подвалах монастыря Святой Урсулы, где находилась его ЧК.

Это его ребята в соборе Святой Марии Валенсийской позировали тогда перед фотоаппаратами газетчиков с выгашенными из церковного реликвария костями и черепами святых и блаженных. Это они подожгли исповедальню в часовне святого Грааля. Тогда вся прошлая жизнь стала историческим хламом, который нужно было вымести и развеять по ветру раз и навсегда!

Балтасар презирал всех этих *mantis religiosa*¹. Единственное пророчество, в которое верил, звучало предельно коротко: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Поэтому тогда он и кричал в соборе: «Гоните всех этих дармоедов-богомолов к чёртовой матери!»

¹ Религиозный пророк (*лат.*).

Дон Балтасар любил вспоминать дни романтической молодости, нервное «que pasa?»¹ по телефону из министерства обороны, и стоявший на рейде Картахены советский сухогруз «Комсомол» с красным серпастым флагом на мачте.

Да, и конечно, дон Балтасар никаким «доном» не был, но так иногда его называли между собой ветераны испанской гражданской войны — доживавшие свой век в Москве фанатики-коммунисты.

Он родился в небольшой бедной деревеньке в Андалусии, был по профессии механиком и считался человеком высокограмотным и правдолюбивым, почему и встал в ряды коммунистов. Когда республика пала и войска отступили к французской границе, он с женой приехал в Москву, прописался в арбатской квартире.

На стене гостиной он повесил фото загадочного и представительного американца. На снимке тот стоял спиной, лишь едва повернув голову, как будто открывал дверь, ведущую в большой внутренний двор дома. Профиль был сильно смазан, хотя, присмотревшись, можно было предположить, как тот выглядит.

И если, бывало, кто-то из гостей спрашивал дона Балтасара: «А что это у тебя там, у зеркала, за пижон такой? Жирный сытый гринго?» — хозяин квартиры кивал, поясняя:

— Это Блэкстон. Мы с ним занимались контрабандой оружия для войск республики. Он подвозил пушки из Перпиньяна к нашей границе с Францией. А там его встречал я с ребятами из Пятого полка.

— А почему из Перпиньяна? — тормозил дона Балтасара въедливый испанский старичок.

— Там жили его жена и дочь. В небольшом отеле, окружённом садом с розарием. Он любил их больше всего на свете. Милая была семейка, очень сентиментальные люди. Да и какая тебе разница, что из Перпиньяна? Он делал своё дело, мы — своё. Ты же знаешь, крови там всем досталось.

В потёртом коленкоровом альбоме дона Балтасара имелись и другие исторические фото.

То он предстал на пороге дома Василия Сталина на Гоголевском бульваре, среди бойцов диверсионного отряда НКВД, то у неприметного барака на улице Берии в Кунцеве.

В дни большой войны дон Балтасар научился проходить сквозь фронты и минные поля, минуя немецкие кордоны и даже заградительные отряды НКВД. Он знал пять языков и был ценным кадром на Лубянке.

Но и тогда он не думал о своей смерти, да и презирал желторотых неврастеников из СМЕРШа, чуть что хватавшихся за кобуру и размахивавших над головой воронёным пистолетом. «Говноеды, им фриц-то никогда в лицо не дышал!» — мог, разнервничавшись от воспоминаний, совершенно запросто сказать жене, рассчитывая, что уж она-то точно поймёт, о чём он.

Однажды ночью под Зубцовом испанец повалил немецкого офицера в сугроб и, зажав ему рот рукой, ждал, когда мимо проедет патруль полевой жандармерии. За это время немецкий «язык» откусил и проглотил его мизинец — но дон Балтасар не разжал руки: ведь он дал клятву Сталину, а это было не просто так!

Когда закончилась война, дон Балтасар привёз из Берлина не трофейную галантерею, не аккордеон и не чужое постельное бельишко, а люгер парабеллум с десятком обойм. И как только жена уходила по воскресеньям за покупками, он доставал из столового ящичка фибровый бокс и смазывал пистолет солидолом.

¹ Что происходит? (*исп.*)

С каких это забот он так рьяно лакировал опасную машинку? Чего ж он боялся, этот непробиваемый дон Балтасар?

Он знал, что рано или поздно кому-то точно понадобится его старая жизнь. Он никому об этом не говорил. Разве разок-другой жене с пояснением, что «это» будет, потому что «это» долг дьяволу. А жена понимающе кивала:

— Ну да. Блэкстон?

— Блэкстон, — кивал он.

Вот почему в тот день, терзаемый предчувствиями, испанец обозревал Арбат, вспоминая 1937-й, Валенсию и того Блэкстона, что оборачивался на него со старого фото и знал большой секрет Балтасара.

Глава 3

Жестокая музыка

1937-й. Валенсия. Отель «Метрополь», Calle Xativa, 23

1

Тёплым вечером у парадного подъезда отеля, у того места, где находился пост пулемётной роты и невысокая баррикада из мешков с песком, стояли доджи, форды, испано-сюизы. Двери авто были нараспашку. Высунув ноги на мостовую, в них сидели и лежали загорелые спортивного вида блондины в военной форме. Все эти шофёры были не испанцы.

Они частенько скучали, ожидая появления строгих боссов, которые уезжали с ними в ночь и возвращались уже под утро. Охрипшие, потные, в состоянии психического надрыва, начальники влетали в «Метрополь», и настороженный портье с колючими глазами услужливо вызывал лифт.

Это была не тихая гавань для туристов и не «кусочек старой Испании перед ареной для корриды», как пишут иной раз в теперешних бедкерах. Тут каждую секунду морзянка молилась красной Москве, заклиная прислать оружие, инструкции для новых бойцов видимых и невидимых фронтов. Отель был советским посольством.

Именно в его дверях и появился плечистый тип, сильно смахивавший на Роберта Тейлора¹, но этот статный мужчина был из Москвы. Плечистый портье у стойки слева от лифта тут же набылчился, гостя окружили перепоясанные пулемётными лентами охранники-сербы, но вышедший из лифта Наум Эйсер разрядил тревогу, радостно крикнув:

— Александр Михайлович! Ну наконец-то! Так вас тут все ждали! Хорошо доехали?

Они обнялись, потом Эйсер сказал сербам:

— Возьмите чемоданы, несите их на седьмой этаж. А мы поедем лифтом.

На пороге номера, поблагодарив Эйсера и провожатых, Соколов закрыл дверь и выглянул в окно: широкий проспект вправо уходил к вокзалу. Напротив фасада краснела кирпичная арена для корриды.

¹ Роберт Тейлор (1911—1969) — популярный актёр американского кино, снимавшийся преимущественно в романтических драмах.

Он принял душ, побрился и решил в день приезда не навещать посла — уединился у себя в номере. Ему было приятно, что начался дождь и штормовой ветер уютно свистел за окном. Блаженно распластавшись на широкой кровати, он погрузился в глубокую дрему. Однако скрипнули половицы, насторожив жильца. Он потянулся к кобуре на тумбочке...

Но половицы могут скрипеть и сами по себе, а не только оттого, что кто-то проник в комнату. Разве что призраки.

Скрип сбил к чёрту весь сон, и начался невроз последней недели: Соколов вспомнил, как очутился в Испании.

Эта история могла его погубить.

Всё должно было пойти совершенно иначе. Но...

2

Когда он с семьёй вышел из поезда на Белорусском вокзале и служебный паккард полетел по улице Горького, Соколов наслаждался тем, что всюду слышалась русская речь. Трепет алых шёлковых знамён на площади Маяковского заставил его выпрямиться и прошептать: «Это великий момент! Это даже сильнее, чем я представлял!» Навстречу автомобилю из центра Москвы летел огромный аэроплан «Климент Ворошилов». Он закрывал полнеба, а рядом с каждым его крылом парили по два истребителя. Из всех громкоговорителей на столбах несло: «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна учёных!»

О переполнявших его чувствах Соколов разоткровенничался в Центральном аппарате с начальником главка Слуцким:

— Я не встречал в Европе такой мощной энергии. Она пульсирует всюду. Кажется, что это особая субстанция, которую можно ощутить только горячим сердцем. Даже асфальт тут пахнет пряным кипарисом.

В тот момент Соколов считал, что навсегда возвратился в Москву. Он больше не хотел опасных командировок, предпочитая обживать столичную квартиру и обставлять кабинет на Лубянке. Мечталось о семейном счастье, покое, скучной жизни и переводе в транспортное или экономическое управление. Об этом он прямо и сказал Слуцкому, попросив понять его и уважить...

Тот с добродушной улыбкой кивнул и передал ключ от архива секретных текущих документов. Но когда Соколов уже решил уходить, сказал:

— Ты сам видишь: страна расправила могучие крылья. Раздавить нас не получилось. Сегодня я думаю, что всех нас придумали великие художники эпохи Возрождения. Они дали нам мускульную энергию и научили широте мысли. Иначе бы и не получился наш могучий СССР. Послезавтра приходи в дом культуры «Динамо», там состоится бал для сотрудников. Мы будем отмечать наше Первое мая.

— А кто это «мы»? — поинтересовался Соколов.

— Мы — это красная лейб-гвардия, и ты в том числе. Теперь всё будет так, как и должно быть у аристократии нового мира. Мы тем заносчивым типам, что в Европе, ни в чём не уступим. В нас клокочет нарождающийся космос, новая кровь зари человечества. И это всерьёз и надолго. Это даже навсегда, Сашка!

Бал, о котором говорил Слуцкий, оказался достойным Вены или Парижа. Тут были все приметы светского раута: вечерние платья, смокинги, джаз, светские львы и светские львицы, «Абрау-Дюрсо» и чёрная икра.

Подвешенный под потолком шар со множеством зеркальных призм вращался в лучах мощного прожектора, отбрасывая блики. Они создавали гипнотический эффект падающего снега. А по стенам скользил сияющий трафарет «СССР».

В какой-то момент из толпы танцующих вышел Семёнов — старый знакомый из жёстких операций.

Они никогда не были близки, но за бокалом шампанского тот вдруг, разоткровенничавшись, сказал, что мечтает уехать в Испанию и знает, что все документы, подготовленные Слуцким, уже лежат в ЦК. Теперь надо только пройти инстанцию и улететь в спецкомандировку в Мадрид. На полуострове начинается гражданская война, а в сущности — война идеалов, и туда отправляются люди из СССР. Семёнов был в приподнятом, даже взвинченном настроении. Это передалось и Соколову: он оттаял, ожил и поздравил приятеля с назначением.

— Погоди поздравлять, — серьёзно сказал Семёнов, — а то сглазишь. Я и сам в это едва верю: сумасшедшие командировочные, можно взять семью, разъезды по всей Европе! Знаешь, из скольких меня выбрали? Сколько мотали по всяким комиссиям и цеховским проверкам на Старой площади и в Коминтерне? Сам-то в загранку не собираешься?

— Нет. Устал, — вздохнул Соколов. — Хочется, наконец, пожить вдали от больших битв. Эти поезда у меня в печёнках сидят! Я хочу размеренной жизни, чтобы, приходя с работы, открыто обнимать жену и дочь.

В тот же вечер Соколов познакомился с Войтовой. Александр безотчётно подошёл к ней, заговорил о какой-то ерунде, и скоро уже почувствовал, что это не просто знакомство.

Войтова работала в секретариате коллегии Центрального аппарата. Она напоминала девушек с картин Самохвалова, наполненных силой, с твёрдой волей идти до конца во всём. Спортивная, с накачанными мышцами, яркая блондинка, на Водном стадионе она щеголяла по воскресеньям в моднявом немецком купальнике. Когда Галя прыгала с вышки и делала в полёте сальто, парни на трибунах сходили с ума и подваливали к ней с лёгким хамством. Но ей нужен был совсем другой, серьёзный мужчина.

Обычно они встречались только в служебной столовой и обменивались парой-тройкой слов о погоде и большом теннисе, в который она играла на кортах НКВД, спрятавшихся рядом с Петровкой.

Но однажды Соколов предложил:

— Галя, а пойдём в ресторан гостиницы «Москва»? Сегодня такой чудесный день, да и вечер будет чудеснейшим. Будет петь Георгий Виноградов, и выступит джаз Цфасмана. Они иногда играют даже блюз Хэнди с соло на засурдиненной трубе. Исполняют чистенько, не хуже американцев. А я знаю, что такое настоящий джаз.

Галя оценивающе посмотрела на него и сказала:

— А пойдёмте.

Он сам вёл служебный паккард, и через минуту-другую они уже были в холле гостиницы, у того самого места, где сидевший на скамеечке мраморный добродушный Сталин что-то говорил мраморному обаятельному Ленину, а вокруг толпились иностранные постояльцы.

В коктейль-холле было весьма уютно, но Соколов заметил знакомых, что пришли сюда не для отдыха, а на работу. И среди них вынырнул Семёнов. Тот сразу разглядел парочку, и Соколов, случайно обернувшись на него, заметил недобрый глаз.

Соколов знал, что сегодня Семёнов и эти ребята напишут отчёты, и завтра на него в главке уже будут поглядывать с некоторым вопросом. Но в конце-то концов он может просто пойти в ресторан с сотрудницей?

А служебный ангел говорил ему: «Не-е-е-е-т».

Приметы урагана возникали, когда Галя пристально смотрела ему в глаза. Тогда у Соколова перехватывало дыхание. Она его заводила, да так, что он понимал: дело не закончится походом в ресторан.

Но служебный-то ангел предупреждал: «Остановись немедленно!»

И он бы остановился, конечно, но певец на эстраде, подняв очи к разрисованному физкультурниками и аэропланами потолку медовым тенором подталкивал: «Спокойной ночи, мой друг любимый. Ведь, может, мой друг, о нашей весне ты вспомнишь во сне...»

— Знаете, Галя, мне эта музыка так нравится, что я, пожалуй, приглашу вас танцевать, — решился Соколов.

И они танцевали. Галя нежно прижималась к нему.

— Приветик, Галка! — услышал Соколов за спиной и увидел актрису Изольду Павлову. Она обнялась с его спутницей, и Галя поинтересовалась:

— Саша, а вы знакомы?

— Ну да, я смотрел фильм «Красная станица», — ушёл от ответа Соколов. Ведь не станет же он говорить, что Изольда ему известна как агентша-установщица со стажем, выводившая сотрудников на намеченных для вербовки.

— А с кем ты? — заинтригованно поинтересовалась Галя у подруги.

— Представь себе, одна! Могу я хоть чуть-чуть побыть без этих приставучих мужиков? И вообще, что-то надоело мне шлендрать со скоблёными рылами, с этими вечно потными солдафонами из Фрунзенской академии. Хочу усатика себе найти, какого-нибудь морского котика. Даже заморских кровей сойдёт!

Изольда кокетливо захихикала. Но Соколов догадался, кто её сюда пригласил, потому что краем глаза отметил, как Семёнов сделал ей знак, и Изольда, махнув им ручкой, упорхнула, сверкнув глазами в его сторону.

Проводив её взглядом, Соколов предложил спутнице шампанского, и когда они выпили, сказал искустительно и с придыханием:

— Галя, а вы видели Москву со смотровой площадки? Здесь под самой крышей гостиницы «Москва»? Нет? Ну так пойдёмте. Вид тут фантастический.

Лифт быстро поднял их на двенадцатый этаж, где располагались служебные квартиры милиционеров, дежуривших на Красной площади.

Соколов сказал Гале, что где-то тут выход на лоджию, и там уже смотровая площадка.

Они долго шли по коридору, однако «смотровая площадка» оказалась вовсе не лоджией, а конспиративной квартирой, которую Соколов использовал для встреч со своими агентами в посольствах и иностранцами.

Явка была в углу здания, и её окна выходили и к «Националю», и к Госплану.

Соколов открыл дверь и, войдя внутрь, страстно обнял Галя. Девушка дрогнула, поддалась и вцепилась в него. Потом, словно протрезвев, посмотрела ему в глаза.

— Я мечтала об этом. Ты будешь моим! Только моим.

Он расстегнул ей блузку и стал жадно целовать грудь. А когда задрал юбку, Галя прошептала:

— Делай что хочешь!

Он овладел ею и, потеряв над собой контроль, всё повторял: «Я пьян от тебя и от любви». Он даже не заметил цветов, стоявших в вазе и означавших, что сейчас номер прослушивается.

А дальше начался ад.

Она потребовала, чтобы он ушёл от семьи и женился на ней. А Соколов сказал «нет». Просто — нет. Не твёрдо и даже неуверенно, рассчитывая на продолжение и на

понимание, что, может быть, не сейчас, а чуть позднее, потому что сейчас это будет не совсем удобно. Что «нет» — это только временно. Потому что сейчас больна дочь Вероника... И не стоит так нервничать, потому что нужно потерпеть. Но всё же — нет...

Она застрелилась перед центральным входом центрального аппарата НКВД, прямо под чёрным каменным гербом СССР.

Вот тогда глава разведки Слуцкий вызвал Соколова в кабинет и сказал:

— Саша, собирай жену и дочь и быстрее уезжай в Испанию консулом!

— Когда?

— Завтра. Ты утверждён ЦК. Я хотел послать туда Семёнова. Но после случившегося быстро переиграл.

Выходя от Слуцкого, Соколов встретил в коридоре Семёнова. Они обменялись взглядами, и Соколов понял, что тот его ненавидит.

Глава 4

Долг дьяволу

1977 год. Август. Москва. Арбат, 43

1

Когда в дверь позвонила Кармен, дон Балтасар насторожился. По нервозности звонка он понял: у неё что-то стряслось.

Не дожидаясь отца, она своим ключом открыла дверь, вбежала в гостиную, где сидел родитель, и поцеловала его в лоб.

— Что ты делаешь?! — взорвался дон Балтасар. — В лоб целуют только покойников в гробу! Поцелуй ещё раз, только так можно отменить этот мерзкий первый жест.

Кармен согласилась, извинилась, тут же разрыдалась, уйдя в душераздирающую исповедь. Её муж, её Толик, переживая кризис среднего возраста, совсем распоясался на работе в латиноамериканской секции Иновещания и не держит язык за зубами, говорит всё что думает, да ещё и появился пьяным... Эфир прошёл, слава богу, так что никто ничего не заметил, но после эфира... После эфира он совсем рехнулся, сорвал со стены портрет Брежнева, подкрасил ему помадой губы и щёки... Это видел только Лёва Сосновский. Видимо, он и сообщил в партком, начальнику отдела кадров и главреду Кике. И вот теперь Толику грозит волчий билет и, как он сам сказал, пинок под зад — выгонят его с Пятницкой, 25. Прощай, любимый Радиодом!

— Пусть твой *merdito*¹ ничего не боится. Мы что-нибудь придумаем, — сказал дон Балтасар.

Дочь он любил, а Толика нет. И брака этого не хотел. Он хорошо помнил день, когда они расписались и новобрачные поднимались на второй этаж. Ах, как он ждал их на пороге квартиры: с открытой дверью, мучимый сентиментальными отцовскими чувствами! Но когда Кармен и зять появились на лестничной клетке не только в компании подвыпивших друзей, а ещё и с уличным конопатым гармонистом, едва стоявшим на ногах, дон Балтасар сорвался. Он гневно воскликнул «*que barbarie!*»² и прошипел по-русски «твою мать».

¹ Какашка (*исп.*).

² Какое варварство! (*исп.*)

Да, он любил Сталина, партию, коммунизм, но примириться с русскими порядками был не в силах. И это он считал проклятием своей жизни — не меньшим проклятием, чем тайна, что досталась ему от Блэкстона.

Отрадой жизни была его дочь, его сокровище — Кармен. Но она не просто любила Толика, а считала того реинкарнацией итальянского аристократа Федерико да Монтефельтро, известного также как граф Урбино, которого изобразил несравненный Пьеро делла Франческа¹.

Ещё в детстве она увидела средневековый портрет в календаре, и этот образ, этот профиль, который легко можно назвать благородным, но трудно — красивым, будто приворожил её до слепого рабства.

С юной поры Кармен видела в романтических снах, как мужественный призрак рыцаря скользит по её детской комнате, выдвигает свою бронированную клешню с символической розой и протягивает её в качестве дара. Кармен была уверена, что они встречались в общих снах и общались телепатически.

Бедняжка, она помнила наизусть выпретенный текст из гэдээровского календаря: «Кондотьер Федерико да Монтефельтро в давние времена прославился в землях Италии. Его жизнь прошла в славных походах, и многие правители на Апеннингах и в Ломбардии знали Федерико и ценили его доблесть. Рыцарь жезлов защищал Пезаро от притязаний Сигизмунда Пандольфо Малатесты. И, предводительствуя над тремя сотнями рыцарей, нанёс противнику столь сокрушительный урон, что принудил его к унижительной контрибуции в 13 тысяч гульденов. Храбрейший и тщеславный Федерико поплатился глазом на одном из турниров, и когда, следуя доброй моде тех времён, решил заказать свой портрет художнику, просил его запечатлеть лишь левую, добрую сторону лица, так как правая была обезображена на поединке. Несравненный Пьеро делла Франческа выполнил пожелание правителя Урбино».

Да, на графа Урбино он был похож, несомненно. Только у Толика, в отличие от кондотьера, были оба глаза, хотя его уже начал слепить наследственный диабет и он носил очки. Не желая наблюдать своё неравномерное облысение, Толик усердно брил голову, отчего сходство с итальянским аристократом было только очевиднее.

Да, Кармен, как дитя, верила в чудеса и была слепа в своей любви, а кондотьер-Толик оказался истеричен и непредсказуем. Возможно, ему и вправду досталось немного от личности Федерико де Монтефельтро, графа Урбино, воскрешённого в нём именно для этой истории? Сходство-то было потрясающее.

2

Когда-то Толик закончил консерваторию по классу виолончели у самого Ростроповича, но музыкантом не стал, а, влекомый тщеславием и ядовитой желчью, решил посвятить себя музыкальной критике и в общем-то преуспел на этом поприще. Врагов у него было пол-Москвы! Плюс половина Большого театра!

Тесть часто подкалывал:

— Эти балетные гомосеки (в действительности он употреблял испанский эвфемизм «суки каретные») — самое ядовитое племя на Земле.

— Плохая собака всегда кусает и всегда побеждает! — вскипал Толик.

— Только мне это не рассказывай, — мрачно хохотал тесть и подмигивал Кармен.

— Папа, Толя — хороший. Он ещё всем докажет... — убеждала отца Кармен.

— Ну да, конечно! — язвил дон Балтасар. И добавлял с сарказмом: — Кому он что докажет? Мне, что ли?

¹ Пьеро делла Франческа (1420—1492) — итальянский художник, представитель Раннего Возрождения.

В самом начале карьеры критическая муза не давала Толику достойного заработка, и потому он метался между всяческими халтурами, думая, какая это великая иллюзия — верить в то, что однажды небесный ангел призовет его в нужное и волшебное для него местечко.

А между тем судьба ждала его в столь далёкой области, что он даже и не мог представить, как всё странно обернется.

Толик и его мать обожали смотреть, как танцуют испанские дети, как выступает испанская самодеятельность. И вот однажды на вечере эмигрантов в клубе имени Чкалова на улице Правды, куда его притащила тётка, вдова ленинского наркома, он и встретил свою судьбу. Это был особый концерт, куда пришёл весь московский бомонд.

Толик засмотрелся на юную девушку, танцевавшую фламенко. Она выстукивала звучную дробь, задирая складками юбку по ноге, вращала кистями и резко, почти с патетической ненавистью шла к краю рамп. Танец набирал ритм, девушка вращалась, вскинув подбородок, и вдруг, распластав крылья кровавого цвета шали, взвивалась над сценой, словно ведьма.

Когда ритм гитары стал нарастать, рядом с ней появилась вторая дьяволица. С безумными глазами она стала надвигаться на первую, то вращая корпусом, то поводя соблазнительной попой, угрожающе притопывая в ритме яркой чечётки. Эту дуэль разрядил одутловатый парень, больше похожий на комического, слегка оплывшего Мефистофеля. Лихо выстукивая дробь, он как будто не замечал двух девушек, делал пассы, сомнамбулически обходил танцовщиц. Казалось, он в полном обалдении от своего шикарного пиджака.

Ритм постепенно достиг такой частоты, что все трое принялись биться, как в ознобе. Всё это сопровождалось завыванием певца-старика. Тот, зайдясь на пронзительной высокой ноте, принялся резко хлопать в ладоши, и все трое танцоров пошли по кругу, то вскидывая руки, то вращаясь ещё и вокруг себя. И вдруг мелодия резко оборвалась, танцоры застыли, и опешивший от неожиданного финала зал вскипел овациями.

Сразу же после выступления Толик устремился за кулисы, куда прорвался с помощью удостоверения журнала «Театр». Тут он завёл речь об испанской культуре с полковником Павоном, преподававшим эмигрантам премудрости севильянос и фламенко.

Растроганный вниманием Павон заговорил о глубоком смысле, который заложен в эти полные магии танцы, о том, конечно, что в момент, когда актёр выходит на сцену, в него вселяется неведомый и очень эмоциональный дух, освободиться от которого можно только став одним большим сердцем. И этот обжигающий транс называется — дуэнде.

— Откуда берётся дуэнде? — рассуждал Павон. — Дуэнде рождается из трёх голосов внутри человека: личности, *espíritu*¹ и *espritu* наверху. Как только ты вступаешь в диалог с духом, свет в тебя уже не проникает. Только тихий голос и тихое зрение впотьмах устанавливают связь. И именно это ценит зритель, понимающий тонкости подлинно дьяволической связи.

— А если этого не происходит? — заинтересовался Толик.

— Значит, этого не происходит — вот и всё! — Как-то злобно подытожил Павон и пояснил: — И самым великим качеством исполнителя является дьяблера, которую певец или танцовщица выплёскивают из самых греховных помыслов и желаний, связанных с жестокостями любви. А они всегда облизаны пламенем ада и наполнены

¹ Дух (исп.).

голосами косматых демонов. И нужно отчётливо понимать, с каким духом ты будешь говорить. Ты не один! Ты никогда не один! Даже во снах ты не один, потому что тебе снятся огрызки предыдущих дневных опытов. И когда мы говорим «философия», «подвиг», «герой», мы просто наклеиваем эти названия на то, что у нас лично осталось. А больше и не на что клеить! И мы понимаем в своих кратких озарениях, что если не будем прикреплять наши ярлыки, то просто повесимся. Вот ситуация! И только дьяблера привносит в унылую жизнь ошеломляющее чувство...

Толик слушал вполуха замысловатые поэтичные тирады отставного полковника, а сам шарил глазами в поисках прекрасной танцовщицы. Он заметил приоткрытую дверь в гримёрную, где в этот момент переодевалась та, которую он искал. Она сняла испанский костюм, и Толик увидел её обнажённой. Его мгновенно пробило потом — и это был пот греха. Девушка вынула многозубую громадную гребёнку из волос цвета воронова крыла, и они каскадом упали на плечи.

Вот тут дверь и захлопнулась.

Полковник Павон продолжал свои объяснения, но Толик всё же протиснулся в его монолог:

— А нельзя ли поговорить с талантливой девушкой, танцевавшей фламенко?

Павон даже не стал спрашивать, с какой.

— Ну да, конечно!

И, постучав в гримёрную, Павон представил его Кармен.

Увидев Толика, она была ошеломлена. Гость-то не знал о своём странном внешнем сходстве с кондотьером Федерико да Монтефельтро.

Он сам был смущён этой реакцией. А Кармен посчитала случившееся знаком небес, которые способны сплести нити судеб и сводить людей, предназначенных друг для друга.

И такой сильной была её вера в божественное провидение, что едва лишь они остались в гримёрной одни, Кармен зашебетала о перспективах творческой карьеры, об испанской культуре... А когда Толик нагло притянул к себе её тончайший стан, девушка от счастья потеряла сознание.

Трепетать в руках прекрасного призрака! Вот так неожиданно увидеть, как любовная грёза дерзко врывается в твою жизнь! Что может быть желаннее этого волшебного мига, приятнее этой покорности чувствам?

И чем больше Кармен вспоминала эту встречу, тем сильнее предавалась самым возвышенным, обжигающим чувствам и фантазиям.

Через месяц они поженились...

Но счастье в любви — это галлюциногенный гриб: похож непонятно на что, а проблем от него немало. И главной проблемой был сам Толик.

Это так же очевидно, как и его сходство с кондотьером.

Толик ненавидел советскую власть, которая его лишила отца, а мать бросила в тюрьму. Но революционером или диссидентом он тоже не был. Толик принадлежал к тому распространённому типу думающих сограждан, которые убедили себя, что это не они приспособились к системе, а система приспособилась к ним.

Потому временами, ощущая странность своего положения, Толик впадал в истерический психоз. Вот на этой-то почве он устраивал на Пятницкой, 25 свои идиотские фокусы.

3

Как только стало известно о выходке с портретом генсека, Толика стали искать по всему зданию Радиодома, а нашли только в самый последний момент на выходе у турникета. Дежурный милиционер проводил его к кабинету главного редактора. Дверь открыл незнакомый человек. Когда Толик вошёл, он увидел там ещё одного незнакомца, посолиднее и понеприятнее.

Тот попросил милиционера выйти, закрыл дверь на ключ и поинтересовался именем, годом рождения, должностью на Пятницкой, семейным положением и адресом Толика. Все ответы Толика другой неизвестный, усевшийся прямо за стол главного редактора, записывал.

— Меня что, арестовывают? — поинтересовался Толик.

— Здесь вопросы задаю я! — рявкнул солидный и попросил вывернуть карманы пиджака и брюк на редакторский стол. Толик положил записную книжку, носовой платок и фломастеры. Солидный встал и провёл ладонью по спине и груди Толика, хлопнул по карманам брюк и даже слегка дотронулся до его члена. И когда Толик покраснел, солидный высокомерно бросил:

— Успокойтесь, мы не гомики, как ваши друзья.

— У меня нет друзей-гомосексуалистов! — вспылил Толик.

— Вы ж не всё про них знаете! Тут у вас кругом гамадрилы! — с брезгливостью сказал солидный тип и переглянулся с тем, что писал за столом. Тот по-идиотски захохотал.

— Но нам известно всё, — поддержал начальника шуплый и высказался по существу вопроса. — Я понимаю, если б они ещё в тюрьме сидели, а на свободе — вон сколько баб! Чего им не хватает?

— Можете сесть, — разрешил Толику старший.

Толик опустил на стул, и матёрый стал внимательно разглядывать фломастеры и их колпачки.

— Расскажите, кто конкретно предложил вам дискредитировать генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с помощью фломастеров, кто оплатил покупку этих фломастеров и какова была сумма mzды за это публичное действие в редакции Радиодома?

— Каждый фломастер редакционный. Стоит, как я знаю, десять копеек, — стал объяснять Толик.

— А в долларах? Сколько за него в долларах отвалили? — поинтересовался главный.

— В долларах? Я не знаю, — признался Толик.

— Знаете-знаете! Всё вы знаете! Имейте в виду, ваши показания фиксируются! — продолжал наседать солидный и сделал новый вираж в беседе. — Представители какого посольства поручили вам устроить антисоветскую вакханалию? Кто именно? Кому вы должны были отчитаться? Адрес?

Толик зло взглянул на обоих и выпалил:

— Мосфильмовская, дом 72. Corea del Norte!¹

— А ну-ка, по-русски, — завёлся солидный и бросил мрачно подчиненному, — налицо международный след!

— Северная Корея, — перевёл Толик. — Там мне сказали, что так как Брежнев предал дело Сталина, он заслуживает беспощадного раскрашивания фломастерами.

¹ Северная Корея (исп.).

Для этого мне коварно и выдали набор фломастеров, чрезвычайно похожих на те, что имеются у нас в редакции. В конце беседы предупредили, что поскольку финансовое положение в Северной Корее сейчас не лучшее, гонораром для меня и будет этот же самый набор фломастеров, а также кулёк недорогих соевых конфет, которые я съел перед портретом.

— Он ещё и издевается! — сказал шуплый. И, принявшись, добавил: — Да ещё и пьян.

— Это не меняет дела, а только отягощает вину, — торжествующе произнёс солидный.

Он сделал шуплому знак, и тот передал Толику листок со стенограммой беседы и описью содержимого его карманов.

— Подписывайте, — предложил начальник.

— Не буду! — буркнул Толик.

— Нет, будешь! Будешь! — закричал шуплый.

Солидный смерил Толика презрительным взглядом и сказал подчинённому:

— Отключи-ка телефончик и закрой его здесь до особого распоряжения.

— А если я захочу в туалет? — взвился Толик.

— Потерпишь! Партизаны вон и не такое терпели, когда их пытали, возможно, твои нынешние хозяева! — рявкнул солидный, и незнакомцы вышли.

Заключение Толика длилось часа два, пока наконец в замке не повернулся ключ и в кабинете не появился мрачный товарищ Кике, который выпалил с порога:

— Как же ты мог?!

4

Когда павший духом Толик был усажен в кресло в гостиной, дон Балтасар заметил, что зять в джинсах, и едва не взвился под потолок.

— Они наших людей убивали, а ты в их брюках теперь ходишь! — с гневом бросил он Толику.

Дон Балтасар всегда заводился с пол-оборота, а войдя в раж, начинал шепелявить. Но в этом поистине змеином шипении было что-то от «благородства» кобры, предупреждавшей о начале нападения.

— Послушайте, дон Балтасар, из этой ткани были паруса на кораблях Колумба, когда он открыл Кубу, — ответил зять нервно и добавил: — он что — тоже был фашистом? Поражаюсь вашей способности к подтасовке!

— Смотри только не повреди мне мебель, — продолжал наседать тесть. — Плюхаешься всегда как слон. А я это трудом наживал!

— Я в полной жопе, — горько пролепетал Толик и с побитым видом взглянул сначала на Кармен, а потом на мрачного тестя. — Меня обвиняют, что я затеял, как мне прямо сказали у главреда, антисоветскую херню, дирижируемую по нотам Тель-Авива! Хотя что, собственно, такого я сделал? Я просто поставил в эфир испанской редакции несколько музыкальных вещей Шнитке, Волконского, Пярта, Губайдуллину, Каретникова...

— И они оказались старыми сионистами с вёдрами тротила в руках? — со злорадством завершил его тираду тесть.

— Какой-то композитор хренов из Союза композиторов позвонил главреду и сказал, что я растлеваю наших латиноамериканских радиослушателей буржуазной пропагандой...

— И это всё? — уточнил тесть.

— Всё, — подтвердил Толик.

Но Кармен, опустив глаза, со слезой воскликнула:

— Толя, не ври!

И тесть гневно уставился на зятя.

— После работы, конечно, но ещё в редакции, я выпил совсем чуть-чуть и в этом состоянии, уж теперь даже и не знаю почему, подкрасил фломастерами висевший в холле портрет Леонида Ильича, пытаюсь сделать его лицо максимально привлекательным. Ну и болтанул лишнего Сосновскому, который в этот момент вошёл...

— А я тебя предупреждал! — саркастически усмехнулся дон Балтасар. — Вот он-то тебя и сдал. И я бы тебя сдал, не будь ты мужем Кармен!

— Папа! — взмолилась дочь. — Не дай погубить Анатолия! Ты же знаешь...

— Они уже решили меня выпереть и на моё место взять какого-то редкостного мудака из МГИМО, родственника товарища Кике. Я виновен только в дурацком проступке, не больше...

— Ты к тому же и болтун, зятек. А если кто-нибудь треснет тебя по мордуленции — ответишь ли ты ему, как Красная армия, ударом на удар?!

— Конечно, — промямлил Толик.

От этого «конечно» дон Балтасар кисло улыбнулся, а затем изрёк:

— Вот что, политический инвалид, дело мне ясно. Заткнись и навести уши...

В тот момент от папы Кармен исходила такая злоба, что с ним трудно было оставаться в одной комнате. Злоба пульсировала в его жёсткой вертикальной складке на лбу, в желваках, вставала грозной волной над его сутуловатой фигурой, накрывала его, будто капюшон громадной кобры. И агрессивные звуки, вырывавшиеся из его горла, впивались в кожу, как дротики, даже если тесть рассуждал своим скрипучим голосом всего лишь о том сраном троцкизме, который развели Хрущёв и Брежнев.

— Знаешь что, — сказал дон Балтасар, обращаясь к дочери, — я могу уладить всё это дело в два счёта. Мне стоит только позвонить Луису Бланко, советнику Фиделя.

— Луис Бланко? — встрепенулся Толик. — Кто это?

— Всё равно лучше, чем ты! — отрезал дон Балтасар. И продолжил с упоением: — Он был из тех величайших лётчиков в истории человечества, которые эскортировали самолёт самого Сталина, когда вождь летел в Тегеран, где собирался жестоко пригнуть наглых гринго и раков! (Раками тесть величал англичан: так прозвали их в Испании за красные мундиры XIX века.)

Разгорячённый тесть принялся вспоминать прошлое и всех, кого считал образцом, которые всегда были «лучше него». Овеянные легендами и лаврами настоящих людей, они мерцали, как двойные звёзды. И дону Балтасару доставляло удовольствие говорить об этом нерадивому зятю, выставляя того хилым нытиком и беспомощным недоумком. Каждое его обвинение звучало как вердикт революционного трибунала.

Толик знал, что друзья тестя были пламенными революционерами такого огня и жара, что от них можно было прикуривать. Но дежурные фразы и надменная бравада раздражали, особенно когда тесть, традиционно игнорируя его присутствие, говорил с дочерью так, как будто зятя в комнате не было вовсе, и поносил самыми последними словами.

— *Hasta ahora compadezco que has vinculado la vida a este trasto...* — увещевал дочь дон Балтасар. — *A él las pequecas mirillas, que corren del traidor...*¹

— Глазки у меня не маленькие, — взорвался Толик. — Я давно прекрасно понимаю и говорю по-испански. Я люблю Кармен.

¹ Я до сих пор жалею, что ты связала свою жизнь с этим бараклом... У него маленькие бегающие глазки предателя... (*исп.*).

И тут тесть взорвался.

— Значит, у тебя маленькое сердце! А это одно и то же! Своим наглым враньём, антисоветчиной и музыкальным сионизмом ты погубишь мою дочь!

Дон Балтасар с размаху треснул Толика ладонью по щеке: тот от удивления подскочил и машинально отёр нос — пошла кровь.

— Чёрт, мне плохо, — сказал тесть и повалился на диван.

Кармен схватила валидол и тонометр, сунула отцу в рот таблетку, затем быстро застегнула манжету аппарата на предплечье отца, приставила стетоскоп, сказала, глядя на шкалу:

— Давление высокое...

— А кто меня будет жалеть? — воскликнул Толик, утирая идущую из носа кровь.

— Я пожалею тебя, мой пупсик! — зарыдала Кармен и устремилась уже к мужу.

Но именно в этот момент в дверь позвонили.

Позвонили так, как звонят чужаки.

Кармен пошла в прихожую и вскоре вернулась и уставилась на дону Балтасара.

— Отец, это к тебе. Какой-то неизвестный человек. Я оставила дверь на цепочке...

— Без приглашения приходят только свахи и гробовщики, — серьёзно сказал Толик.

— Много ты знаешь про тех, кто «без приглашения»! — рявкнул дон Балтасар. И приказал: — Пусть войдёт!

В гостиной появился пожилой мумифицированный фитиль с выпученными рачьиими глазами. Тот самый, из цековской гостиницы, где выпивали Толик с Сосновским. Фитиль сразу заметил окровавленный платок Толика, который тот уронил на пол.

Сам вид незнакомца заставил дону Балтасара насторожиться: было очевидно, что тесть узнал его.

— Пройдёмте в мой кабинет, — предложил он без вопросов.

Гость кивнул, и они мгновенно скрылись за дверью.

Толик и Кармен слышали, как дон Балтасар запер дверь на ключ, чего раньше никогда не делал, и переглянулись.

Но так совпало, что в этот же миг зазвонил телефон и Кармен убежала на кухню. Пока она с кем-то там болтала, а болтать она могла часами, Толик вынул из футляра тонометра стетоскоп и, подумав, приложил его к стене, смежной с кабинетом тестя...

5

Голосом с органами глубокими нотами в нижнем регистре незнакомец пугающе произнёс:

— Вы, я думаю, знаете, зачем я пришёл. Речь пойдёт о *нём*... И о *нём*.

— О Соколове? И о *нём*? — зашептал, уточняя, дон Балтасар.

— Всё вы знаете.

— Я не *всё* знаю, а всё, что знаю, и правда могу рассказать. Но только то, что знаю. Только это, не больше. К тому же несколько записок лежат уже тридцать лет в Общем отделе ЦК и у вас в управлении! И в них я описал всё, что знаю, или почти всё, что не забыл. Вас опять это интересует?

— Мы об этом не забываем.

— Вы?

— Мы.

— Значит, вас много.

— Не виляйте! Начнём по порядку. Как к вам лучше обращаться?

— Балтасар Балтасарович.

— Так как всё это было-то, Балтасар Балтасарович?

— Дайте подумать!

В комнате воцарилось долгое молчание. Наконец, Балтасар собрался с мыслями.

— Знаете ли вы, что в Испании есть обычай, когда два тореро выступают с одним плащом? Почему они так делают? Они же умные ребята! Ну, может, потому, что бык, с которым они бьются, в сущности, не бык даже, а истинный дьявол, от которого исходит запах лютой ненависти, да такой, что всё вокруг искрит! — вдохновенно вещал дон Балтасар. — Мы с Соколовым были такими тореро. Он, конечно, был тореадором покрупнее, поярче, лихой. Я же, скорее, на подхвате. Но в день, когда мы познакомились, я понял, что наши судьбы связаны корабельной канатной бухтой.

Что за чудовище было против нас обоих? Не троцкисты и не фашисты! И не левиафан, сожравший страдальца Иова. Таким чудовищем была сама история, которая закаляла нас.

Я хорошо помню тот день в Валенсии, когда уже после сиесты на улице пели «Интернационал», шумел митинг, а у нашей ЧК вдруг скрипнули тормоза лимузина.

Соколов вышел из машины, направился прямо к входу со стороны площади и вошёл через двери, над которыми в маленькой нише была статуя Святой Урсулы, исцеляющей больных детей и покровительствующей в случаях смертельной опасности. Я придаю этому особый смысл не потому, что я в это действительно верю, а потому, что меня так наставляли в детстве и это ничем не изжить. И потом — мир сам способен подавать нам знаки грядущих событий, хотя в силу природной лени мы видим их не всегда или, точнее, всегда не видим.

Ну и вот, я слышу, как Соколов поприветствовал часового, как скрипнула древняя монастырская дверь и застучали по лестнице каблуки, всё ближе и ближе к порогу нашего кабинета.

Знал бы я тогда, что за история начиналась...

Был такой Тито Гоби, итальянский баритон, и пел он всякие сусальные ариеттки. У меня в ЧК Святой Урсулы (там раньше учились наши попы) было несколько его пластинок, которые я слушал в часы, не занятые работой. Так же было и тогда. Слушая пластинку, я ждал, когда из комнаты для допросов появится мой напарник Хименес по кличке Серебряная Голова. Так его звали, потому что в бою под Мадридом ему осколком раскроило голову и гениальные врачи поставили ему серебряную скобу. Контузия сделала его слегка дурковатым, а от нашей нервной и истеричной работы его руки покрылись кровоточащими язвами.

Я сменял Серебряную Голову, обработавшего какого-нибудь мерзавца, который испытал на своей шкуре гнев коммуниста, приходя уже на готовенькое.

И вот тогда очередной фашистик давал мне признательные показания, а я всё фиксировал и говорил ему вкрадчиво и мягко-мягко: «Послушай, Пепе, а всё ли ты мне рассказал? А? А может, ты и вправду что-то забыл? Я не буду сердиться, если ты сообщишь мне это на ушко. Можешь говорить, но только разборчиво. Я должен всё понимать».

По правде сказать, Серебряная Голова часто перегибал палку. И хотя он был преданным делу партии, я подозревал, что из-за своей серебряной скобы он тронулся умом и стал гонять чертей...

В тот день работу я закончил раньше, но домой уходить не спешил. Полный энтузиазма, я, помнится, набросал четверостишие и тут же прочитал его Серебряной Голове.

Огнём пулемётов встречен,
Картечью врага опалён,
Это идёт наш третий
Сталина батальон!

Серебряной Голове мои стихи понравились, и он стал аплодировать. И вот в этот-то момент в канцелярию вошёл Соколов.

Он заговорил на отличном кастильском диалекте, что меня и удивило, и покорило.

Он сказал мне пароль, который воспламеняет любого настоящего коммуниста: «Товарищ Балтасар, вас требует революция! Именем Сталина, у меня есть для вас поручение!»

Потом мы выпили за русских танкистов и за то, что цвет наших знамён никогда не померкнет. О, он умел зажечь наши сердца. И верили мы ему беспрекословно. Мы — это я и ещё много преданных партии интернационалистов: итальянцев, сербов и немцев из бригады Эрнста Тельмана.

Это был человек великий во многом, да почти что во всём. В отличие от таких интеллигентских истеричек и кривляк, как мой зять, крови он не боялся и на Сталина молился так, как молятся, возможно, сегодня только монахи-францисканцы судариону Иисуса Христа, хранящемуся в главном соборе Овьедо.

— Бога нет, — жёстко уточнил гость, — есть только предрассудки.

— Конечно, нет, и не может быть в принципе, — согласился дон Балтасар. — Мы имеем крепкие представления о строении материи и отрицаем всю эту средневековую чушь. Но я люблю поговорить о другом божестве, в которого мы верили беззаветно! А вы уже нет! Извините, если я вас обидел! Но, думаю, вы переживёте.

На этих словах гость насторожился, а дон Балтасар стал расплятаться с каждым новым поворотом беседы.

— Среди католических святых есть такая Катарина Сиенская, вполне историческая фигура. Пинтуриккьо и Тьеполо отдали ей свои лучшие краски. И недаром. Чтобы доказать свою приверженность Богу, она пила гной из груди умирающей женщины. Вы бы так смогли? По глазам вижу, что нет. А я бы выпил не задумываясь, попроси меня об этом моя партия. Так поступили бы многие мои товарищи в Испании и точно все, что сейчас живут в Москве! И это не было бы героической позой пожилого чернобрового болтуна из телевизора. Мы даже перед атакой никогда не пили позорные сто граммов, чтобы трезво понимать, за какую высокую идею мы умираем. И эта идея была заключена в самом важном для нас человеке.

Однажды я случайно наблюдал Соколова за странным занятием в отеле.

Он говорил с портретом Сталина так проникновенно, что можно было подумать, что вождь стоит сейчас перед ним.

— А что он говорил Сталину? Что ему сообщал? Не вспомните? — наседали гости.

— Простые и честные слова: «Товарищ Сталин! Вы можете доверять мне так, как если бы я был вашим сыном! Я хочу доложить вам с прямотой старого партийца и коммуниста, прошедшего горнило Гражданской войны, что в рядах наших товарищей в Испании нет твёрдости и приверженности вашим великим указаниям! Должен особо подчеркнуть, что товарищ Михаил Кольцов¹, который здесь представляет линию ЦК партии, проявляет мягкотелость в вопросах борьбы с троцкизмом и потому не может быть под полным доверием с моей стороны. На все мои пожелания он реагирует с иронией, которая непростительна советскому коммунисту в час, когда поднимает головы наглеющая троцкистская мразь, а пятая колонна уже готовит сдачу Мадрида!» Он говорил настолько проникновенно, искренне и громко, что слёзы лились у него

¹ Михаил Кольцов (1898—1940) — русский советский журналист, главный редактор журнала «Огонёк», в 1936—1939 гг. исполнял в Испании роль представителя правительства СССР.

из глаз. Да и у меня, признаться, тоже. Ни один пастырь не мог бы задеть такой высокий нерв!

— Скажите, а как же вы всё это узнали?

— Каюсь, иной раз подслушивал эти исповеди и проникался пламенной ненавистью к врагам Советской власти, окопавшимся и в наших, и в ваших рядах. Так было. И надо было с плеча рубить этот ядовитый гнойник.

Соколов часто приезжал ко мне в Валенсию. Бывали мы и в Барселоне в советском консульстве на Пасео де Грасиа, и в Картахене, конечно, и в Мадриде. Ах, какой это был тогда романтичный город, плававший от наших знамён, транспарантов и алых бантов! В один из дней, когда я сошёл с поезда в Мадриде, прямо к моему вагону подкатил синий дождь, и Соколов широким жестом предложил мне садиться.

— На улицу Альфонса XI, в отель, — сказал шеф шофёру и добавил, глядя на меня: — предстоят горячие денёчки. Нам всем потребуются и железные нервы, и железная душа.

В отеле, схватив несколько сообщений у шифровальщика, он потряс ими у меня перед носом и на мой вопросительный вид ответил:

— Это один из тех звёздных часов, когда высшая власть вручает нам руль истории, Балтасар!

В тот день он совершил то, что можно было посчитать величайшей импровизацией. Не предупредив, Соколов привёз меня на аэродром Барахас, где нас уже ждал двухмоторный моноплан.

— Балтасар, я хочу, чтобы ты сегодня полетел со мной в Париж, — сказал он так по-человечески, что я понял, какое это высокое доверие.

Уже в полёте он положил мне руку на плечо и произнёс вкрадчиво:

— Там, в Париже, после похищения одного белого генерала наш секретный агент, вопреки всем инструкциям, решил укрыться на территории посольства СССР. Этим он мог скомпрометировать нашу страну и пролетарскую диктатуру в целом. Происшедшее можно было бы посчитать и чистой случайностью, но в последнее время этот засранец был не на лучшем счету. Его даже подозревали в двойной игре с гестапо.

— С гестапо? Это ведь страшнее, чем рак мозга! — вспыхнул я.

— Простить это нельзя. На что может рассчитывать человек с такой биографией и погубленной душой? — сокрушался Соколов.

Я понимал, что в Париж он меня взял не потому, что я когда-то работал там таксистом и знал французский. Нет, он великодушно приглашал меня стать одним из орудий высокого возмездия. И я был преисполнен величайшей благодарности.

Как это часто бывает у виртуозов, всё прошло без помарок.

В Париже Соколов представил меня американскому товарищу, тайному коммунисту, который работал вторым секретарём в посольстве Америки и цитировал наизусть Сталина, чем нас порядком подутюжил. Этот боец невидимого фронта помогал коммунистам из отряда имени Линкольна добраться до Испании и пересылал им средства, приходившие из Америки. В общем, Соколов говорил мне, что парень незаменим.

Он же помог нам обстрелять дело с белогвардейцем самым лихим образом. Это его автомобиль подъехал к советскому посольству, а выехал оттуда уже с провалившимся агентом в багажнике. Только на аэродроме вывезенный ловко выскочил из убежища и сел в самолёт.

Американец был растроган расставанием, что-то долго говорил Соколову на прощанье и ещё махал нам вслед, когда мы шли на взлёт. И когда наш самолёт медленно набирал высоту, пилот Луис Бланко (ну, вы его знаете!), который был в этот

раз за штурвалом, даже, помнится, раздражённо спросил: «А нельзя ли было побыстрее отделаться от этого назойливого американского дурака?»

Весь полёт Соколов не проронил ни слова. А когда до посадки оставалось около часа, он впился глазами в провалившегося агента и сказал ему доверительно:

— Послушайте, в Валенсии, куда мы летим, люди необычайно скромны. Идёт гражданская война с фашистами, и ваше роскошное обручальное кольцо может привлечь к себе лишнее внимание. Чтобы оно не бросалось в глаза, оставьте-ка его мне. Давайте. А когда за вами придёт самолёт из Москвы, я его верну. Так безопаснее.

Соколов протянул руку... Но агента это предложение смутило. Он сказал, что в соответствии с офицерским кодексом галантности передача обручального кольца кому-либо означает послание жене, что муж погиб в бою. Это невозможно. Но чтобы не раздражать страдающих испанцев, он готов оставить кольцо у себя, просто положив его в карман.

Отказ был не в пользу нашего пассажира. Соколов разнервничался, встал, подошёл к двери салона. И резко открыл её. А я, повинуясь условному знаку, вытряхнул из кресла этого предателя и швырнул его в открытую дверь.

Агент каким-то чудом вцепился в проём. Я видел, как пальцы нашей жертвы сжимают дюралевый порог. Дверь была с солнечной стороны. На пальце мерцало то самое золотое обручальное кольцо. Оно было ослепительно!

— Товарищ Соколов, вам действительно нужна эта драгоценность? — воскликнул я, не теряя самообладания. Он кивнул, и тогда я, вынул короткое мачете и отрубил пальцы правой руки предателя.

И он улетел в вечность.

Окровавленное кольцо я отдал Соколову, который, как я заметил, испытывал от яркого завершения нашей миссии величайшую радость. Отерев кровь носовым платком, он положил кольцо в нагрудный карман, а платок выбросил за борт.

О, какой прекрасный это был день! И на какой высокой ноте он клонился к закату!

Солнце мягко припекало. Внизу сиял Валенсийский залив. Только лёгкая рябь щетинила воду, по которой, словно пёрышки, скользили парусники и кораблики. Прибой вспенивался вдоль кромки берега, поросшего апельсиновыми деревьями. А с запада в тёмных тучах и подсветке заходящего солнца на город ползла стена непогоды. Есть ли художники, которые могли бы хоть отдалённо передать ошеломление от этого момента? Таких я не знаю. Вот так мы подлетали к моей любимой Валенсии — городу башен, где я честно служил революции.

— А что это там за развалины? — задумчиво спросил тогда Соколов.

— Это Сагунто. Вы разве не знаете? Несчастный Ганнибал, воевавший здесь с Римом, чуть ли не год осаждал горную цитадель. Но едва взяв её, уступил римлянам, — ответил я.

— Римлянам? — переспросил Соколов. — И здесь они были?

— Ну да, вон там высится форум с чудом уцелевшим портиком, — указал я на крепость. — Всё это было две тысячи лет назад. Несчастный Ганнибал...

— Как же здесь красиво! Совсем не так, как на вашем пошловатом юге. Там всё убило солнце и потому скалистые берега мрачны, как врата подлинного ада...

Зачем он тогда это сказал? Я не знаю.

Когда Соколов садился в автомобиль, поджидавший его у взлётной полосы, я увидел, как он открыл портмоне, в которое были вложены фотографии жены и дочери. Прощаясь, он проговорил:

— Все жертвы, которые полноценный мужчина приносит в этой жизни, — это жертвы на алтарь семьи.

Как он любил их!

6

Дон Балтасар замолчал.

Казалось, гость переваривал всё, что сейчас услышал от него. Но вот заскрипело кресло, а затем раздался голос чужого.

— Ну а вообще литературных убийств было много?

— Да. Но имелись приказы, поэтому было всё по закону. Эти люди должны были умереть. Но я подметил одну деталь: всякий раз от каждой жертвы Соколов брал на память какую-нибудь маленькую дурацкую вещицу. Не всегда это была драгоценность, и, как я понял, этот предмет, возможно, имел символический смысл. Он что-то значил для него и потому, несомненно, был весом.

— Мы ищем Изменитель, — нетерпеливо выпалил гость. — Вы знаете, где он?

— Что? — переспросил тесть.

— Индейцы называли его ещё Бог детей. Соколов вам его не показывал и не передавал?

— Бог детей? Что это? — удивился тесть. — Вы же говорили, что Бога нет...

— Послушайте, всё это очень серьёзно. И если вы не будете откровенны, всё может кончиться плохо. И не только для вас, — продолжал наседавать гость.

— Я не понимаю, о чём вы, — холодно ответил дон Балтасар.

Они замолчали. И Толику казалось, что он слышит, как бьётся сердце тестя. Он понимал, что гость не верил ему, да и он сам не верил.

И этот странный Изменитель...

Что это? Шарада? Условный код? Или секретный пароль членов опасной секты? А может быть, некий знак, через десятилетия переданный от того загадочного Соколова?

Глава 5

Недомое нам...

1937 год. Арсенал Картахены. Улица Calle real

1

Соколов с волнением приблизился ко входу в туннель, к той самой двери, что напоминала бронированное, покрытое заклёпками коромысло, искусно вставленное в скалу: здесь кончалась брусчатая дорожка к старым пороховым погребам.

Его охранники — двое рослых, скуластых немецких коммунистов из бригады Тельмана — замерли на порядочном расстоянии. С автоматчиками был один человечешко: испуганный скелетоподобный интель в алой пилотке ополченца, с кисточкой, висевшей соплёй. Ему-то и было позволено сопровождать высокую персону в глубь чёрной горы.

Перед огромной чугунной дверью главный гость, справившись с волнением, набрал шифр на гидравлическом замке. Дверь поддалась с трудом, с лязгом и ржавым скрипом.

Когда она отворилась, Соколов, шагнув во тьму, ошупью обнаружил низкую кнопку и включил свет в помещении...

Он увидел ряды ящиков, уходящие в глубь пещеры. Затем, услышав шаги за спиной, обернулся к двери и уставился на того худышку — эксперта банка Испании.

— Скажите, здесь всё так, как и полагается по накладным? — спросил Соколов, и эхо полетело по огромной пещере.

Эксперт кивнул:

— Пятьсот десять тонн. По шестьдесят пять килограммов в каждом ящике, товарищ Соколов...

— Запомните и другим скажите: для всех я мистер Блэкстон из Национального банка США! Мистер Блэкстон — и только. Это требование высочайшей секретности и чрезвычайной деликатности ситуации...

Испанец кивнул.

— Так... Значит, здесь всё точно? — заключил Соколов.

Испанец опять кивнул, но с некоторой робостью добавил:

— Почти.

— Что значит «почти»? О чём ты? — взорвался Соколов. — Это золото испанской республики! Какое тут может быть «почти» и кому я должен за это «почти» спустить шкуру?

— Не всё так просто, товарищ Соколов... простите, мистер Блэкстон, — ответил испанский эксперт. — Часть ящиков оказались лишними.

Соколов удивлённо вскинул брови:

— Что? Как это может быть? Вы в своём уме?

— Я и сам вначале был удивлён, — заволновался эксперт, — и без вас не решался их вскрывать. С остальными-то всё ясно: это просто золотые слитки. Но вот те... Лишние боксы... Я не знаю даже, что вам сказать...

Эксперт включил маленький никелированный фонарик и повёл Блэкстона в самый дальний, самый тёмный угол. Когда они подошли к «лишним» ящикам, испанец вынул связку ключей, подобрал нужный и открыл замок.

Да!!!

Там были, конечно, не слитки!

Соколов обомлел.

От волнения он вдохнул воздух так, будто собирался погрузиться в океанскую пучину. Так и было, если иметь в виду океан истории.

Перед ним лежали не золотые кирпичи, не бездушные драгметаллы из ведомости казначейства, а утончённые драгоценные фигурки загадочных птиц и рептилий в прозрачных стеклянных боксах, оскаленные масочки, черепа и устрашающе-прекрасные идолы, украшенные изумрудами и бирюзой. В неярком свете они тускло сияли, лучились, переливались тёплыми бликами.

Те, что были похожи на оскалившихся человечков, что-то держали в золотых ручках, протягивали перед собой священные атрибуты, указывающие на их великое значение или принадлежность к высшей небесной иерархии. Звери задирали мозаичные морды, выгибались дугой, щеря жемчужные пасти, а странные птицы казались аппаратами внеземных цивилизаций.

Встречались здесь и крупные топазы, оправленные в золото и платину, и бирюзовые шары, имевшие на экваторах неведомые иероглифы великой туземной власти, и ритуальные ножи с перламутровыми ручками. Злобные и печальные маски высоколобых вождей напоминали о павших царствах и кровожадных добродетелях, сгинувших в потёмках времён.

— Не могу поверить, что они уцелели, — залепетал эксперт. — Кто бы мог это представить?

— Кто уцелел? — стряхнув с себя гипнотический паралич, удивился Блэкстон.

— «Никогда в жизни я не получал такого удовольствия, как от созерцания этих предметов, — я видел среди них прекрасные произведения искусства и восхищался утончённым умом народов дальних стран!» — продолжал испанец.

— Да что с вами? — растерялся Соколов. — Вы бредите?

— Это писал великий художник Дюрер. Он видел их. Это оно — легендарное золото индейцев, привезённое Кортесом королю Испании! В 1520 году в Брюсселе немецкий художник Альбрехт Дюрер осматривал сокровища индейцев майя, присланные конкистадором Карлу V. Невероятно. А это что? Вы видите это?!

— Что «это»?

Испанец указал на фигурку, завёрнутую в особую бумагу с крупными водяными знаками, изображавшими герб Карла V — двуглавого орла с короной и цепью Ордена золотого руна.

Соколов развернул указанный испанцем предмет и поставил его на крышку ящика. То был идол из золота. Неприятная скульптурка существа с широченными глазами. Поняв, что это, испанец отшатнулся.

— Это же Изменитель — бог детей, принимающий их души и направляющий пути наши! — истерично вскрикнул эксперт.

— Что?

— Это он — Тонакатекутли, Изменитель мира, пребывающий на самом высоком из тринадцати небес. В его дом уходят не достигшие разумного возраста дети, принесённые в жертву. Точно, он! О нём говорится в «Сообщении епископа Диего Ланды о делах на Юкатане...» Я писал о нём и о других юкатанских сокровищах Кортеса в университете в Саламанке, писал как о зарисованных Дюрером утраченных индейских святынях. И вот они вернулись все разом. Безмерное чудо! А что это на бумаге?

Испанец указал на обёртку, в которой находился фетиш. На ней было изображение того же идола, сделанное весьма реалистично.

— Какой тонкий и точный рисунок! — восхитился испанец, разглаживая бумагу. — Точно немецкая школа XVI века... А может, это сам Дюрер и есть...

— Это может быть и так. Но у нас с вами нет времени для преклонений. Фашисты могут в любой момент начать бомбёжку. Золото республики будет погружено на корабли. Ваша задача сопровождать его в Москву до момента приёма Государственным хранилищем банка СССР. Идите и сообщите охранникам, что можно вызывать грузовики, а я пока сверю номера ящиков по накладным...

Человечишка попятился к выходу и исчез за дверью.

2

Оставшись один на один с сокровищами из первого ящика, Соколов немедленно схватил тот самый странный предмет, который испанец называл «богом детей», завернул его в гербовую бумагу с рисунком и положил в карман.

И нервно закрыл замок ящика с идолами.

Позже он и сам себе не мог объяснить, почему он так сделал. Ведь, в сущности, он ни в чём не нуждался и жил так, как хотел, на те специальные средства, что лежали в его сейфе представителя НКВД СССР при президенте Испании.

Только вечером, уже у себя в спальне, он, вспоминая этот миг, задавался вопросом: «Соколов — ты сделал это?»

В этот момент ему даже показалось, что только так и нужно было поступить. Что кто-то приказал ему, и он поддался этому безрассудно, как данности, как интуитивному голосу, обещавшему: «Спаси меня, и я спасу тебя. Мера за меру».

Ну и, действительно, почему его рука ухватила *этого* идола, а не других?

И почему вообще судьба вверила ему *это* дело?

Глава 6

Quizás, Quizás, Quizás¹

20 октября 1977 года. Москва. Арбат, 43

1

— Тонакатекутли... Изменитель судьбы...

Они молчали. Гость нервно барабанил пальцем по стулу. Потом стало очень тихо, был слышен ход часов.

Наступившее молчание разрядил Фитиль.

— Уважаемый Балтасар, вы писали в главк, что подумывали о том, чтобы уехать на Кубу?

— Ну да, писал, — подтвердил дон Балтасар.

— Вам здесь плохо? — мрачно спросил гость.

— Не то чтобы плохо... Мне очень даже хорошо. Но я стар и скучаю по родному языку. А в Испанию мне хода нет. И тогда я подумал о Кубе. Я уже говорил с самим Фиделем, а мой друг, тот самый Луис Бланко, подтвердит вам, что у меня есть почётное приглашение... Мне было очень лестно его получить. И вот я подумал о таком повороте дел. Я сидел бы себе где-нибудь на берегу Атлантики, доживал бы свои годы под пальмой, потягивал бы мохито на рыбацком пирсе в Кохимаре, как Хемингуэй, и совершенно никому бы не мешал... И потом, там жил мой брат. И я ещё помню пряные запахи славного острова...

2

За дверью послышалось какое-то шуршание. Потом скрип венского стула, кряхтение, потом лёгкий кашель гостя и неразличимые фразы шёпотом.

Толик насторожился. Он отпрянул от стены, скомкал стетоскоп, с помощью которого он прослушал всю беседу, и нервным движением положил его на комод.

Дверь отворилась. Из комнаты вышел мрачноватый гость, за ним тесть. Переваливаясь, он обогнал пришлеца и побежал вперёд в коридор. Но Фитиль не стал спешить, а, остановившись, уставился на Толика.

— Вам что-то нужно? — спросил Толик.

— Зачем здесь стетоскоп? — насторожился Мрачный.

— Тестю было плохо, — объяснил зять.

— Да, действительно, сердце уже подводит, — подтвердил дон Балтасар.

Гость с презрительным скепсисом посмотрел в глаза Толика и сказал нарочито громко, так, чтобы слышали все, кто мог быть в квартире:

¹ Возможно, возможно, возможно (*исп.*).

— Двадцать лет назад я прошёл специальную подготовку, гипнотизируя змей на плато Путорана. Там, в жерле древнего вулкана, мы учились выживать и чувствовать приближение смерти. И самое важное — понимать семантику патологической человеческой лжи... Ну что ж, будем считать, что всё, что вы говорите, это уклончивая правда, такая же, как тени, бегущие по стене пещеры... — в интонациях гостя чудилась угроза, однако Фитиль философски качнул головой и направился к выходу.

На пороге он резко обернулся к тестю и неприятно улыбнулся:

— Да! Я же совсем забыл, зачем приходил в действительности... Вот, возьмите, здесь приглашение на банкет в Кремле по случаю 60-й годовщины Октября. Приходите, товарищи из Политбюро и Комитета хотели бы вас видеть среди ветеранов. Может, с ними и поговорите о Кубе?

Гость протянул дону Балтасару алый пригласительный билет с рельефным гербом СССР и золотым профилем Ленина.

— А что будет в Кремле? — любопытствовал Толик.

— Во Дворце съездов премьеры оперы Инцкирвели «Красный Октябрь». Арию Ленина исполняет Артур Рэйзен. Я был на генеральной репетиции и прямо вам скажу — поверил, что Ленин может так проникновенно петь. Это потрясающе. Певец смог передать даже лёгкое и такое обаятельное грассирование Ильича.

— Я прекрасно знаю Артурчика, — изумился Толик. — Он в роли Ленина? Это невероятно! У него же центральный бас.

— Меня это тоже вначале обескуражило, ведь исторически у Ильича был мягкий картавый баритон с лёгкой, но обаятельной гнусавостью, — стал рассуждать гость. — Однако на партийном собрании первички центрального аппарата и потом уже на парткоме мне разъяснили, что я был в тисках заскорузлого шаблона и как солдат боевого караула пролетарской диктатуры должен смотреть намного дальше вперёд. Рэйзен — логичный выбор для центральной премьеры этого года. Все советские артисты мечтают о такой роли. Но ЦК партии ревностно выбирает счастливых. А то ведь, знаете, какой-нибудь антисоветчик пролезет в эту святую тему, а потом убежит и в Тель-Авиве набрешет с три короба про нас еврейским мудрецам. И пойдёт гулять по всем странам мира недобрый слушок о нас с вами. А нам же ещё штурмовать великие высоты.

Фитиль, сделав прощальный жест, вышел из квартиры.

Когда дверь закрылась, тесть вернулся в гостиную. Он молча сел в своё антикварное кресло и задумчиво уставился на Толика.

— Что-то случилось? — поинтересовался зять.

Дон Балтасар качнул головой.

— Возможно, случилось. А может быть, ещё нет. А где наша Кармен? Опять с кем-то болтает по телефону? Уже очень долго она мусолит всякую ерунду. А наш телефон могут слушать...

Едва он это сказал, появилась и Кармен.

— Что там можно обсуждать? — заворчал дон Балтасар.

— А кто это приходил? — поинтересовалась Кармен.

— Из райсобеса, — тесть и Толик обменялись многозначительными взглядами. — С пенсией моей хотят разобраться. Я же начал свой трудовой путь в Испании. Фашист Франко мне документы из Мадрида не пришлёт. Он меня не любит. Считает, что я кое в чём виноват... — и тесть погрузился в молчание, давая понять, что разговор окончен.

Толик с Кармен дружно вышли на кухню, и он сказал жене:

— А я ведь, кажется, знаю этого человека, который сейчас приходил.

— Откуда? — насторожилась Кармен.

— Я его видел в гостинице «Октябрьской», где он пиялился на меня своими змеиными очами.

От этой фразы Кармен стало трясти.

— Ты был там с Сосновским?

Толик кивнул.

— Я так и знала! Это всё опасные люди! — в ужасе выпалила Кармен. — Берегись их!

— Прекрати! — Толик прижал её к себе.

— Ты не понимаешь, что тут творится, — запричитала Кармен. — Демоны прошлого вернулись в наш дом! Они кружат над нами. И ты видел их посланца. Всё это не к добру!

— А если я отправлюсь за призраком прошлого? Если я найду безумного идола? — предположил Толик.

— О чём это ты?

— О тёмном прошлом твоего отца, — вдруг выдал Толик.

— Лучше туда не суйся! — воскликнула Кармен. — Оторвут голову!

Кармен вздрогнула и, вырвавшись из объятий, убежала в слезах. А ошарашенный Толик увидел в окно, как Фитиль в сопровождении четырёх тусклых типов удаляется по правой стороне Арбата к гастроному «Смоленский».

Глава 7

Потусторонний друг

1937 год. Валенсия. Отель «Метрополь», Calle Xativa, 23

1

После того, что случилось в Москве, Соколов чистосердечно рассказал жене обо всём, и она оправдала его измену. Она вообще сразу простила его — но Соколову было от этого не легче, он-то чувствовал свою вину. А когда она выступала его адвокатом, испытывал ещё большую неловкость.

— Ты ни в чём не виноват, — твёрдо сказала Мария. — Это всё люди с дурным глазом и завистью. Это они. Ты просто наивный идеалист. Они знали, что это может обернуться против тебя.

Он хотел возразить её абсолютно иррациональной версии, но она оборвала его порыв.

— Ничего больше не говори! Мне известно, что в наших чекистских главках есть женщины, от которых невозможно отвести глаз. Я знаю, что придумано ошеломляющее зелье, усиливающее влечение мужчины. И если женщина красива, а зелье сильно — устоять невозможно...

Он слушал, соглашался с её аргументами, но переживал это потом несколько дней. И даже на работе думал, правильно ли поступил. Но всё же, взвесив ворох печальных аргументов, твёрдо сказал себе: этой лжи между нами больше нет.

Лжи-то не было — но тень ушедшей беды витала над ними мстительным призраком. И часто Соколов думал об этом, когда наезжал к жене и дочери из Испании в Перпиньян. Гуляя по скверу возле Гранд-отеля, он невольно возвращался к оправдательному приговору жены.

2

В Валенсии в соседнем с Соколовым номере жил командарм Богомолов — скуластый, с волевым взглядом. Соколов часто встречал его в ресторане и на почтамте: они кивали друг другу, механически приветствуя, но ни о чём, кроме погоды, никогда не говорили, да и не полагалось — генерал был «соседом» и представлял в Валенсии интересы Красной армии. Единственной фразой, которую за все дни в отеле Соколов слышал от командарма, была местная поговорка: «В Валенсии не ждут, а действуют». Богомолов упрекал ею своего адъютанта, сидя за соседним столиком, и чтобы как-то завершить свою мысль, командарм неожиданно обернулся к Соколову и спросил «А вы что думаете?»

Тот не ответил, а просто пожал плечами: в чужие разборки Соколов никогда не встревал и советов «соседям» не давал.

Богомолов открыто жил со своей испанской переводчицей Мерседес Мантидо. Она часто шеголяла рядом с ним в отлично скроенной кожанке и напоминала революционерок-комиссарш первых лет советской власти. И хотя в личную жизнь генерала Соколов не лез, досье на соседа он отослал в Москву — так полагалось.

И вот, в номер Соколова постучал Эйсер.

Александр Николаевич!

— Ну что там? — он открыл дверь номера и увидел Эйсера с пакетом в руках.

— Пришла шифрограмма из Москвы. Содержание её деликатно и должно быть передано вам.

Эйсер сунул Соколову незапечатанный пакет с расшифровкой.

Соколов развернул бумагу и прочёл: «Строго секретно. На днях в Москву будет отозван командарм Богомолов. Официально целью его отъезда заявлен перевод на другую работу. Постарайтесь, не вызывая подозрений, отправить за ним группу, которая будет негласно следить за ним, а в удобный момент передаст наблюдение Семёнову и его группе уже в Париже, откуда вместе с генералом отправятся в Антверпен, и на корабле “Свирь” состоится его арест».

Соколов положил телеграмму в ящик стола и вышел в ресторан. Там он и встретил Богомолова, что-то жевавшего в углу. Они кивнули друг другу, и вдруг генерал сам подсел к Соколову за столик, чем сильно удивил.

— Саша, я знаю, что вы много ездите и в курсе всех дел, что тут творятся. Не могли бы высказать, с чем связано то, что сейчас за мной наблюдают лица, которых я наблюдать за собой не просил? И потом, вы поймите: у вас тут своя, конечно, специфика, а у нас своя.

— Мы в чужой стране, где достаточно угроз и для вас, и для меня, — успокоил его Соколов. — Вы же понимаете, что враги хотели бы нанести нам урон.

Богомолов со скепсисом выслушал и вдруг разоткровенничался:

— Вы получаете шифрограммы из Москвы, и я подозреваю, что про меня там что-то есть. Ну ведь так? Да?

— О вас ровным счётом ничего, — пробормотал Соколов.

По взгляду Богомолова он увидел, что командарм ему не поверил, но и не ушёл, а стал нервно ёрзать на стуле и вдруг, максимально приблизившись к уху Соколова, забормотал:

— Моя Мерседес волнуется — у неё недоброе предчувствие. Я, честно говоря, даже и не знаю, зачем понадобилась такая спешка с моим отъездом, она вносит неразбериху в налаженную работу. Всю ночь голову ломал.

— А я вам завидую, — сдержанно произнёс Соколов. — Вы возвращаетесь в Москву. Там наверняка будет что-то интересное предложено. Столько дел ещё предстоит сделать...

— Вы серьёзно так думаете? А я вот думаю, что нет. Вы вообще читаете наши газеты? Хочу быть с вами откровенным — в Москве происходит что-то непонятное и тревожное. И тут Мерседес, хоть она и не знает наших дел, права, когда говорит: «Коля, я боюсь за тебя».

— Я надеюсь на лучшее.

— И ничего вас не тревожит? Вы что, думаете, это обойдёт вас стороной? И не только вас — но и вашу жену, и вашу дочь? Не надейтесь!

— Послушайте, Николай, я прошу вас не переходить черту. Мои близкие — это моя забота. Думайте о своих.

— Желаю вам спокойных снов!

Богомолов встал из-за стола и удалился. Однако на выходе из ресторана задержался и обернулся на Соколова.

3

— Я не знаю, что будет, Мерседес, — сказал командарм. — Твоё волнение передалось и мне. Я военный и, наверное, не должен себя так вести, но не могу понять, почему у меня появилась дрожь в пальцах. Я раньше-то ведь всегда был собран, и на фронте тоже. Там меня ничего не пугало. Но сейчас...

— А Соколов? Что он тебе посоветовал?

— Он себе на уме, и это понятно. Но в его глазах я прочёл, что они готовят мне какую-то гадость...

Послышались шуршание, чмоки, потом женское постановление.

Соколов остановил магнитофонную ленту и сказал Эйснеру:

— Сделайте расшифровку, но в Москву пока не отправляйте. А вот топтунов за Богомоловым пошлите. Пусть проводят его до Парижа, а там — передадут Семёнову и его людям.

— Семёнову? — переспросил испуганно Эйснер. — Вы думаете, командарм больше не вернётся?

— Я ничего не думаю и ничего не знаю! — вспыхнул Соколов. — Будем заниматься каждый своим делом, а не строить гипотезы о том, кто вернётся, а кто нет.

— Значит, командарма мы больше никогда не увидим? — помрачнел Наум.

— Не паникуйте вы раньше времени. Может, всё изменится и ничего не случится.

Эйснер остановился у подоконника и стал нервно постукивать по нему пальцем. Затем раскрыл окно и вдруг резко обернулся к Соколову и прокричал:

— Смотрите!

Соколов подошёл к окну и выглянул: он увидел, как у гостиничного подъезда Богомолов прощается с военными советниками, окружившими его. Он что-то говорил Мерседес, обнял её, но она разрыдалась. Он бросился её утешать, потом вынул из кармана какой-то конверт, наверное, с деньгами, и насильно впихнул в карман её кожанки. Затем нервно сел в автомобиль и уехал.

Его коллеги из военного аппарата мрачно смотрели вслед удалявшейся машине. Потом они обернулись и разом взглянули на окно Соколова...

4

Слова Богомолова заставили Соколова задуматься о своей семье. И хотя в тамошнем уютном отеле было комфортно, хотя в окна их номера был виден романтический сад с римской развалиной, идиллия была невозможна: дочь мучилась суставным ревматизмом, и её приступы сводили супругов с ума, особенно когда температура повышалась до сорока и бешено колотилось сердце. Её тело сводили судороги, и накатывали приступы беспомощности. Дальше его компетенция не простиралась, а уступала высшим силам.

Девочка оказалась перед лицом медленно надвигающейся смерти, которая то и дело пыталась досрочно к ней прорваться. Французский врач, которого они вызывали, не делал долгосрочных прогнозов, ссылаясь на то, что в таких случаях всё зависит от человека, а болезнь может развиваться очень долго, но неизбежно превратит ребёнка в развалину.

— Вы же видите, у девочки непроизвольное подёргивание мышц лица, ног и рук, похожее на нервный тик. И это постепенно приведёт к кардиту и полиартриту, а там — к полной неподвижности и пороку сердца, — пророчил ревматолог.

— А что же потом? Когда пройдёт недуг? — наседал Соколов.

— Вряд ли этот недуг пройдёт, так что радуйтесь каждому дню, — откровенно резюмировал врач.

Вот чем жил их тихий мирок, временный приют в захолустной южной Франции, в двух шагах от сонной Ривьеры.

Когда приезжал Соколов, они вместе выбирались на пляж и долго шлёпали босыми ногами по песку, купались, играли в лаун-теннис — проводили дни, скорее, как заезжие американцы, так как на людях всегда говорили по-английски.

От Испании Перпиньян отделяли всего двести километров живописного шоссе, летевшего вдоль побережья. Это была дорога в счастье. Хотя размышления о смысле пережитого даже в пути не покидали бойца невидимого фронта.

Даже когда он играл с дочерью в теннис, каждый раз, посылая мяч, Соколов вспоминал погибшую любовницу.

5

В тот вечер, возвратившись из Франции в свой валенсийский отель, он заперся в кабинете. На столе вздымались стопки депеш. Соколова охватила тоска от череды предстоящих дел и всего того, что его ждёт.

Едва вынув из кипы документов увесистый сургучный пакет с паспортами и личными документами погибших интербригадцев, он тут же отбросил его от себя, отодвинул ундервуд¹ и бакелитовый телефонный аппарат, символ вечной тревоги.

Скрестив по-наполеоновски руки, Соколов впился глазами в висевший на стене портрет Сталина.

Вождь вознёсся над картой СССР и строго смотрел на хозяина кабинета. Брови кормчего были чуть сведены, в лице проступала жёсткость, твёрдость. Казалось, взгляд его говорил: «Я вам ничего не прошу».

Соколову нравилось это фото. Он помнил момент, когда на съезде победителей в Свердловском зале Кремля фотограф из «Огонька» запечатлел вождя, а потом подарил Соколову снимок.

¹ Пишущая машинка.

Это было особо дорогое фото. Однажды во время приёма он подписал его у самого Иосифа Виссарионовича, и там, на обороте, было несколько слов синим карандашом, адресованных лично ему: «У вас большевистская школа: никаких уступок врагу! И.Сталин».

Было в нём что-то, что заставляло Соколова смотреть на него с восхищением. Магическая аура окружала этот гипнотический снимок. Но иногда, заходя в кабинет и глядя в любимую фотографию, Соколов ловил себя на мысли: я абсолютно не знаю этого могучего человека и могу только что-то фантазировать о его жизни и действиях. Он подлинный сфинкс...

Соколов вынул из кармана украденную золотую безделушку, развернул гербовую бумагу с рисунком и поставил божка на стол. Идол был мрачноват. Большеголовый, с руками, протянутыми вдоль тела, и необычными рядами бусинок на груди. Божок стоял на небольшом постаменте и приковывал внимание.

— Тонакатекутли... Так значит, для тебя убивали детей? Для тебя приносили жертвы, маленький фетиш кровавых дикарей. Но, видно, в истории всегда так будет: где крови нет — не может быть и славы¹.

Соколов разглядывал Бога детей, пытаясь понять, что теперь с ним делать.

Безделушку точно следовало хранить в каком-то тайном месте, в полости, чтобы она жила там своей жизнью и лишь иногда возникала из ниоткуда и приятно щекотала ладонь, напоминая о поступке в старых пороховых погребках.

Соколов повертел вещь перед глазами. При свете настольной лампы он решил внимательнее рассмотреть небольшое колёсико, блестящее на грани животика фетиша. Он тронул его ободок указательным пальцем и слегка нажал. В теле фигурки открылась дверца. За дверцей, обложенная разноцветными полуистлевшими шнурочками, плотно лежала маленькая золотая призма.

Соколов вынул её и, повертев, обнаружил в торце выпуклый знак бесконечности. Он решил протереть его от пыли, чтобы лучше разглядеть рисунок, но как только коснулся выпуклого знака пальцем, в комнате стало темно.

«Диверсия на электростанции? — подумал Соколов. — Когда теперь дадут свет?»

Так было и на прошлой неделе, когда диверсанты взорвали подстанцию...

6

Темень была кромешная. Он и сам был в этом виноват: по его приказу после случая с Богомолковым на окнах повесили непроницаемые гардины. Соколову были неприятны и тягостны расставания у отеля, которые теперь стали традицией и больше напоминали прощание навсегда.

Эйснеру он объяснил это требованием секретности: якобы в домах напротив, за ареной, могли сидеть враги с биноклями и снайперскими винтовками. Никто не должен видеть, что происходит в его кабинете. Так что в любом случае, когда выключался свет, становилось темно.

Но когда свет вновь вспыхнул, Соколов обомлел.

Он был уже не в комнате вовсе, а стоял перед каменной трёхэтажной беседкой со множеством колонн на первом и втором этажах. Беседка была с тремя куполами, в затейливом мавританском стиле, похожа на те, что встречаются в Андалузии и Гранаде. Свет был не ярко-жёлтый, как в гостиничном номере, а мягкий, почти что восковой.

¹ Пьер Корнель. «Сид».

Монах-капуцин сидел на скамейке, придвинутой к стене беседки, изучая замысловатый макет куба Неккера¹, сравнивая его с чертежом, лежащим прямо перед ним на мощённом плитам полу беседки. Приставная лестница вела на второй этаж, где боком стоял неизвестный в плаще и шляпе, отороченной страусиными перьями. Он был похож на карту таро «Король кубков», в раскладе, указывающую на то, что он хочет помочь вам или захочет это сделать, если попросить его о помощи. Печальный аристократ наблюдал за погружённой во тьму долиной и горами, похожими на Марронский хребет в Абруццо в районе Гран-сассо.

Лицом к Соколову на третьем этаже беседки стояла неизвестная женщина. На её шее мерцали бусы, голову украшала митра, а силуэт не оставлял сомнения, что это папесса, символизирующая в таро понимание невидимых вещей.

На площадке перед крыльцом беседки услужливый кавалер вёл даму с замысловатой двугорбой причёской, точь-в-точь графиню Маргариту Тирольскую. Он указывал ей на ступени лестницы, призывая быть осторожной со шлейфом. Кавалер в колпаке с полями был еретиком-катаром², как будто с работы Фра Анджелико³ «Диспут святого Доминика и чудо с книгой».

Время от времени в окнах и дверях показывались и исчезали шуты, мошенники, созерцатели. Все персонажи, казалось, были выстроены здесь для какой-то нарочитой сценки или репризы.

Обозрев мизансцену на этажах бельведера, Соколов заметил, как в маленькой беседке-башенке на третьем этаже из-за спины папессы высунулся ещё один тип. Но, едва заметив взгляд Соколова, персонаж шарахнулся прочь и быстро удалился вдоль балконной ограды.

Над крышей здания высоко в небе пылала комета. Она летела навстречу Луне.

Откуда-то шёл раздражающий гул, как будто совсем рядом шумел прибой, но моря видно не было, а сам звук напоминал шипение радиопомех. Правда, прислушавшись, Соколов различил отдельные ноты печальной мелодии.

«Где это я? Сплю ли?» — пронеслось в голове.

— Ты в моих владениях, — произнёс некто. — Годы я был скрыт от глаз людей и томился одной лишь мыслью, что все, кто верил в меня, все, кто ждал моих наставлений и подсказок, давно уже ушли в мир теней. Теперь же, когда ты освободил меня от скуки вечности, я помогу тебе обрести то, что ты знать не должен.

Фигура из башенки встала перед Соколовым. Это был раскосый индеец в одной набедренной повязке, несколько раз обёрнутой вокруг тела. Его косы были обмотаны вокруг головы наподобие венка, а сзади болтался небольшой хвостик, похожий на кисточку.

— Индеец? — удивился Соколов.

— Я могу быть любым. Но во мне ты видишь внешность последнего владельца, запечатлённую в Изменителе. Это закон аппарата, знак которого ты тронул легкомысленно или мудро и тем самым привёл в движение новую череду событий, которые, возможно, и не должны были произойти...

— Мне говорили, безделушка была подарком какому-то королю. Разве не его я должен был бы увидеть?

¹ Оптическая иллюзия, впервые описанная в 1832 году швейцарским кристаллографом Луи Альбером Неккером.

² Катары — члены секты еретиков-мистиков, распространённой на юге Франции и севере Испании и Италии в XII и XIII веках.

³ Фра Анджелико (1400—1455) — итальянский художник эпохи Возрождения, причисленный католической церковью к лику блаженных.

— В Великий четверг, перед началом пасхальной мессы, король Карл V спросил у кардинала-регента, чего нужно остерегаться, получая таинственные дары язычников, и прелат молвил: «Встречи с дьяволом! Ведь лукавый часто меняет свои маски, являя нам тысячи ликов. Не проявив осторожность и ступив на путь гибели, ты познаешь, чем лоно Авраамово отличается от лона Люцифера». Он ещё процитировал Святого Бонавентуру и Боэция, что-то там про юдоль скорби и страдания, но я опускаю эту заумь. Скажу тебе откровенно: при людях кардинал был дьяволофоб, но на деле — чернокнижник и похотливый cortejo¹. А его увещания — не более чем поза завистливого бесстыдника и интригана. Но правда и в том, что король, провозглашённый Знаменосцем Божьим, магистр Ордена Золотого руна, совсем ошалел от чудес мексиканской земли. Ведь хитроумный Кортес принёс в дар не только золото, но и невиданных райских птиц, священных ягуаров, мексиканских акробатов и уморительных карликов-лицедеев... Таких щедрых трофеев испанская держава ещё не знала. Вот почему и кардинал-регент, и королевский казначей изысканными неправдами, а то и силой пытались отнять у покорителя Мексики и Юкатана мзду. Однако генерал-капитан Кортес был человеком с норовом, коварством и твёрдостью духа, иначе бы и не сокрушил тьму индейских королевств, в одном из которых в тайнике священной пирамиды до времени был укрыт Изменитель...

— А почему же всемогущий Изменитель не уберёт индейцев от конкистадоров? — насторожился Соколов.

— Дни благоденствия усыпили бдительность могучих царей, уже искавших спасения не в мудрых советах Изменителя, а в наваждениях наркотических грибов и злаков.

Соколову показалось, что его наваждению пора бы закончиться. Он простёр перед собой и индейцем руку, желая смахнуть призрачную сцену. Но не тут-то было!

— Ах, ты мне не веришь! — воскликнул индеец. — Но свидетельницами разговора короля Карла и кардинала были фаворитки распутного регента: графиня Тленикс и дуэнья Зоренней. Опасаясь посмертных адских мук, император решил не гневить Творца. Он поручил оставить Изменитель у сопровождавшего аппарат индейского колдуна с рабским клеймом guegga² на плече. Живой трофеем звали Семь Ножей, потому что он был орудием жертвоприношений до того, как попал в плен к конкистадорам и великодушно не был обезглавлен, как все его прислужники.

После смерти жреца Изменитель навечно упрятали в катакомбах Золотой казны. Вот почему у меня индейское лицо.

Только здесь Соколов и заметил то самое клеймо guegga на плече жреца и подумал: «Если это так — с кем же в действительности я разговариваю?»

— Всего лишь с проекцией аппарата на реальность, не более, — ответил на его мысль индеец. — Так устроен Изменитель, который своими корнями вплетён в мироздание, а питается с незапамятных времён жизненной силой людей. Я только представительская часть Изменителя. «Бельведер», эта видимая тобой беседка, — его внешняя часть. А сам аппарат, хранитель и анализатор всех вариаций для всех времён состоит из прозрачных маятников и балансиров. Поэтому воспринимай меня только как часть ажурного целого.

— А кто тот, похожий на короля, что стоит на втором этаже беседки? — поинтересовался Соколов.

— Ах, этот? Он, конечно, безумный гордец, но отнюдь не король. Это алхимик Арродес. А этажом ниже не папесса, а Ангелита. Время их реинкарнаций придёт через тридцать девять лет.

¹ Дамский угодник(исп.).

² Война, знак пленного раба(исп.).

Соколов хотел ещё что-то спросить, но индеец не дал ему раскрыть рта, дотронувшись пальцами до его губ.

— Времена благоденствия, увы, закончились. Ты будешь убит в ближайшие дни — посланцы смерти уже рядом, — предрёк краснокожий оракул.

— Я в это не верю! Ты это точно знаешь? Но где доказательства? Где они? — возмутился Соколов и сказал сам себе: «Значит, я вижу это во сне».

Индеец поманил его, и они двинулись узким коридором, затем спустились по лестнице, обойдя невысокую каменную ограду, и уже с другой стороны поднялись к двери, которая вела в цоколь бельведера.

Индеец открыл замок и пропустил гостя вперёд. Соколов оказался в зале, разделённом парными арками на семь частей. Всюду сверкала позолота, а лунный свет проникал через три похожих на иллюминаторы окна. Факелы, укреплённые на колоннах, безбожно чадили. Потолок представлял собой вогнутый купол из ароматного кедрового дерева и был украшен медными звёздами. На одной из стен имелись окна с закрытыми ставнями.

Посредине залы на цепях был подвешен огромный медный чан, в котором дрожала, рассыпаясь на капли, лужа ртути.

Индеец дотронулся до чана рукой, и тот стал раскачиваться, а зеркало ртути зарыбило. Но рябь оказалась не хаотичной. Она отбросила серебристый бегающий отсвет на ставни только одного из окон комнаты.

— Ты хочешь доказательств? Это в высшей степени справедливо, — заключил индеец. Он отворил ставни, и за ними оказалось окно 724-го номера отеля «Метрополь», где жили важные шишки из Москвы. — Доказательства? Ха! Изменитель имеет любые доказательства! А если нужно, то даже и сверхдоказательства! Они будут в сумке, которую ты завтра увидишь на столе у твоего московского знакомого Семёнова, который придёт за тобой.

Соколов подошёл к окну, рядом с которым действительно стоял стол, и на нём лежала сумка.

— О нет, уже не завтра, а послезавтра, — с этими словами индеец оторвал листок с календаря на столе, сменив 26 на 27 июля.

Он запрокинул голову, а потом опустил подбородок, и Соколов заметил, что его зрачки расширены. Жрец действительно что-то видел в этот момент. Он воздел перед собой правую руку, словно грозя кому-то или маня. От этого жеста Соколова охватила дрожь.

— Убийцы задержались в море из-за шторма, — пояснил одержимый индеец. — И едва не погибли во время налёта итальянской авиации с Пальма-де-Майорки. Но решено было окончательно, что теперь корабль в темноте придёт в порт Аликанте. А оттуда они приедут уже сюда...

С этими словами индеец резко схватил со стола сумку, вынул из неё пакет и подал Соколову.

— Посмотри в глаза истине. Она того стоит.

Соколов надломил сургучи с гербами и начал читать текст: «Строго секретно. Вам необходимо всеми силами усыпить бдительность Соколова. Не скупитесь на комплименты и лесть, чтобы под любым предлогом...» Но буквы вдруг стали расплываться, пакет зашипел, как пороховой порошок, и, вспыхнув, опалил пальцы.

— Не сегодня, — сказал индеец со злорадством ошарашенному Соколову, — но ради таких минут и существует Изменитель.

Огонь охватил рукав Соколова и побежал по пиджаку, от резкой боли он вскрикнул...

И вновь оказался в своей комнате. Он с подозрением взглянул на рукав — тот был цел, а рука невредима.

— Вот до какой усталости может довести преданность делу, — сказал себе Соколов.

Он помнил несколько случаев, когда от перенапряжения сотрудников охватывала мания преследования: им что-то чудилось и мерещилось, что-то тревожило их даже тогда, когда для этого не было причины.

В комнате вновь горел свет, и всё казалось таким же, как и до этого видения: на столе была призма со знаком вечности и идол с пустой полостью в животе. Соколов вставил призму в тело фигурки, положил божка в карман пиджака и вышел в соседнюю комнату.

Там его ждали кровать и стоявший в рамке на тумбочке снимок — портрет его жены и дочери...

Конечно, он не поверил своему наваждению.

С чего бы?

Он посчитал его следствием напряжения последних дней и просто махнул рукой на видение, экзотическую галлюцинацию. Ведь кто был этот индеец? Скорее всего, настоящий призрак из тех, что живут и сегодня в старых испанских домах. Скорее всего...

Глава 8

Призрак ветра

1977 год, Москва. Мосфильмовская, 1

1

Флейта звучала предельно таинственно и ангельски. Она будто рассказывала неспешно разворачивавшуюся мелодию, извиваясь на поворотах музыкальной темы. Переливы напоминали классику, но какую, сказать было трудно. С флейтой спорил рожок, наполненный печалью и усталостью доброго пастыря. Его голос, интимный и близкий, звучал совсем в другом, закатанном в паутину времён пространстве. Меняя тональности, инструмент замирал, пропуская партию флейты и, переждав, снова входил с ней в пикировку.

Это был диалог инструментов, одухотворённых сжатым ритмом, раскрепощённых и вместе с тем насторожённых, боящихся самого звучания. В развивавшемся соперничестве появлялись параллельные движения мелодий, а когда этот диалог становился максимально чувственным, инструменты сливались в общем ритме. Финальную гармонию крушили литавры, а волны резкого всплеска тонули у дирижёрского пюпитра.

Автор, окаменев над раскрытыми нотами, почти не дирижировал. Только иногда он встряхивал акценты, указывая что-то кому-то из музыкантов — и тогда краем глаза оценивал реакцию Толика, сидевшего среди оркестрантов и сосредоточенно наблюдавшего за происходящим. Он примостился как раз между дирижёрским пюпитром и флейтистом, и каждый раз, когда вступала флейта, блаженно задира подбородок.

Как только репетиция закончилась и музыканты пошли на перерыв, композитор, обернувшись к Толику, спросил:

— Что думаешь?

— М-да, — только и сказал впечатлённый Толик и передал Эдисону диск Боба Дилана «Времена меняются».

— Откуда такая роскошь?

— Своровал у одного коммунистического фанатика, что приходил к нам на студию... — выпалил Толик. И добавил уже совершенно академично: — Значит, всё, что я тут услышал, — исключительно для того, чтобы оформить начальные и конечные титры фильма для детворы?

— Голоса, которые рождает космос, я расшифровываю флейтой и рожком. Ну а расшифровывая, иногда тонально и мелодично передаю поклоны Ксенакису¹, Мессияну², Варезу³.

— Боже мой, как эта музыка далека от идеалов социалистического реализма! — съязвил Толик. — Ну зачем он нужен — этот шум вместо музыки?

— Я тоже об этом подумал, — согласился Эдисон.

— Вообще, знаешь, весьма ярко, — восхитился Толик. — А что будет ещё в музыкальном оформлении детского фильма?

— Русский фольклор в исполнении ансамбля Покровского. Оцени, как я тут развлекаюсь.

— Мне бы тоже хотелось так жить! — воскликнул Толик.

— А я хотел бы обсудить с тобой вот что, — загорелся Эдисон. — У меня есть одна идея для твоего бархатистого с низким тембром голоса. Он может быть очень сильной краской. Ты ведь прочтёшь мне каноном в квинту?

— Конечно.

— Недавно, играя на фисгармонии, я стал понимать всё совершенно в другом ключе. Наверное, Мессиян начинал с того же, когда садился за орган. Такой опыт оказался волнующим и почти магическим. Когда начинаются движения руками и ногами, то сидишь в этом инструменте, словно паук, изготавливая вселенную, а не музыку. Орёт со страшной силой этот орган, а у тебя много клавиатур! И ты понимаешь, что музыкальная машина окружает и поработает тебя. Ты становишься её роботом внутри вселенского чрева мелодии. В этих фугах на фисгармонии есть сдвиг во времени и в тональности, необходимый для многих голосов у органа, и вот тогда я подумал об особом ходе. Зачастую сочетания нот во времени вызывают диссонанс. Гармония в моём случае не самое важное. Она игнорируется структурностью и увеличением. И в этом поможет эксперимент с голосом и речитативом — сдвиг во времени, наложение одного голоса на другой. Трюк прост, максимально чистая магнитофонная запись обескуражит зрителя, источник звука будет для него незрим. Родится особая иллюзия, будто живой голос вырывается из потустороннего пространства. Первым прозвучит твой низкий голос на ноте соль, с опозданием второй голос на более высокой ноте ре, и снова с опозданием третий — на ля.

— Ступени времени? Обманчивая иллюзорность? Я слушаю тебя и думаю, что это какая-то кабалистика. Сдвиги и потусторонний мир... Додекафония, атональность, хаос. Ну разве это не чернокнижие и еретизм? — напирал Толик.

— Порядок вреден музыке. Она ведь рождается из звука, а звук — провокация времени и пространства. Внутренний дискомфорт наступает оттого, что вокруг много

¹ Янис Ксенакис (1922—2001) — французский композитор и архитектор, лидер течения «Новая музыка».

² Оливье Мессиян (1908—1992) — французский композитор-экспериментатор, органист и орнитолог.

³ Эдгар Варез (1883—1965) — французский и американский композитор, лидер направления «Конкретная музыка», занимался экспериментами в области электронной музыки.

порядка. Он вызывает дикое подозрение и у любого нормального существа провоцирует протест. Нет-нет-нет! Стоп-стоп-стоп! Эта музыка сразу отрубает тебя от радио и от газеты и направляет сознание в состояние свободы от структур, которые тебя окружают. Я начинаю брать шум дождя и задаю себе вопрос как нормальный человек: это же тоже музыкальные звуки?

— Ты просто собираешь звуки согласно внутренней структуре и лепишь из них что-то. Но правы и те в Союзе композиторов, кто тебя обвиняет: эти произведения искусства создаются аристократами для аристократов. А что с этого получит фрезеровщик или штукатур? Что получают люди на колхозном току или механизаторы целинных земель?

— Мне жаль фрезеровщиков и штукатуров, — сказал Эдисон. — Жаль, потому что для пролетариев у меня ничего нет.

— А что это за партитура? Что за вещь? — оставив иронический тон, поинтересовался Толик.

— Написано для одиннадцати инструментов и голоса. Принцип прост: столкновение порядка и хаоса. Почти так же, как пирамида майя, созданная великими архитекторами и математиками для безумных жрецов. Партитура долго вызревала, навеивалась совсем неочевидным литературным источником — поэмой Габриэлы Мистраль¹ «Цветочные войны». По правде говоря, она посвящена индейским обрядам военных жертвоприношений, культу Солнца. Поэтому нужны особые приёмы озвучивания текста...

— Чему-чему посвящена?

— Да культу Солнца и богу детей Тонакатекутли... Причудливо, трудновато выговорить, но в этом что-то есть от звуков космоса, от мрачных обрядов...

— Я где-то уже слышал это имя.

— Наверное, у вас, в редакции Иновещания? Приходил какой-нибудь индеец-коммунист и рассказывал легенды. Правда, у них всегда кровавый финал, жертвоприношения и прочее. Они ведь верили, что миру для существования необходимы многочисленные жертвы, что только кровь кормит космос...

— Нет, индейцы пока к нам не приезжали. Это я не там слышал. Но где?

Толик задумался и вдруг вспомнил подслушанный разговор тестя и Фитиля. Это совпадение его поразило.

— Ну что же, тогда я должен сказать тебе, что вся моя затея...

Толик уже не слушал рассуждения Эдисона, а с подозрением рассматривал зал тон-студии Мосфильма: огромный киноэкран, ряды пюпитров и стульев, дирижёрский помост. Но особенно странно смотрелась застеклённая и отделённая от зала окном рубка звукорежиссёра: там не было света, она пустовала. Но чёрный прямоугольник окна притягивал взгляд Толика, и он не мог сказать почему.

Пространство за стеклом внушало нервное чувство присутствия неизвестного, кого-то, кто преднамеренно напоминал о себе, подавая импульсы из-за стеклянной прозрачной перегородки у пульта звукорежиссёра. Теперь это неявное существо возникало в намёках, в недосказанности и даже в прямых напоминаниях. Сущность пронизывала зал и адресовала акценты именно ему. Но почему? (Я очень хорошо помню этот момент во время нашего разговора на лоджии в Гаване. Тогда Толик осёкся, посмотрел на меня смущённо и спросил: «Вы не считаете меня сумасшедшим?» Я сказал: «Нет». И он продолжил.)

¹ Габриэла Мистраль (1889—1957) — чилийская поэтесса, в чьих стихах были сильны индейские мотивы, лауреат Нобелевской премии.

— А давно тебе пришла в голову эта идея с опозданиями и квинтой? — спросил Толик.

— Вчера, когда в Москву приехал знакомый дирижёр с Чикагским оркестром и мы обсуждали наши планы, он рассказал о том, что был в Мексике и там слышал историю о Боге детей. А что, собственно?

— Мне хотелось кое-что проверить, — сказал Толик. — Иногда так бывает. Кажется, что это, ну, что-то типа дежавю.

— Составлена программа ежегодного концерта *Domaine musicale* во Франции. В этом году исполнят произведения лишь трёх авторов: Веберна, Эдгара Вареза и меня. Там состоится первое полное исполнение «Цветочных войн» за пределами СССР. Ведь я тебе, кажется, говорил об этой вещи? — спросил Эдисон.

«А может, у меня шизофрения, и события последних дней, и выходка в музыкальной редакции — это следствие распада личности, — думал Толик, — и здесь ни при чём какой-то там... Тонакатекутли...»

Тяжёлая дверь в студию резко отворилась, и порыв ветра опрокинул все пюпитры в зале. Толик с удивлением оценил это событие, которое раньше бы даже и не отметил. Он решил собрать партитуры.

— Не подбирай, музыканты сами разберутся, — сказал Эдисон. — А то уходят курить, а дверь плотно не закрывают, вот и получается сквозняк.

— Сквозняк? — удивился Толик. — А откуда здесь сквозняк?

— Старая советская система, ещё при Сталине делали этот зал и как-то так спланировали, что здесь всегда сквозняк.

Эдисон пошёл закрывать дверь, но, не доходя до неё, обернулся. — Ты чем-то расстроен, испуган?

— У меня был разговор с одним кошмарным неврастеником, — короче, с моим тестем...

— А, старое сталинистское чудовище... — посочувствовал Эдисон.

В этот момент дверь с грохотом закрылась.

— И ещё меня выперли с Пятницкой, — признался Толик.

— И как будешь теперь жить? Хочешь, я поговорю с Инцкирвели, и ты станешь его секретарём? Ему сейчас такой очень нужен. Он же готовится к премьере «Красного Октября», и цековские бонзы со Старой площади замучили его инструкциями...

— Ну, если ты мне дашь рекомендацию, я буду рад и такому повороту судьбы, — сказал Толик и обернулся на чёрное прямоугольное окно звукорежиссёрской.

2

Толик вышел из проходной Мосфильма и решил не дожидаться троллейбуса до Киевского, а поймать такси. На его счастье, у остановки притормозила шкода, и девушка за рулём спросила:

— Вам куда?

— До вокзала, — ответил Толик, и они поехали за трёшку.

— Вы работаете на Мосфильме? — поинтересовалась блондинка.

Возможно, если бы девушка была потусклее, Толик сказал бы правду, но он решил сказать «да».

— А кем, если не секрет?

— Я композитор. Сейчас пишу музыку для чудесного детского фильма «Аленький цветочек». И столько, знаете, проблем с этими бездельниками-оркестрантами. А мне ведь нужно побыстрее всё закончить и уехать на фестиваль в Дармштадт.

— Там будет премьера «Аленького цветочка»?

— Да ну что вы! Смеётесь? Там будет исполняться моя оратория «Цветочные войны» в жанре микрохроматической музыки.

— «Цветочные войны»? Как интересно! — включилась девушка. — Это, наверное, уже по Гансу Христиану Андерсену?

И тут уже Толик начал врать в открытую. Он прямо из воздуха и рассказов Эдисона слепил себе фантастическую судьбу и ошарашил шофёршу каскадом достижений. Его монолог был смесью самолюбования, желания блеснуть фразой и соблазнить девушку прямо сейчас, прямо здесь спровоцировать её на немедленную близость. Она была просто потрясена. А Толик был потрясён своим перевоплощением, и так сильно, что только когда они подъехали к Киевскому, он спросил:

— А как вас зовут-то?

— А зачем вам? — насторожилась шофёрша.

— Сходим в Дом композиторов или в Консерваторию на концерт Рихтера¹, — предложил Толик.

— Света, — ответила красотка и сама пролепетала цифры телефона. А затем добавила: — А ты занятый. Давай посмотрим друг на друга поближе.

— Расстояние обсудим при встрече, — ответил он и вышел у башни Киевского вокзала.

Секс был для Толика вождленным искушением. А стратегией он владел головокружительно. Ещё до знакомства с Кармен он влюбился в известную теннисистку. Их роман развивался так стремительно, что она пригласила его на дачу, чтобы познакомиться со своей сестрой и ещё не достигшей сорока мамой.

В тот воскресный день, пока невеста хлопотала на кухне и звонила подругам, Толик, гулявший в саду, сумел «уговорить» и маму, и сестру. Потом, когда они вчетвером пили чай в садовой беседке, вся их болтовня была пропитана смыслами, которые были полностью доступны только Толику, и он переглядывался со всеми.

(В гаванской беседе мы с Толиком достигли предельной откровенности. Тому способствовал ром, принесённый Эмилио. И тут надо сказать, что моему визави удалось восстановить туманные страницы из тёмного прошлого тестя и Блэкстона-Соколова, поэтому в истории и возникает его странный образ.)

Глава 9

Рыцарь смысла

1937 год. Валенсия. Отель Метрополь, Calle Xativa, 23

1

Утром Соколов попросил у Эйснера ключ от пустого 724-го номера, который он видел накануне, как он предполагал, во сне.

Войдя в комнату, он внимательно осмотрел стол, но ничего особенного не нашёл. Стол как стол. Он уже хотел было уйти, как вдруг заметил дату на табеле-календаре. Это было завтрашнее число — 27-е. Как после того, как индеец оторвал листок.

¹ Святослав Рихтер (1915—1997) — выдающийся советский и российский пианист.

Соколов насторожился, но трезвый довод привёл его в чувство: это всего лишь лист календаря на завтрашнее число. «А где же предыдущий листок?» — задумался Соколов и увидел его в корзине: туда его и бросил индеец из сна. Мало ли почему этот листок мог оказаться в корзине, рассудил он и, вынув его, вновь вставил в зажимы календаря.

Он вышел в коридор и увидел идущего навстречу заместителя.

— Александр Михайлович, — сказал тот, когда они поравнялись, — сегодня из Марселя должен был приехать Семёнов с двумя сотрудниками, но вчера был шторм, а потом налёт с Майорки. Они задержались. Придут в порт Аликанте только ночным рейсом, так безопаснее.

— Зачем ты напоминаешь мне об этом? — спросил Соколов, и опять в голове пронеслось то, что говорил ночью индеец: «Берегись, они будут здесь завтра!»

— Разве я вам об этом говорил? — удивился Эйснер.

— Прости, это было в шифротелеграмме, — соврал Соколов (ведь он же не мог сослаться на индейца) и вернул Эйснеру ключ.

— А вам не кажется, что этот приезд может быть тревожным знаком? — прошептал Эйснер.

Они обменялись выразительными взглядами, и Соколов, подмигнув, предложил Эйснеру идти за ним. Они поднялись на лифте, прошли в сад на крыше, где в кадках стояли кипарисовые деревца и кустики самшита. Соколов нервно закурил, пуская дым в сторону сидевшего на козырьке соседней крыши бронзового феникса, уносившего на своём крыле торжествующего Ганимеда¹ с воздетой вверх рукой. Этот чугунный кудлатый самец раздражал своим торжествующим высокомерием. И хотя отсюда открывалась и панорама проспекта, и арена для быков, и фасад Северного вокзала, всё же взгляд его возвращался к скульптуре. Древний город многих башен тихим шумом навевал атмосферу угасшего величия, и потому тень Ганимеда казалась Соколову слишком многозначительной, слишком выпендренной и навязчиво-карикатурной. Он даже подумал, что таким вот Ганимедом выглядело его недавнее самомнение.

Эйснер мялся, опустив глаза.

— Вам нравится эта статуя? — пролепетал он, заметив, что Соколов в который раз смотрит на неё. — По просьбе Ганимеда Зевс временно помешал грекам захватить Трою...

— Неужели мы поднялись сюда, чтобы чесать языками о прекрасном? — взорвался Соколов. — Говори начистоту!

— Вы же знаете, ну, точно знаете, — тихо затараторил Эйснер. — Теперь многих отзывают в Москву, и они там пропадают, и нет никаких известий. Это уже много раз так было. Как с командармом Богомоловым. Как бы Семёнов не стал вашим... Ну, вы понимаете кем.

— А ну-ка, стоп!!! — обрезал Соколов. — Я чист перед партией и не боюсь её суда, пусть даже самого жестокого. Я столько сделал для неё, столько пожертвовал. Почему ты, Наум, решил, что он едет за мной? У тебя панические настроения. Прекрати истерику. Тебе бы отдохнуть пару деньков на море в Сагунто. Там захолустная идиллия, пляж...

Но Эйснера эти слова не успокоили.

— Будьте осторожны, — предупредил он, — мне бы вас не хотелось потерять.

¹ Согласно греческой мифологии, Ганимед, сын троянского царя Троса, был похищен орлом Зевса для того, чтобы служить виночерпием на Олимпе.

Соколов кивнул заму, а сам подумал: «А может, и развязка моей глупой истории будет отсрочена, если мой Ганимед попросит моего Зевса?»

Теперь перед ним стали проступать знаки, которых он раньше не замечал, древние мифы стали говорить только о нём, аллегорическая скульптура была иносказанием его опасности, индеец со знаком войны на плече предостерегал его. Все векторы потусторонних мифов указывали на него. И только на него.

2

Наутро Соколов поехал в лагерь интернациональных бригад в Альбасете, чтобы отобрать агентов-диверсантов, склонных к максимальному риску. В город добрались ещё до полудня, и он направился на полигон, что на той самой арене для быков, которая в его памяти была связана с историей убийства Кармен влюблённым тореадором, рассказанной Проспером Мериме.

Заботы отвлекли Соколова от размышлений о визите Семёнова, так что день прошёл незаметно, а обратно в Валенсию пришлось отправиться только к вечеру следующего. Он, конечно, хотел приехать пораньше и лечь спать, так как знал, что Семёнов уже в городе, а этот визит обещал быть неприятным. Волей-неволей они бы встретились и неминуемо вернулись к тому московскому разговору и к ситуации с Войтовой и его назначением, которое по отношению к Семёнову выглядело некрасиво. Да просто отвратительно.

Солнце клонилось к закату, когда шофёр вывел машину на шоссе, окаймлённое однообразным пейзажем бесконечных оливковых рощ и рисовых полей. Дорога не изобиловала поворотами.

Соколов вспоминал всё, что было ночью. Он мог бы отмахнуться от экзотического сна и образа индейца, но чутьё, выработанное за годы опасностей, не давало расслабиться. Своему ремеслу он был благодарен именно за это животное яркое чувство, о котором он, может, и не узнал бы никогда, будь он человеком гражданской профессии.

Но ещё хуже было то, что у него начался приступ агрессии, едва Соколов вспомнил разговор с Эйснером. Он стал нервно подёргивать сжатым кулаком и бить им по обшивке сиденья. Чтобы снять неприятную нервотрёпку, Соколов вынул из кармана фляжку фундадора¹ и глотнул. Потом взялся за просмотр валенсийской газеты, но, не найдя ничего путного, задремал.

Его разбудил звон стекла. Водитель резко затормозил.

Соколов встрепнулся и закричал: «Как едешь?!» Но когда шофёр указал ему на пробитое пулей лобовое стекло, впал в ярость, снял с предохранителя вальтер и, выскочив из машины, пошёл туда, откуда, как вычислил, стреляли. Шофёр от неожиданности остолбенел.

Соколов бесстрашно шёл вперёд, пристально оглядывая кусты и камни.

Услышав лёгкий шорох, он мгновенно повернулся и стал стрелять, пока не кончилась обойма. Потом хладнокровно вставил новую. В этот миг из-за камней метнулась и побежала фигура. Соколов бросился было преследовать неизвестного, но человек юркнул в кусты и исчез.

— Что ж ты, валенок сибирский, меня не прикрыл?! — возвратившись к машине, орал Соколов на шофёра.

— Виноват, растерялся — всё ведь случилось так быстро.

¹ Вид испанского бренди.

Тогда-то Соколову и пришла в голову мысль о Балтасаре, так как его водитель оказался слишком робким.

На подъезде к Валенсии Соколова охватил страх за жену и дочь. Он понимал, что всё ещё в шоке после стрельбы на шоссе. Своё геройство Соколов теперь осуждал: ведь он мог просто погибнуть. И что стало бы с его семьёй?

Индеец — вот кто оказался прав!

3

Когда машина подкатила к отелю, на крыльцо выскочил взмыленный Эйсер.

— Приехал Семёнов, — выпалил Наум, — с ним ещё два человека. Говорят, что надо с вами что-то обсудить. Весь день сегодня ходят по отелю и вокруг него, чего-то шушукуются.

Соколов кивнул.

— Хорошо. Обсудим. А где поселили Семёнова?

— В 724-м номере.

— Хорошо. Мы переговорим с ним за ужином в ресторане. И ещё, Наум, распорядись, чтобы в номере Семёнова всегда стоял букет живых цветов.

Эта фраза была условным знаком, что здесь постоянное прослушивание. Соколов рассчитывал, что ушлый Семёнов сразу раскусит маскировку микрофона и посчитает её предупреждением — не распускай язык! Ведь он мог бы растрепать про ту неприглядную историю с Войтовой, причём в сердцах, в знак мести за сорванную командировку, и она бы ушла в Москву как напоминание руководству.

4

В номере Соколов принял душ и, освежившись одеколоном, во фланелевых белых брюках и шёлковой рубашке вышел к ужину в ресторан. Он был без пиджака и потому всем был виден висевший на поясе в замшевой кобуре вальтер калибра 7,65.

Но несмотря на полную открытость, в специально пристёгнутом с внутренней стороны брюк тайнике, в ножнах из тонкой и прочной замши висел и короткий острый нож. Так было спокойнее.

На маленькой эстраде ресторана оркестрик играл танго «Кумпарсита», и пронзительный банданеон¹ щекотал нервы. Прилизанный бриолином официант в длинном накрахмаленном фартуке принёс Соколову то, что тот заказывал каждый вечер: яичницу, кофе и пачку «Лаки Страйк». Соколов принялся за еду.

В этот момент в холл ресторана вошёл Семёнов. Они улыбнулись друг другу, и Семёнов по-свойски, хотя его и не приглашали, сел напротив Соколова.

— Знаешь, Саша, ты в Москве герой, — заговорил тот предельно доверительно. — Серьёзно, когда тебя наградили Орденом Ленина, твой портрет вывесили на доске почёта, а рядом — ту передовицу из «Правды», где было написано: «За особые заслуги в деле борьбы с врагами трудящихся наградить орденами Союза ССР». Ну, все в главке, конечно, знали, что это за переправку испанского золота. И твой псевдоним стоял первым. Понятно было, что это ты. А кто же ещё-то?

Соколова эти слова очаровали. Он даже представил, как Слуцкий самолично вывешивает газету на Доску почёта в большом холле с колоннами на первом этаже.

— А что Слуцкий?

¹ Вид гармоники.

— Он считал, что поступил правильно, послав тебя, а не меня... Ты не думай, я зла не держу, — продолжал Семёнов. — Я понимаю, что Слуцкий поступил разумно, по-товарищески. Тебе нужно было уехать. Но согласись: во многом ты виноват сам.

— Я себя за это каждый день корю, — честно признался Соколов. — Проявил слабость. А не должен был. Всё вышло самым печальным образом. Но, видимо, судьба.

Семёнов излучал доброжелательность. Он был тоже искренен. Соколов даже стал укорять себя за излишнюю подозрительность.

— А ты надолго? — спросил он гостя.

— На неделю, а потом обратно, через Париж, — пояснил Семёнов. — Там будет одно поручение. Позже его и обсудим с тобой... Но не сегодня.

«Индец! — снова и снова в голове крутилось это слово, не давая Соколову расслабиться. — Индец обо всём знал... А если всё же поверить? Если всё не так, а иначе? — размышлял Соколов, наблюдая за Семёновым. — Если он по мою душу? Если всё тут спектакль, как с Богомолковым? Одна сплошная ложь».

— Ты один приехал? — поинтересовался Соколов.

Семёнов смерил его взглядом.

— С двумя ребятами. Времена серьёзные, нужны охранники.

«А не они ли на меня напали?» — подумал Соколов и сказал уже вслух:

— Да, тут всякое случается. Надо быть осторожным. Я, например, даже сплю, сняв пистолет с предохранителя. Может быть, это и чересчур, но, согласись, зато спокойнее.

Семёнов машинально кивнул.

Спустя час Соколов увидел и двух спутников Семёнова в самом центре Валенсии: они что-то обсуждали с шефом на крыльце телеграфа на Площади мэрии. Все трое стояли во внутреннем пространстве под козырьком крыльца у одной из медных русалок, держащей в руках фонари.

Соколов пришёл туда в сопровождении двух немецких коммунистов-автоматчиков. Они остались на самом пороге и проводили шефа взглядами до входа в центральный зал.

Когда Соколов прошёл мимо Семёнова и его сотрудников, они тут же умолкли. Но как только он удалился в центральный зал, снова продолжили оживлённый разговор. Соколов скоро вышел к ним и, краем глаза наблюдая за Семёновым и его людьми, опустил корреспонденцию в стоявший тут же медный ящик с надписью *Urgente*¹. Заметив это, Семёнов спросил:

— Ты посылаешь корреспонденцию обычной почтой?

— Какую-то — да. Это личное письмо до востребования.

— Лучше этого не делать, — предостерёг Семёнов.

— Я это учту, — равнодушно ответил Соколов.

Спутники и Семёнов переглянулись. Потом тот, спохватившись, представил их как Теодора и Сержа, сказав, что они приехали на инструктаж интернациональных бригад в Альбасете. Что вроде они даже и не из Союза вовсе: один русский эмигрант, а второй так вовсе македонец. И что у них в Альбасете будто бы какое-то очень уж важное дело. Там им нужно будет побыть часок-другой, но только если ситуация обострится, а остальную командировку они проведут исключительно в Валенсии.

— Сходите на пляж, это недалеко от порта, — посоветовал Соколов.

Семёнов и его спутники переглянулись.

— Конечно, ходим, — согласился Семёнов и вновь обменялся взглядами с Теодором и Сержем.

¹ Срочно (*исп.*).

Потом Семёнов предложил организовать совещание и познакомить Соколова с неким русским лётчиком из Парижа, тоже эмигрантом, который теперь будет пилотом их моноплана и станет летать туда-сюда, куда скажут. Собственно, его они и поджидали на крыльце телеграфа.

— У меня есть Луис Бланко, но если вы считаете...

— Его предлагают попробовать, он из русских эмигрантов... И потом, это очень удобно.

Соколов был не против встречи, но предупредил, что в любом случае будет не один, а со своим верным Балтасаром. Уже уходя, он услышал обрывок диалога Семёнова и Теодора, прошептавшего:

— Он говорил про пляж. Неужели он знает о Мерседес?

В ответ Семёнов буквально зашипел:

— Прикуси язык!

5

Едва Соколов вернулся в номер, как раздался телефонный звонок из Перпиньяна. Жена нервно сказала:

— Приезжай, Вере очень плохо!

Он вылетел на улицу и, вскочив в автомобиль, помчался на север, к французской границе. Сумасшедшая гонка почти ослепила его — он не видел ничего, кроме указателей километров, и прозрел только на французской границе, когда таможенник осматривал багажник автомобиля. Потом Соколов отключился и только у отеля, где жили жена и дочь, пришёл в себя и буквально взбежал на крыльцо.

Соколов ворвался в номер. У постели Веры врачи обсуждали приступ, что-то говорили о кризисе и о лёгкой форме эмфиземы, выписывали какие-то лекарства. Эта научная болтовня немного успокоила его. Только тогда Соколов вышел в гостиную, где отрешённо сидела жена.

Врачи тоже вышли в гостиную, и ревматолог пояснил, что сейчас болезнь отступила. Но только отступила — это отсрочка, которая может быть дольше или короче, однако финал этой драмы хоть и не скор, но неизбежен. Соколова устраивала и отсрочка: он просто хотел, чтобы его ребёнок жил.

Он не смог успокоиться. Мысль о неизбежной потере дочери, которая может произойти в любой момент, свербела в голове, сбивала с толку его, привыкшего подчинять себе любую чужую жизнь. А теперь вот так просто возникло нечто за гранью его воли, вне компетенции его усилий.

Глава 10

Поро

1977 год. Москва. Арбат, 43

1

Очевидно, Балтасар о многом не рассказал Фитилю. Да и должен ли был? Он ведь кое-что знал о Соколове, о чём, конечно, не собирался писать в Общий отдел ЦК. Но если вдуматься: что бы он им написал? Что бы он им сказал, и вообще — поверили ли бы они этому? Не сочли бы его выжившим из ума? Да, он кое-что приберёт для самого последнего момента.

К примеру, в старом коленкоровом альбоме было фото от 1 мая 1937 года, где Соколов, Эйснер, дон Балтасар и несколько других товарищей собрались за общим столом. Тут было и лучшее розовое вино, и сыр, и даже колбаса-собрасада, похожая по вкусу и на паштет, и на сыр, тут были и различные гостинцы, привезённые Соколовым из Парижа. А сама эта встреча, имевшая, казалось бы, очевидную причину — праздник международной солидарности трудящихся, — была на самом деле посвящена несостоявшемуся покушению на шефа.

Однажды Соколов вызвал Балтасара в отель на встречу с лётчиком моноплана, о котором говорил Семёнов. Испанец вошёл по неосторожности без стука и застал шефа с золотой призмой в руках.

Балтасар оценил, как перепугался Соколов, и заподозрил, что золотая вещица досталась тому несправедным путём. Он часто потом вспоминал глаза шефа в тот момент, но что всё это означало, понял только много времени спустя.

Вряд ли ему тогда был известен подлинный смысл Изменителя, и уж тем более он не знал о переговорах, которые вёл Соколов со странным аппаратом. Но вот тогда, глядя со стороны, он подумал, что его идеал погружается в сумасшествие.

Впрочем, первого мая размышления и догадки Балтасара были прерваны событием в высшей мере запредельным. А начиналось всё просто: в кабинет Соколова вошёл Эйснер, а с ним человек в полевой офицерской форме, но без знаков различия. Наум представил его как русского лётчика-эмигранта. Дон Балтасар отметил, что на поясе у неизвестного висел советский револьвер.

Соколов сделал знак, и испанцу пришлось отойти вместе с Эйснером в сторону: шеф должен был поговорить с незнакомцем о чём-то весьма щепетильном — и значит, очень секретном. Их беседа вначале была обычной, сухой, полной намёков и междометий. Кажется, Соколов засомневался в пилотных качествах эмигранта и выражал гостю недоверие. И всё шло более-менее мирно, как вдруг Балтасар отметил, что эмигрант и Соколов уже о чём-то эмоционально спорят, да так, что Соколов воскликнул: «Ого!»

И вот тогда неизвестный воскликнул:

— Так вы хотите сказать, что я лгу? Вы это хотите сказать?

Соколов опешил. Он явно не ожидал такой сильной реакции.

— С чего вы взяли? — примирительно спросил он.

Но в ответ прозвучало:

— Я вам этого не прошу!

Балтасар, словно во сне, увидел, как эмигрант выхватил из кобуры тот самый пистолет и наставил его на Соколова. Раздался выстрел, и пуля пролетела мимо.

Балтасар прыгнул к эмигранту, сильным ударом выбил пистолет из рук, но второй выстрел всё же раздался, пуля попала в створку гардероба. В следующий момент уже Соколов выхватил свой вальтер и трижды выстрелил в гостя в упор. Тот был сражён наповал и рухнул посреди комнаты. Из-под спины потекла кровь.

Разгорячённый Соколов встретился взглядом с Балтасаром и Эйснером.

— Его пуля пролетела мимо! — возбуждённо воскликнул Соколов, указав на отверстие в верхнем деревянном бордюре гардероба. — А теперь угадайте: кто мне посоветовал этого лётчика? Ну?

— Неужто Семёнов? — испугался Эйснер.

— Не будем на этом заострять внимание, — продолжал Соколов. — Посчитаем досадным совпадением, неизбежным на любой гражданской войне, — не так ли, Балтасар? К чему нам скоропалительные подозрения?

И в тот момент Балтасар заметил, что рука Соколова задрожала и опустилась в карман пиджака. Он что-то сжал, но сжал так, как будто это было рукопожатие.

— Ну что ж, это доказательство сильнее любых других — и, стало быть, индеец, ты прав. Все ходы можно расписать, но останется же хоть что-то для импровизации, — прошептал Соколов с какой-то странной интонацией.

— Вы с кем говорите? — поинтересовался Балтасар.

Соколов вздрогнул и оглянулся.

— Я говорю с тобой, Балтасар. Наум, распорядись убрать тело. Скоро придут машинистки и переводчики. Мне нужно ещё поработать. Поспешите... Этот человек должен исчезнуть, как будто он и не приходил. Просто его здесь не было. И кровь сотрите начисто, сегодня тут будет много посетителей. Его же никто из вас не видел? Ведь так?

— А что же сказать Семёнову? — поинтересовался Эйснер.

— Скажи, что мы совершенно напрасно его прождали, хотя это ваша креатура, товарищ Семёнов. Так и скажи ему, Наум. И ещё — скажи, что это странно всё. Очень странно!

Эйснер с удивлением посмотрел на Соколова, а тот добавил:

— Я хочу кое-что проверить. Сделай так.

— А я ведь вам говорил, — проронил Эйснер.

— Наум, — мрачно произнёс Соколов, — пока ещё ничего дурного не случилось, кроме, конечно, этого труп и пуль, что пролетели мимо.

— А если случится? Если бы не Балтасар...

Оба обернулись к Балтасару.

— Если бы... — согласился Соколов.

2

Неожиданно тесть сменил гнев на широкую милость, что было у него в порядке вещей, как у любого искреннего психопата. Он сам приготовил Толику кофе и сказал совершенно сердечно:

— Прости меня, старость делает людей нервными, как, впрочем, и глупости родственников.

Эта перемена в доне Балтасаре так поразила Толика, что он долго не знал, что и сказать, а потому лишь пробормотал:

— Спасибо за кофе, Балтасар.

Они молча сидели, пили кофе и думали каждый о своём, пока Толик не решился сказать:

— Я рассчитывал, что застану Кармен дома.

— Ты с ней разминутся буквально на пять минут. Она уехала к старухе Павловой по делам. Она могла бы и тебя взять с собой, но ты облил эту лучшую актрису Вахтанговского театра своим критическим пасквилем... Помнишь ту статейку в журнале «Театр»? Как она называлась — «В чужом пиру похмелье»?

Толик, ставя кофейник на плиту, сообщил:

— В библиотеке спецхрана у нас на радио я читал в испанском журнале статью, где излагалась такая версия: в гражданскую войну воевали те, кто хотел сделать Испанию свободной и процветающей национальной страной, против тех, кто хотел сделать Испанию советской социалистической республикой.

— Это фашисты Франко про меня и моих товарищей. Что можно ждать от врага? Но ко всему прочему... Знаешь, Толя... Поехали со мной в типографию «Известий», — предложил дон Балтасар. И зять понял: что-то будет.

Тесть водил ГАЗ-21 чёрного цвета с блатным номером — с буквами «меч», — который ему устроил всемогущий Комитет.

Они вышли во двор, дон Балтасар юркнул в машину, завёл мотор.

— Значит, тебе интересно моё прошлое?

— Ну да.

— А я-то думал, что нет, — съязвил старикан. — Подслушивать-то нехорошо.

Толик понял, что тесть вычислил его трюк со стетоскопом, и решил пойти напрямую:

— А кто этот Соколов?

Тесть не ответил. Он сосредоточенно вёл автомобиль, и только повернув на Садовое кольцо, сказал:

— О Соколове говорили с уважением, потому что для испанцев человек, который без разговоров может вынуть из кармана пистолет и шлёпнуть тебя на месте, — это человек номер один.

Они переглянулись.

— Он был представительным и образованным, мудрым, ярким, но имелись люди, которые ему вредили, — продолжил дон Балтасар.

— Его пытались убить?

— Не только. С ним поступили гораздо хуже: сделали его поро. Я даже знаю кто: Хименес — Серебряная Голова, который потом всё и рассказал про нас фашистам. И про него, и про меня. А мы этому Хименесу доверяли. Впрочем, возможно, дело здесь не столько в предательстве, сколько в той самой серебряной скобке, которая сделала его немного чокнутым.

— А что это такое «поро»? — заинтересовался Толик.

— Ты не знаешь, что такое поро? — удивился тесть и презрительно хмыкнул. — И моя жена считала тебя испанцем?

— А вот представьте...

— Испания, как и Россия, наполовину Европа... а наполовину Африка, — принялся рассуждать тесть. — Андалусия-то ведь почти что Нигерия. У испанцев есть чёрная кровь. Не много. Но эта кровь может лишить нас рассудительности.

— Я это давно понял, — съязвил Толик.

— Настоящий испанец уже в десять лет начинает делать поро своих врагов. Обычно их можно слепить из глины, выстругать из дерева, а в городе для этого сгодится пластилин. Лучшее поро — это тряпичная фигурка. Сделав фигурку, тебе достаточно будет прилепить ей на мордочку фото своего врага или написать его имя. В поро вставляются волосы, ногти или зуб того, кого надо погубить. А потом ты берёшь шило и начинаешь медленно, с особым удовольствием втыкать его в сердце, в глаза, в пах. Всюду, где это причинит максимальную боль. Если начальник не мил, коллектив делает его поро — и глядишь, он уже и не жилец. Почему так происходит, я не знаю. В Испании мастеров поро сотни тысяч. И есть среди них настоящие виртуозы, они прокалывают не само поро, хуже: они умеют прокалывать его тень. Представь себе! Это опасные мерзавцы. Хуже троцкистов и фашистов вместе взятых. И я до сих пор думаю, что если бы не поро Хименеса, ничего страшного ни со мной, ни с Соколовым не произошло бы. Вот потому-то я и считаю, что Соколов ни в чём не виноват. Ну разве что в сущей ерунде, в самой малости, которую ему могли бы и простить, понимая, что он за человек. Ему я обязан многим. Он сделал так, чтобы я стал одним из комендантов корабля золотой флотилии, что везла наше золото в СССР. Мы вышли ночью из Картахены и уже днём были у Балеарских островов. Страшно боялись налётов с Майорки и итальянских кораблей, но бог миловал, и мы спокойно добрались до Одессы...

С Садового кольца тесть свернул на улицу Чехова, а потом в Настасьинский переулок и притормозил у ворот типографии «Известия». Толик хотел было выйти, но дон Балтасар сказал:

— Погоди.

Пауза тестя немного затянулась, и когда Толик заёрзал, старика прорвало:

— В Испании разговоры о смерти считаются приличными. Кого-то может пырнуть бык, и он погибнет на корриде, кто-то кого-то застрелит из ревности или не из ревности — это нормально. Это естественно. Из-за нашей природной горячности и резкости суждений. Так что не пеняй лишний раз...

— Запомню, — согласился Толик.

— Ты видишь, что здесь? — спросил тесть.

— Ворота типографии «Известия».

— Не туда смотришь, — злобно усмехнулся дон Балтасар и кивнул в другую сторону улицы.

Там возвышалось затейливое крыльцо в псевдорусском стиле.

— Это Гознак, — ответил Толик.

— В этот Гознак мы привезли на грузовиках с Киевского вокзала испанское золото... Весь переулочек тогда был занят нашей автоколонной. Целая толпа чекистов высыпала из здания. Они молча и серьёзно смотрели на ящики до тех пор, пока я им не сказал: «Несите, и пусть Мигель де Санта-Крус сверит их с накладными». Тогда из кабины «Паккарда» и появился этот гнусавый писака Крус.

Тесть замолчал. Потом резко завёл машину и поехал в центр города.

— А сейчас-то куда мы едем? — поинтересовался Толик.

— Увидишь, — мрачно произнёс тесть.

У Красной площади тесть остановился, и они вышли. Испанец почти бежал, Толик едва поспевал за ним. Подойдя к Мавзолею, тесть встал на колени прямо перед входом в ленинскую гробницу, да так, что часовые у дверей невольно посмотрели в его сторону.

Толик почувствовал себя неловко.

— А ты не хочешь встать рядом? — спросил тесть. — Очиститься, как полагается? Тебе уже пора: столько грехов накопил! Иди и почти вождя! Не бойся, он всё поймёт. Он не товарищ Кике и не Сосновский. Будь с ним прям и честен.

— Боюсь, что с моим артритом это плохая идея, — съязвил Толик.

Тесть склонил голову.

Глава 12

Сон вождя

1977 год. Москва, Котельническая набережная, 15/1

1

Толик, конечно, подумал: а нужно ли ему идти в секретари к Инцкирвели? Но других вариантов у него не было, а тесть, обещавший всё решить с помощью загадочного и всемогущего Луиса Бланко, не торопился. И вот, созвонившись с Ваном Георгиевичем, Толик договорился о встрече.

Инцкирвели жил в высотке на Котельнической набережной, в самой высокой её части, и его окна смотрели в спину огромным юноше и девушке, держащим в руках геральдический щит с серпом и молотом. Приближаясь к сталинской башне, Толик предположил, что эпоха другого размера была рассчитана на горделивых гигантов, рыцарей красной готики, которыми многомудрый вождь населял свои высотные

храмы. Вассалов он воспринимал, как камни своей пламенеющей базилики, помня слова, обращённые к апостолу: «И на сем камне Я создам церковь Мою».

В тот день шпиль сталинского собора был в заоблачной выси, где воздух разрежен, и лишь хищные гарпии юрской эпохи могли позволить себе находиться там.

Но патетическое царство былого величия и размера давно омертвело. Два ядовитых метеорита — Хрущёв и Брежнев — погубили сталинских динозавров. Они вымирали мучительно, ворочаясь в своих гигантских гнёздах, скорбя о будущности своих громадных яиц, над которыми порой издавали крики отчаянья. Рёв мастодонтов, не меньший, чем гул турбин Днепрогэса, летел днём и ночью над городом мёртвого Сталина. «Вставай, добрая мумия! Убей всех наших врагов своим острым когтем! Сокруши царство подлых пигмеев!» — молили они своего тлеющего экзарха. Всё это было бесполезно: магия пасовала перед нахохлившимся брежневизмом. Но истошный рык великих человекообразных животных попадал в резонанс Кремлёвской стены, безжалостно дробил камни в красную пыль и пронизывал окаменевший воздух над Боровицким холмом.

Гигантам уже не было места в измельчавшем мире, хотя иной раз их призывали оформить какую-нибудь древнюю традицию, быть привратниками или элементами декора на тожественных излияниях благодарности пузатой мелюзги, порождённой эпохой вымирания. Такие церемонии вчерашние мастодонты посещали со смешанным чувством презрения и неловкой благодарности: вот ведь, ещё помнят. Но как же им не хотелось быть с этими червями-пенисами в одном виварии! Как страдали они, понимая, что их миссия больше не нужна и что красные флаги — это только детальки плохонькой декорации для величайшей измены, которой нет оправдания, что великий красный мир более не реальность, а лишь имитация былого величия.

Вот и композитор Инцкирвели ощущал дидактичность своего положения. Он уже не принадлежал к иерархии высших существ, а, повинувшись негативной эволюции, переместился в сферу обслуживания и ждал, когда же они, наконец, позвонят, когда же они соизволят... Ночами вчерашний мэтр грезил потерянным эдемом. И тогда, достав из шкафчика штоф зеленоватого стекла, наполненный душистой чачей, всасывал её в себя из ещё бабкиной гранёной рюмашки, приехавшей в Москву из далёкого и вечно пьяного села Вазисубани¹. Одинокую пьянку Инцкирвели устраивал в компании с большущим листом ватмана с карандашным наброском Александра Герасимова «Приём товарищем Сталиным Ваню Георгиевича Инцкирвели в Кремле по случаю вручения композитору Сталинской премии 1 степени за оперу “Кавалер Золотой Звезды” по роману Семёна Петровича Бабаевского, лауреата трёх Сталинских премий».

— Что же ты, Сашка, идол, — говорил он, обращаясь к давно уже покойному художнику, — работёнку-то не закончил? Что ж ты оставил её на полпути? — И, не получив ответа, сам отвечал за художника: — А что же ты, Ваню, не успел свою премию получить до смерти вождя? Ведь ты клялся и божился, что приказ уже подписан.

Приказ действительно был подписан, но Хрущёв отменил его, а злые языки утверждали, что с оригиналом этого приказа Хрущёв демонстративно сходил в туалет по дороге на охоту в Завидове.

Пожелтевший монументальный рисунок был прикреплён канцелярскими кнопками к стене кладовки. Там, в окружении дачного хлама, ночами и грезил композитор. Уевшись в сиську, он чокался со Сталиным, который встречал его,

¹ Село в Кахетии (Грузия).

нарисованного, молодого, ещё полного жизненных сил, в Георгиевском зале Кремля. Ещё совсем-совсем не обосранного Хрущёвым...

— Ах, какая ж эпоха, твою мать, пошла кобелю под хвост! — сокрушался Инцкирвели.

2

Толик долго ехал на лифте, и только когда тот остановился на нужном этаже, понял, что забыл номер квартиры.

Выйдя на лестничную площадку, он увидел, что квартир две, и теперь нужно угадать номер. Он решил, что будет левая, и позвонил в дверь. На пороге оказался Фитиль — тот самый, который приходил к тестю. Фитиль перепугался и спросил:

— Вам чего?

— Извините, я, кажется, перепутал квартиры, — пролепетал от удивления Толик и позвонил в соседнюю дверь. Однако он видел, что Фитиль ждёт: так ли это?

Но вот правая дверь отворилась, появился Инцкирвели:

— Ну долго же вы телепали, честное слово!

Толик прошёл в гостиную, где стояли огромный рояль «Стейнвей» и стол, покрытый вощёной бумагой. В окне эркера пылала кремлёвская державная панорама.

Хозяин опустил рычаг под высоким потолком, и открылась фрамуга, впустив ледяной воздух. Казалось, что их встреча срежиссирована Инцкирвели, умело подводящим гостя ко всё новым впечатляющим аттракционам. И как только все они удались, композитор сел за рояль и тихо пропел: «Жить и верить — это замечательно. Перед нами небывалые пути...»

— Ну, в таких условиях можно и гимны писать! — воскликнул гость.

Инцкирвели понравилась оценка Толика, и он сразу перешёл к делу, сообщив, что подготовка к премьере оперы «Красный Октябрь» идёт слишком лихо и он боится что-нибудь проморгать, к тому же собирается вести жёсткий авторский контроль за постановкой, и потому Толику будет дан фотоаппарат «Лейка», чтобы он снял все мизансцены. Снимки будут учтены в работе с дирижёром и постановщиком.

— Размах грандиозный и ответственность велика — я уже побывал в декорациях и, скажу вам, почувствовал себя лилипутом перед колоссальным ленинским бюстом, который будет выезжать на рельсах в самом финале, знаменуя величие бессмертных идей.

— Я преклоняюсь перед вами, Ване Георгиевич! У вас монументальный стиль, как у титанов Возрождения! Я ещё в консерватории читал партитуру «Красного Октября» — это выше всяких похвал. Тут даже революция смотрится как-то иначе, очень по-человечески, что ли, и вместе с тем как нечто космическое.

Лесть Толика понравилась композитору. Он предложил коньячку «Варцixe», они шлёпнули по рюмахе, и стало сразу душевно, а беседа приняла совсем доверительный оттенок. Инцкирвели убрал вощёную бумагу, и под ней оказалась знатнейшая закуска.

— Давайте осетрину трескайте, не стесняйтесь! Под коньячок она с лимончиком очень даже идёт! Это нам моя жена Нина приготовила. Смотрите: тут и сациви, и бордиджанчики, и буженинка из кремлёвского пайка.

Толику понравилось простецкое обращение. Он положил себе в тарелку сервелат и принялся быстро его поглощать.

— А у вас консерватория за плечами? Отлично! Это даже лучше всех рекомендаций, — стал нахваливать Толика композитор.

— Но моя секретарская роль будет состоять лишь в помощи вам и каком-то контроле. Разве образование тут важно?

— А как же! Я буду пристрастен и пойду до конца в осуществлении постановки, которой посвятил столько лет. Я и сам себе ночами твержу: наконец-то! Вы работали на радио? Отлично! Значит, умеете обращаться с магнитофоном. Я вас попрошу записывать репетиции, чтобы я дома мог анализировать некоторые пассажи и даже что-то подправлять.

— Ну что ж, тогда мне будет приятно быть вашей опорой, — ещё раз расшаркался Толик.

Но тут на рояле зазвонил телефонный аппарат, Инцкирвели снял трубку и кому-то стал раздражённо говорить только «нет», а потом монотонно и многократно «да».

Правда, соглашался с кислой рожей, чего Толик не заметить не мог. Потом Инцкирвели схватил листок и стал что-то нервно записывать, время от времени говоря: «Повторите, я не успел».

Когда композитор положил трубку, гость поинтересовался:

— Всё в порядке, Ваню Георгиевич?

Инцкирвели помрачнел: он решал, стоит ли Толика посвящать в весьма тонкий телефонный диалог, стоит ли раскрывать подробности неудобного положения. Но дело было слишком очевидным, чтобы его утаить.

— Всё в полном порядке... Но не совсем. Дело приобретает неправильный оборот, мне приходится идти на уступки в мелочах ради чистоты главного. Искусство требует жертв.

— Простите, не понимаю, — сказал Толик.

— Они заставили меня включить в либретто и спектакль ещё одну сцену, которая теперь должна стать финалом. Музыку к этой сцене напишет другой композитор. А я нехотя, конечно, вынужден согласиться. Они мне коротко и жёстко объявили: «Так надо. Спорить нельзя».

— Новый финал? После слов Ленина о том, что революция победила?

— Вот именно. За согласие они обещали мне квартиру на улице Горького, Ленинскую премию и много чего ещё, весьма важного для меня и моих родственников в сегодняшнем положении. Мне-то уже несколько дней звонит родня из Вазисубани и Самтрелиа и интересуется, когда я получу авторские.

— А что это за такая весьма дорогая сцена?

— Она предельно сервильна. И даже запредельно. Мне стоило большого нравственного усилия согласиться на её включение в оперу.

— Но всё же, что там такого? Если не секрет? Скажите ради бога, — стал наседать Толик.

— Ну, вы-то, став моим секретарём, и так бы всё узнали, — подавленно произнёс Инцкирвели. — Впрочем, мы с вами взрослые люди. Сюжет новой финальной сцены прост: февраль, 1943 год, Малая Земля. Комиссар Брежнев только что принял в партию группу сапёров и укладывается спать в землянке. Он погружается в сон и вдруг видит, как через взрывы снарядов и бомб, в дыму танковых выстрелов, в гуле автоматных очередей к его землянке идёт сам Ленин.

— Что? — изумился Толик.

— Поражённый Брежнев, так же, как и вы, не верит своим глазам и, несмотря на опасность, выходит из землянки навстречу вождю мирового пролетариата. И здесь Ленин поёт: «Я знаю! Вы Брежнев Леонид Ильич! В будущем вы станете Генеральным секретарём ЦК КПСС! За ваши подвиги я награждаю вас четвёртой

Звездой Героя Советского Союза!» Над сценой взмывают снопы праздничного салюта. Откуда-то из глубины фронта идут к Брежневу пионеры и комсомольцы, космонавты и доярки с цветами. Брежнев благодарит их всех, и на его груди вспыхивает Золотая Звезда. А Ленин поёт... — Инцкирвели взял бумажку, на которой что-то записывал во время телефонного разговора, и принялся читать: — «Славьте Брежнева Леонида Ильича! Он совесть партии и её светоч! Да будет нам он подлинным солнцем! Да освятят его лучи величие наших дней! Какой же удивительный это человек! Ну разве не чудо, что мы с ним современники!?»

— А сон? — поинтересовался Толик.

— Что сон? — переспросил Инцкирвели.

— Сон-то в опере заканчивается? Брежнев просыпается? — стал выпытывать Толик.

— В том-то и дело, что нет: Брежнев продолжается спать. Так получается, что всё последующее — это сон Леонида Ильича. Я так подумал, что даже аплодисменты и закрытие занавеса происходят в его сне.

— Вы это серьёзно? Но зачем им нужен такой откровенный бред? — рассмеялся Толик.

— В момент, когда зрители будут аплодировать финалу, раздастся голос диктора, который сообщит, что сейчас сбудется пророчество Ленина из сна Леонида Ильича Брежнева и он действительно будет награждён в правительственной ложе Звездой Героя, а также какой-то уникальной саблей, которая займёт почётное место в его обширной коллекции сабель.

— Это правда? — пробормотал изумлённый Толик. — Неужели всё это правда?

— Жертвуя малым, я получаю большое, — оправдался Инцкирвели. — Это удел успешного автора.

— Боже мой! — воскликнул Толик. — Какова деградация всех этих зоологических уродов! А в космос Брежнев не улетает? По Луне не рассекает на правительственном ЗИЛе? А вы-то, вы-то, Ваню Георгиевич! Вы-то всему этому потакаете! Вы-то понимаете, какая эта ерунда? Ваша опера растоптана и превращена в увертюру к брежневскому подстроенному триумфу. А триумфа-то никакого нет! Есть только старая, надутая через жопу мумия редкостного мудака. А вы, как не знаю даже кто, продаёте себя! И смех, и грех!

— Как я понимаю, нам с вами будет сложно работать, — мрачно произнёс Инцкирвели. — Зачем меня Эдисон обнадёжил, даже непонятно!

3

Выйдя из квартиры Инцкирвели, Толик подумал: «А может, я зря всё это ему пулнул? Нужно было принять участие во всём этом диком бреде. Ну что с того, что эта чернобровая дрянь будет торжествовать? Что с того, что Брежнев публично предстанет самой огромной жабой в мире, ведь для всех он ею и так давно является?»

На секунду он замаялся. Но было уже поздно — возвращение и раскаяние в его случае выглядело бы даже большим скотством, чем лакейство Инцкирвели со сценой с Брежневым в конце оперы о Ленине. Уходя из сталинской высотки, Толик корил себя за несдержанность.

Глава 13

Тревожный день

1937 год. Валенсия. Carrer de Xativa, 23. «Метрополь»

1

Увидев Балтасара, вошедшего в номер, Семёнов насторожился. Но Соколов успокоил его.

— Это проверенный испанский товарищ. Все опасения напрасны. Он возглавляет ЧК Валенсии.

Они расселись за круглым столом.

— Ну что ж, тогда ты и отвечаешь за него, — предупредил Семёнов, смерив Балтасара грозным взглядом. — В сущности, разговор пойдёт о ликвидации секретаря Троцкого. В Париже этот Клемент общается с нашим агентом, и тот у него в большом доверии. Но в нужный час эта троцкистская тетеря будет сопровождать тех, кто его прикончит.

Семёнов обернулся к двум типам, что постоянно сопровождали его, а в тот момент сидели у окна за тем самым столом, на котором лежала вализа с роковым письмом.

— У высшей инстанции есть какие-нибудь пожелания? — насторожился Соколов.

— У неё всегда есть такие пожелания: жёсткие и назидательные. Без них предатели и враги совсем бы распоясались. Короче, друг Клемента позовёт его к себе на квартиру на бульвар Сен-Мишель, и там он будет убит и обезглавлен.

— Как ты сказал? — насторожился Соколов.

— Ему отрубят голову. Ведь оппозицию надо бить по голове, — пояснил Семёнов. И добавил: — Утомительное занятие — лучше бы рожать.

Соколов вздохнул.

— Признаю, что дело опять не из приятных. Ты можешь и не присутствовать при этом. Вы с товарищем останетесь на улице. Когда мы войдём в подъезд, вы должны будете наблюдать, чтобы вокруг не было никаких лишних людей. Ну и если они появятся, задержать их, а потом помочь нам скрыться.

— Понимаю, — сказал Соколов.

— А потом мы все вместе уедем туда, куда уже определено высшей инстанцией. Но об этом пока не могу тебе сказать. Ты сам всё и узнаешь, — пояснил Семёнов.

Соколов нервничал: этот план ему не нравился. Он прекрасно понимал, что находится в положении жертвы, а то, что говорил индеец, всего лишь предупреждение, но не спасение. Спасение — это его личное дело. Ведь, как говорится, тот, кто предупреждён, уже вооружён. Но не спасён.

Теперь вставал и другой вопрос: он должен был довериться Балтасару. В случае отхода и непредвиденного развития событий испанец оставался единственным бойцом его отряда, который окажется рядом. И захочет ли этот боец быть его бойцом, а не убийцей? А как поступит этот импульсивный Балтасар, когда узнает, что происходит на самом деле?

— Ну что же, — заключил Соколов, — дело предельно ясное. И теперь только вопрос, когда выезжать.

— Это решится в ближайшие часы, — бодро сказал Семёнов. — Одно ясно точно — пока всё идёт великолепно.

2

Долго ждать не пришлось: через два часа радист принёс Соколову телеграмму. В ней приказывалось выехать из Испании и через Париж прибыть в порт Антверпена на судно «Свирь».

Он вспомнил, что на этом корабле уплыл в небытие и Богомоллов, а до него ещё несколько жертв растворились в трюмах судна.

Вечером Соколов пригласил Балтасара в отель и, встретив на пороге, предложил поехать на набережную прямо у порта. У здания старой таможни они вышли и молча побрели вдоль мола на пирс, огороженный волноломами. В свете фонарей качались корабли, иногда над ними пролетали чайки. Где-то в мутном чёрном небе светила заляпанная луна. Ветер приносил из порта запах солянки и пулемётной смазки.

Штормило здорово, высокая волна взвилась над молотом, обрызгала колючим водяным ветром, но Соколова это устраивало: их разговор будет плохо слышен посторонним. И хотя их не было видно, он знал, что в любом, даже самом пустынном месте всегда может найтись пара лишних ушей и глаз.

Закурив, он не спешил с разговором, напряжённо всматриваясь в кипящее море.

— Знаешь, Балтасар, нам с тобой предстоит серьёзная беседа. Большое дело впереди, и не всё можно говорить сразу. И уж тем более нельзя точно знать, как всё оно будет в конце.

— Я готов к любому поручению, — спокойно ответил испанец.

— Но это поручение будет последним. Понимаешь?

Балтасар взглянул на Соколова с тревогой.

— Вас отзывают в Москву? Этого следовало ожидать. Теперь так часто происходит. Недавно уехал Богомоллов...

— Закон тёмной энергии, — сказал Соколов. — Пришло время его исполнить.

«А может, я паранойей страдаю? Может, это всё наваждение? И если я сейчас намекну, что предпримет Балтасар?» — размышлял Соколов.

— Что же от меня потребуется? — спросил испанец.

— В сущности, ничего особенного: пришла телеграмма, отзывающая меня в СССР, и я должен будет забрать жену и дочь из Перпиньяна. Я мог бы взять своего шофёра, но это совсем не тот случай. Он останется в Валенсии. А вот тебе я предложил бы быть моим сопровождающим. Это просто просьба, и ты вправе отказаться.

— Отчего же? Я готов сделать для вас всё, что вы скажете, — решительно ответил Балтасар.

— Тогда завтра в три часа будь у отеля «Метрополь» на своей машине. Мы поедем во Францию.

На этой фразе море слегка обдало их водой, и оба нервно рассмеялись.

Они двинулись к началу пирса, где он переходит в набережную, и в тусклом свете прожектора заметили, как у портовой будки, ближе к железнодорожному терминалу, остановилась легковая машина. Из неё вышли трое мужчин и какая-то женщина.

Соколов вгляделся в её силуэт, и ему показалось, что это Мерседес Мантидо, переводчица и любовница Богомоллова. Она куда-то направлялась в столь позднюю пору с неизвестными. Женщина остановилась и обернулась в его сторону. Но один из мужчин ей что-то сказал, и она кивнула.

— Вас что-то заинтересовало? — насторожился Балтасар.

— Мне показалось странным, что женщина в поздний час появилась здесь с тремя мужчинами.

— В порту своя жизнь и свои законы, — пожал плечами Балтасар. — Возможно, эти ребята решили с ней развлечься.

— Да нет, не похожа она на таких женщин, — усомнился Соколов.

Они сели в машину и направились в отель, а Соколов всё думал о той женщине в ночном порту. Он был почти уверен, что это Мерседес Мантидо. Его почему-то задело то, как она нервно обернулась на него, а потом ушла со своими спутниками. Но Соколов стал внушать себе, что это просто ошибка, связанная с воспоминаниями о Богомолве и его любовнице и со странным чувством вины, которое родилось в тот момент, когда он сам стал таким же Богомолвым.

На пороге отеля, прощаясь с Балтасаром, Соколов проронил:

— До завтра, товарищ!

Сказав это, он оценил, что вкладывает в слово не дежурный смысл, а полновесное доверие.

— Будем думать, что завтра будет не таким тревожным, — пожелал испанец.

Глава 14

Бремя неопределённости

1977 год. Москва. Арбат, 43

1

Дворники укрепляли красные флаги на столбах вдоль Арбата, готовясь к ноябрьским праздникам. По улице волочились троллейбусы. Толпа, ёжась, проходила под натянутым через улицу прямо над переходом транспарантом «Имя Ленина вечно».

Прямо под окнами Балтасара был переход с постовым инспектором. Милиционер, остановив пешехода, что-то ему втолковывал, тот соглашался, виновато качая головой и разводя руками.

Для Балтасара это был скучнейший день накануне радостного 7 ноября, самого любимого праздника в году. Ради этого дня, считал Балтасар, человечество горбатилось тысячелетиями, а теперь имеет полное право уважать себя.

Пошёл мелкий снег. Ложась на дорогу, он превращался в сероватую неприятную жижу, которая разлеталась под ногами, пачкая обувь и брюки.

— Это ещё не зима, — говорил себе с сарказмом дон Балтасар. — Ведь это белое ещё не такое белое, каким оно должно быть в настоящие холода, когда станет снегом.

В тот день старика накрыло состояние, похожее на то, что возникает накануне болезни. Чтобы сбить мрачный утренний тонус, он решил сходить в «Диету», что прямо под его квартирой. Закрыв дверь, он вырвал несколько волосков из своей жидкой шевелюры и воткнул их в стык двери и коробки. Он хотел быть уверен, что его тревога беспочвенна.

В «Диете» он купил сыра и творога и уже на выходе из магазина увидел соседа — полярника Ивана Папанина. Минут пять они обсуждали житьё-бытьё, вспоминали Сталина и уже померкший СССР, превращённый Брежневым в абы что.

— Ведь он же нарушал все законы, — возмущался испанец. — Орден Октябрьской революции по статусу даётся только один раз в жизни. А он имеет два. Потому что он любит ордена. Орден Победы получил. Не по статусу: он никогда не командовал

ни одним фронтом — ничем абсолютно. Но он хотел орден Победы — дали орден Победы. Брежнев смог умалить смысл этих величайших наград. Он и раньше мне не нравился, а теперь, когда совсем оборзел, просто вызывает тошноту.

Полярник только подтрунивал:

— Был бы пёс — лишь бы яйца нёс. Главное, не лютует, а только лишь ошалел от лести и избаловался наградами. Главное, нас в покое оставил. А всё остальное терпимо.

Когда дон Балтасар возвратился домой, он заметил, что волос в стыке коробки и двери нет. Едва он переступил порог квартиры, как по чуть уловимым деталям понял: в квартире кто-то побывал. Испанец прошёл в гостиную и там заметил на полу листок бумаги в клеточку. Дон Балтасар поднял его и, перевернув, обнаружил, что с обратной стороны нарисован череп, под которым стояла надпись: «Отдай нам то, что тебе не принадлежит, пойми — это лучше для всех».

Тот, кто побывал в квартире в его отсутствие, шарил демонстративно небрежно, а потом решил угрожать, — всё выглядело именно так.

Балтасар позвонил Кармен и попросил её не шляться по магазинам, а прийти пораньше.

Когда дочь села за стол и приготовилась к разговору, отец поставил пластинку с хором Александрова, установил громкость на максимум и сказал, прорываясь сквозь пение:

— Мне нужно, чтобы ты отнесла старухе мой небольшой подарок, — она ведь жаловалась на жизнь.

Кармен кивнула — она знала, что старухой Балтасар называл актрису Павлову.

— А почему ты сам не можешь это сделать? — спросила она.

— Там кругом много охраны. Дом-то правительственный. Вот потому Изольда и купила там квартиру, чтобы у богатств всегда был надёжный контроль. Я не хочу появляться там. Ты знаешь, что есть люди, которые любят смотреть, куда я хожу...

— Ты имеешь в виду того, что недавно навещал нас...

— И его тоже, — сказал дон Балтасар и вручил Кармен коробку из-под женской гэдэровской обуви Intra.

— Но самое важное, чтобы ты, вручая коробку, сказала: «Это то, о чём вы с ним говорили». Она может удивиться, но должна взять.

— А что это? — поинтересовалась Кармен.

Но отец пропустил её вопрос мимо ушей и лишь сказал:

— Уважь-ка меня, а я пока улажу дела Толика. Ты ведь этого хотела?

Кармен просто кивнула. Однако, уже положив коробку в неприметную авоську, дочь обернулась:

— Опять прошлое?

— Оно, — согласился дон Балтасар. — А у прошлого есть одно неприятное качество — оно становится настоящим в самый неудобный момент, да и призраки, как водится, умеют летать только по прямой. Но они-то лбы не разбивают, а я могу.

2

Кармен знала, что Изольда — старуха с приветом, что она мучает всех гостей перед дверью, проверяя и перепроверя. Вот и в тот визит бабка тысячу раз переспросила: кто? И лишь после тысяча первого, когда Кармен уже психанула и собиралась уйти, послышался скрип многочисленных замков и засовов. Изольда с трудом открыла дверь, поглядела и через цепочку, и сквозь лорнет и воскликнула:

— А, это ты, детка! Ну, входи! А то я думала, кто это там, как мышка, скребётся.
«Вот жабища-то», — подумала Кармен, входя в квартиру.

— А что сам-то не пришёл, болдырь испанский? Обиделся, что ли? — крикнула ещё в передней Изольда.

— Радикулит замучил, — с ходу придумала Кармен и уточнила дезу, — папа теперь только до кухни доползает.

— Такие боли? — посочувствовала Изольда.

Шаркая, старуха двинулась через длинную прихожую к двери в гостиную и, заметив, что Кармен замешкалась, махнула ей рукой — давай за мной.

Кармен и вправду не хотела затягивать визит, но поняла, что одной передачей дело не ограничится.

— Старость не радость, — сокрушённо качала головой Изольда. — Вот и, к примеру, советская власть уже к пенсионному возрасту подошла. А мы всё с Балтасарушкой-то шутили во время приёма в Доме союзов, кто ж ей теперь социальную мзду выплачивать-то будет? Господь разве? Ну, заходи в гостиную — и к столу, там у меня шакер-пури, рахат-лукум и прочие вкусности. Это Нюра, моя домработница, надясь в «Хлебе» на Калининском отоварилась. Я и чаёк на старинной тульской спиртовке заварила. Он такой душистый получается, аж слюнки текут.

Гостиная актрисы напоминала пещеру Аладдина: на дубовом столе стояла лампа «Тиффани» с бронзовым корпусом, в золотых рамах по стенам висели картины мастеров Возрождения и иконы из Каргополя, многочисленные католические распятия из слоновой кости. В раскрытом ларце эпохи Великих моголов сидел малахитовый попугай Фаберже. На поставце у стены примостился полусломанный серебряный самоварчик в окружении елизаветинских чарок. В почерневшей от времени ладье лежало то самое шакер-пури и что-то ещё хлебно-мармеладное.

Павлова поставила на стол среди тарелок с восточными сладостями миниатюрный тульский самоварчик, сказала, нарочито строя из себя глухую:

— Так что мне велел передать Балтасарушка? Говори громче, а то, знаешь, с годами правое ушко не фурычит — в детстве-то малярией болела, вот и глухня глухнёй теперича.

— «Передай ты ей коробочку из-под обуви» — вот что мне сказал отец, — пояснила Кармен.

— Коробочку с обувью? Вот не думала, что этот еропка знает мой размер, — удивилась бабка.

Кармен вынула из авоськи посылку Балтасара. Старуха взяла её, ещё больше удивилась и вдруг с каким-то расстроенным сердцем прочла на коробке:

— Intra? — Она так колко взглянула на Кармен, что той стало неприятно. — Это ж ведь тапки какие-то из ГДР! — разочарованно пробормотала Изольда. — Я такие не ношу, они хуже валенок — слишком просто и пошло, пусть брыдлая немчура это носит. Мне обувь по моим размерам Рудольф Нуреев из Парижа присылает. Ну да ладно, я эти тапки своей Нюрке-растетёхе отдам, уборщице — пусть в них щеголяет в своём Ховрине перед мужем-ерпылём. Ей всё равно, захухре, что носить.

После этой убийственной тирады Изольда Павлова вскрыла коробку, увидела её содержимое, застыла на мгновение и на глазах Кармен опять ожабела. Потом приторочила крышку на место и, шкандыбая, потащила подарок в соседнюю комнату. Там она долго рылась, а потом выглянула из-за приоткрытой двери и уставилась на испанку.

— Что-то не так? — испуганно спросила Кармен.

Павлова взглянула на гостью через лорнет и стала мрачненькой.

— Всё так! — совершенно потрясённо сказала старушенция. — Как же он решился-то?

Бабка вернулась в гостиную и как-то совсем по-заговорщицки произнесла одно только слово «оракул», которое гостя расслышала отчётливо.

— Что? — переспросила Кармен. — Оракул?

— Нет, я сказала каракурт — это опасный паук, укус которого вызывает удушье, но из его яда делают чудодейственный омолаживающий бальзам для женщин, — пояснила актриса.

Кармен показалось странным это разъяснение.

— Ох, передай батюшке благодарствие моё, вот уже одарил так одарил, — сказала хозяйка. Этим она ещё больше заинтриговала Кармен.

Провожая до двери, старушка добавила:

— М-да, видать, совсем плох Балтасарушка, если решился.

Глава 15

Межпространственный ключ

1937 год. Валенсия. Carrerde Xativa, 23. «Метрополь»

1

В конце тридцатых годов отель «Метрополь» был лучшим в Валенсии. Фасад смотрел на арену для боя быков, а из люков седьмого этажа с помощью бинокля можно было наблюдать бои быков на соседней арене. В каждом номере имелась ванная. Ресторанный оркестр устраивал по воскресеньям вечера танго и пасадобля. А ещё тут имелись брассерия и коктейлерия, гриль-рум и, конечно, зимний сад, который летом охлаждался искусственным льдом. В этом-то саду и уединился Соколов перед важным делом, на которое никак не мог решиться.

Он похитил у Эйснера дубликат ключа от 724-го номера, где поселился Семёнов, и собирался установить истину, устроив там тайный обыск. Времени было в обрез: надо было уложиться в двадцать минут, чтобы вернуть дубликат в ключницу Эйснера до его возвращения из Альбасете. Тот позвонил откуда-то по дороге и сообщил, что из-за спустившего колеса опоздает на их встречу на эти самые двадцать минут. Соколов мог просто взять ключ у Эйснера, но тогда того пришлось бы посвящать в часть тайны, а это было уже слишком.

«А что, если я схожу с ума и этот индеец — фантом и результат мании преследования на почве жёстких событий последних дней?» — вот о чём думал Соколов в ту минуту. По сути, попасть в этот номер ему нужно было с двумя целями. Первая очевидная: удостовериться, что индеец реален. Вторая — если реален — не обманул ли он его? Оба эти вопроса могли быть разрешены только вскрытием секретной вализы.

Соколов покинул зимний сад и, спустившись по лестнице, остановился на пороге 724-го номера, где жил Семёнов.

2

Он вошёл в номер и увидел сумку.

Несомненно, это была та самая сумка, которую показал индеец в раскрытом окне!

Она небрежно лежала на столе. Точнее, это была не сумка, а матерчатая вализа цвета хаки, какие возят дипкурьеры.

Поборов нервный трепет, Соколов подошёл к столу, открыл вализу и выдернул бумажный угол документа, смотревшего на него. Конверт был уже вскрыт и, следовательно, Семёнов прочёл письмо ещё вчера, до того, как они встретились в ресторане.

На лицевой стороне не было имени адресата, только фиолетовый штампель предупреждал: «Строго секретно. Вскрыть только по прибытии в Валенсию. По прочтении уничтожить».

Открыв конверт, Соколов вынул единственный листок, содержащий короткий напечатанный на машинке текст.

«Строго секретно. Вам необходимо всеми силами усыпить бдительность Соколова. Не скупитесь на комплименты и лесть, чтобы под любым предлогом, когда придёт условленная телеграмма, заставить его отправиться с семьёй во Францию, а оттуда на борт корабля “Свирь”, который будет ждать в порту Антверпена. Там в каюте парохода два ваших ответственных сотрудника должны будут на глазах Соколова молотками разломать головы его жены и дочери. А затем убить и его. После инспирируйте автомобильную катастрофу и выбросьте всех на шоссе недалеко от порта с измороженными до неузнаваемости лицами. Таким образом, Соколов будет проучен за небрежность в выполнении задания, непоследовательность и тайные симпатии к врагам, а другие находящиеся под подозрением ничего не почувствуют и не смогут уйти от заслуженной кары.

Иван Васильевич».

3

Соколов был ошеломлён прочитанным. Он не мог поверить, что его участь решена и даже весь его род будет уничтожен по-средневековому хладнокровно. Вина его мотивировалась скупой и, видимо, не она сама была причиной предстоящей жесточайшей экзекуции. Тут было что-то ещё, похожее на священную жертву, искупление родового проклятия жестоким убийством с последующим забвением. При этом самой расправе придавался характер назидательности, адресатом которой могли быть только его коллеги и очень узкий круг посвящённых. Для всех же остальных, кто узнает об убитых с обезображенными лицами, они будут просто анонимными жертвами безбрежного потока жизни, в котором иногда происходят и совершенно случайные события.

Справившись с чувствами, он положил послание в конверт, конверт в вализу, а ключ от 724-го отнёс в ящик Эйснера в комнате для секретчиков.

Только теперь Соколов осознал, что индеец реален, что он не часть психоза, а видимая часть механизма Изменителя.

Соколов закрыл изнутри дверь своего номера и впал в оцепенение. Однако, как только оно прошло, вынул из потайного кармана пиджака, висевшего в шкафу, фетиш, служивший футляром Изменителя, отворил дверцу в животе идола, извлёк призму и дотронулся до выпуклого знака бесконечности.

Тут же погас свет и, как и в первый раз, вокруг проступили очертания балюстрады трёхэтажного здания с беседкой. Но сейчас она была пуста. Только на скамейке, придвинутой к стене, как и прежде, сидел капуцин, изучал макет геометрической фигуры и сравнивал его с чертежом, лежавшим на полу. Точно так же, как и прежде, здесь была ночь, светила луна. А вот комета в небе пульсировала ярче. Она, словно маяк, тревожно мерцала через равные промежутки.

Капуцин встал и подошёл к Соколову. На лице монаха была написана жалость. Он сочувственно покачал головой и вдруг сказал:

— Существует достоверная легенда, что где-то там, в самой сердцевине Млечного пути, горят ясным огнём белые звёзды. Вокруг них кружатся целые ожерелья голубых планет, покрытых плантациями жизни. Во глубине времён, на самом дне седой вечности, жильцы этих благословенных земель придумали лучшее спасение от судьбы — чудеснейший Изменитель. Он сообщает жестокие истины, без которых не выжить, и указывает путь спасения для очнувшихся от напрасных чар пошлого бытия. Аминь!

Монах поднял указательный палец правой руки и словно бы погрозил.

Но едва на лестнице появился индеец, капуцин, спрятав в рукава своего балахона руки, нырнув под балюстраду, исчез.

— Что он тебе сказал? — поинтересовался спустившийся майянец.

— Какую-то легенду, — ответил Соколов. — А кто он?

— Он персонаж из будущего, вышедший преждевременно. К сожалению, даже Изменитель недостаточно совершенен. У него бывают ничтожнейшие сбои, когда из-за вращения Земли межпространственный ключ смещается всего лишь на тысячную долю градуса. Тогда персоны из будущего выныривают откуда угодно. Их всех я даже не знаю, но мне знаком Капуцин, Двудикий Янус — редчайший вид сиамского близнеца, и некто Математик, решивший задачу квадратуры круга. Последний очень назойлив и беспринципен. Но никого из них удалить невозможно. Они зацепились за какие-то точки прошлого и будущего, и теперь поток частиц без конца выносит их на ступени божественного Бельведера.

— А разве Изменитель не плывёт по реке будущего, если он знает все ходы наперёд? Разве ты не можешь подгадать их «выныривание»? — удивился Соколов.

— Теоретически Изменитель *плывёт*, а практически он *стоит*, так как в вечности движения нет. Но возможно передвижение пазлов, точно так же, как в И-Цзин или маджонге. Изменяется только положение картинок, количество которых всегда одинаково. Так что время и пространство вторичны по отношению к комбинации символов.

Принцип работы Изменителя мудрён и основан на рекурсии Георга Кантора¹ и теории множества с числом элементов чуть больше бесконечности, без которых аппарат был бы похож на швейную машинку, потому что величайшим множеством бесконечности является сам бог, если он есть.

Чтобы оживлять программу Изменителя, Создатели использовали и мудрёные фракталы Бенуа Мандельброта², и принципы самоорганизующихся систем, имеющих и в природе, — символы солнца, пуповины и жизненного пути. Пригодились идеи из «Комбинаторики» Лейбница³ и «Геомантии» Хьюго Сантальского⁴. Ко всему прочему, все существа, что бегают и стоят в пределах беседки, непрестанно конструируют заклинания на сенохианском языке, которому их научили псевдоангелы. Эта речь обладает огромной магической силой, способной поколебать пространство и время, создав в них необходимые прорехи.

Зная всё это, ты привыкнешь к гостям из будущего, которого нет, и согласишься с тем, что, хотя ничто в системе Изменителя не идеально, но тем не менее оно действительно реально и очень эффективно!

¹ Георг Кантор (1845—1918) — немецкий математик, создатель теории множеств.

² Бенуа Мандельброт (1924—2010) — французский и американский математик, создатель фрактальной геометрии.

³ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) — немецкий философ, математик, создатель комбинаторики.

⁴ Хьюго Сантальский — испанский мистик XII века, переводчик арабских трудов.

— А что-то ведь существует за границами Изменителя? — поинтересовался Соколов. — Ну не может же там ничего не быть!

— Всего лишь Пустыня Б — и не более того, — пояснил индеец. — Просто фигура речи, обозначающая пустую бесконечность.

— А небо? Оно-то реально? — спросил Соколов, рассматривая созвездия.

— Ну конечно, оно такое, каким было в день, когда Изменитель передали людям. В сущности, проекция на мембране материи, образовавшей незначительную лакуну, которая и является корпусом аппарата. Когда-то Создатели, желая придать своему творению поучительный символизм, максимально сымитировали небесный свод, разместив на нём созвездие Плеяд, Калифорнийскую туманность и пламенеющую комету Лавджоя...

Индеец указал на небо, и из его пальца выстрелил лазерный луч, которым он стал дотрагиваться до созвездий и комет, словно в планетарии.

— Этот момент напоминает нам тот первый раз, когда комета Лавджоя проходила через внутреннюю Солнечную систему и более чем за одиннадцать тысяч лет вспыхнула так эффектно и красочно. Перед очами твоими тысяча лет как день вчерашний, поучает нас восемьдесят девятый псалом. Обычные люди лишены возможности созерцать это древнее небо, но ты, по воле судьбы и воле Создателей, получил эту почесть, — заключил хранитель Изменителя.

— А кто же они — эти Создатели, о которых ты так часто говоришь? Я впечатлён их всеилием, но я...

— Я знаю всё, — отрезал индеец и предложил, — пойдём.

Они спустились по балюстраде и подошли к закрытой двери в полуподвал беседки. Соколова настораживала тонкость и геометричность орнаментов, обрамлявших вход: цветы, рыбы и птицы были уложены, словно пазлы, создавая один общий рисунок. В верхней части двери лунный свет просачивался через узорчатую решётку, так же представлявшую собой орнамент из саламандр и лотосов.

Пройдя за индейцем внутрь под аркой, украшенной золотыми сталактитами и пчелиными сотами, они попали в мраморный многоугольник, в центре которого находилось чёрное каре с двенадцатью львами из чёрного мрамора, державшими на спинах алебастровый бассейн.

Полосы лунного света мерцали в подковообразных арках. Их колонны были похожи на стволы пальм, простиравших свои кроны, древние символы славы, над головой входящих. На замковом камне арки Соколов разглядел абрис высеченной руки, а в нише напротив неё, на таком же замковом камне другой дуги, символом был ключ.

Индеец заметил его интерес к рельефам и пояснил:

— Это копия межпространственного ключа. Попадая в человеческую руку, он отпирает замки дверей, за которыми находятся ворота событий. Такого назидание и предупреждение, которое Создатели хотели довести до пользователей, намекая на великую ответственность. Ну и так далее, я уже позабыл весь текст, который был в первоначальной инструкции. Как-то там всё было узорчато-витиевато. Уж ты извини...

Они проследовали тесным проулком, чтобы оказаться на эспланаде: та обрывалась у стены с ажурными трещинами. В её центре находился гранитный портал, покрытый замысловатым орнаментом, изображавшим богомоллов, прячущихся в цветах ирисов. Резьба была сделана столь хитроумно, что сначала были различимы только ирисы, потом отдельные очертания богомоллов на фоне ирисов, затем уже ирисы постепенно сливались с богомолами и становились невидимыми на их фоне.

— Как такое может быть? — удивился Соколов.

— Это Зачарованные ворота в Дом Обмана Чувств, где Создатели собирались демонстрировать ложные видения и всякого рода манипуляции, однако потом, не пояснив, они отказались от этой затеи. Вот потому-то эти ворота никуда не ведут. Это просто украшение одной из стен многочисленных внутренних покоев Бельведера, закрытых для всех. Кроме тебя и меня.

— Какая странность! — проговорил Соколов.

— Теперь самое важное, — продолжал индеец. — Семёнов в курсе, что ты вскрыл конверт.

— Ах, даже так! — воскликнул Соколов.

— Именно. Он знает и то, что ты прослушиваешь его гостиничный номер.

— А это и не удивительно, ведь он профессионал, — пояснил Соколов.

— Всё это бесполезно — так думает он про тебя, — продолжал индеец. — Ты для него жертва, парализованная высокими идеалами и семейными обстоятельствами. Таких у него было уже с десяток. И ты их тоже хорошо знал. Последним был...

— Богомолов?

— Да, но не только. Исчезла ведь и Мерседес Мантидо.

— А я думал, она просто уехала...

— Она и уехала... на пляж у портового мола. Было это далеко за полночь, и уезжала она не по своей воле. Мизерикордии — кинжалы милосердия — решили её судьбу точно так же, как они это делали в эпоху Лоренцо Медичи, Федерико да Монтефельтро и Карла V, при котором Изменитель прибыл в Европу... А потом Валенсийский залив поглотил искромсанное тело. «И только мутная луна была свидетелем этого происшествия», как когда-нибудь напишут об этом.

— Я думал, что её хотя бы пощадят... — пробормотал Соколов.

— Твоя смерть и уничтожение твоей семьи — это не решение Семёнова, он сам орудие чужой воли. Но буду предельно прям: Семёнов сочувствует тебе. Он так не любит слишком грязных, тошнотворных заданий и потому попытался нарушить инструкцию, подослав к тебе убийц там, на шоссе, чтобы потом выдать твою смерть за нападение фашистов. Ну правда ведь, случаются же такие события во время Гражданской войны?

— Я это подозревал...

— Потом использовал этого лётчика-эмигранта... А теперь Семёнов решил дать тебе время, чтобы ты накопил в себе настоящее отчаяние. Твоё пассивное сопротивление он объясняет себе как рефлекторное дёрганье жертвы, понимающей, что смерть неизбежна, подвластной инстинкту, который в данном случае ничего не решает.

— Но ведь два покушения провалились? — возразил Соколов.

— Какая наивность! Это была всего лишь проба пера, и эти две неудачи привели Семёнова к мысли, что он сам всё же исполнит *свой* долг в тот момент, когда ты будешь жертвой *своего* долга. Иного пути Семёнов не видит, но вот, понимаешь, мечется между долгом и сочувствием.

— Значит, оба покушения порождены жалостью Семёнова?

— Именно! Но ты ведь не будешь обольщаться тем, что твой палач тоже человек, что у него есть жена, дети, любовница Изольда Павлова, которую он вовлёк в свою опасную профессию? Что он и слаб, и силён так же, как ты. Что ваши различья только внешние, во всём остальном вы похожи. Что, если бы не ты, а он поехал в Испанию, как это и предполагалось сначала, и стал бы хозяином Изменителя, а ты бы его палачом? В этом случае Балтасар стал бы его сообщником, а не твоим. Этим же ты не станешь обольщаться?

— Нет, конечно, нет. Но тогда получается, что все ходы известны наперёд, как в шахматах.

— И да, и нет! — С этими словами индеец указал на высеченный на замковом камне арки ключ и спросил: — Ты понял?

Соколов отрицательно покачал головой.

— Я же говорил, что у межпространственного ключа бывают маленькие сбои из-за вращения Земли, когда он смещается всего лишь на тысячную долю градуса. Эта тысячная доля градуса и есть твоя воля — единственное твоё богатство, то, чем ты действительно отличаешься от других. Но чтобы воспользоваться этим ключом, ты должен сделать свой выбор. Вот почему на другом замковом камне арки высечена рука. Кажется, я вспомнил все слова из древней инструкции, которую начертали Создатели для будущих пользователей! То место, на котором ты стоишь, это точка, откуда начинается новый отсчёт событий, чьих-то жизней и даже ритма космоса. Соверши свой выбор, зная всё как есть — без лжи и самообмана.

— Да, я воспользуюсь этой тысячной долей.

Индеец провёл ладонями по лицу, как будто умывался, и когда он опустил руки, Соколов увидел, что взгляд аборигена стал стальным.

— Ну так вот: если тебе дороги жизни жены и дочери, ты должен действовать дерзко, ошеломляя и повергая в изумление, — заявил индеец. — Ты сможешь победить Семёнова и его людей не за счёт его ошибок — он их не совершит. Ты победишь его, если станешь вести игру на доске бога, недоступной его пониманию и расчёту. Тогда он окажется перед неразрешимыми вопросами и перед лицом уже не твоей, а своей судьбы, которая будет иметь лик непобедимого минотавра, обитающего не в лабиринтах Изменителя, а в скользких коридорах темниц, куда его загонит фатальное для него развитие событий.

— Тяжкий путь... — согласился Соколов.

— Здесь, у Зачарованных ворот, которые ведут в Дом Обмана Чувств, которого не существует, ты принял сильное решение.

Жрец прошёл от ворот в сторону проулка, по которому они попали к эспланаде, обернулся и прокричал:

— Ошеломи врагов действием и яростью разгневанного отца и мужа. Семёнов и его люди думают о вас исключительно как о жертвенных кроликах. Но, зная их намерения, ты сильнее их. Говоря с ними, помни: единственное, чего они желают тебе, — это смерть. Это знание делает тебя совершенно свободным в решениях.

4

В номер Соколова вошёл Семёнов и сказал:

— У нас есть информация, что разведка фашистов решила похитить тебя, поэтому мы хотели бы выставить охрану. С сегодняшнего дня ты под нашей защитой.

— Ну что ж, вполне понятная забота, — сказал Соколов и добавил, — а больше нет никаких причин? Ты можешь говорить прямо. Мы оба члены партии, прошли революцию, гражданскую войну, поднимали страну из разлухи, боролись с бандитизмом и контрреволюционерами...

— Других причин нет.

— Тогда, товарищ Семёнов, я хочу сообщить тебе следующее. У меня охрана надёжнее, чем твоя, это десяток немецких коммунистов из бригады Тельмана. Плюс сербы. И плюс меня время от времени сопровождает мой испанец Балтасар.

— Но у меня есть приказ центра, Москвы!

— В центре не знают, что происходит в Испании, имеют об этом туманное представление. Ты же сам понимаешь.

Семёнов был явно озадачен. Он помялся, видимо, продумывая решение, но не нашёл ничего лучшего, чем сказать:

— Но тогда я должен передать в центр, что ты отказался подчиняться...

— Во-первых, эта формулировка неправильная: я отказался от охраны, а не отказался подчиняться. Во-вторых, я боюсь, что передача сообщения пока не удастся. Диверсанты повредили электростанцию, а автономный генератор сломан нерадивым электриком.

— Как-то всё это странно смахивает на саботаж.

— Попрошу выбирать выражения, товарищ Семёнов: сейчас ты находишься в моей полной власти.

— Что это значит? — удивился Семёнов.

— А то, что если ты решишься отправить в центр сообщение, то тебе будет нужно доложить об этом лично мне, и уже я предложу тебе место, откуда это сообщение будет передано. Мы не демонстрируем врагу наши передвижные передатчики.

— Хорошо. Мне надо это будет сделать уже сейчас.

— Отлично. Пиши текст прямо у меня в кабинете. А шифровать мы будем нашим шифром, известным в Москве. Иначе послание сочтут радиоигрой врага.

Семёнов побледнел.

— Я думаю, что пока не стану торопиться.

— Это твоё решение, я могу и подождать. А вот центр ждать не захочет. Тебе как срочно это нужно?

Семёнов замялся.

— погоди. Мне надо всё обдумать.

Глава 16

Козыри

1977 год. Москва. Пятницкая, 25 — улица Карла Маркса, 2

1

Окна кабинета Кике выходили в сторону Кремля. Он любил эту панораму крыш Замоскворечья, которая заканчивалась фасадом Большого Кремлёвского дворца, колокольной Ивана Великого и Спасской башней. В осенние облачные дни солнце пробивалось в небесные прорехи, и купола соборов вспыхивали, полыхая огромными свечами. В такие минуты секретарша приносила Кике чай, и он закрывал дверь, пытаясь на минуту отключиться от производственной текучки и гула редакционных коридоров. Замыкаясь в кабинете, он становился совсем другим человеком, нежели тот, что был «знаменем своего коллектива», его «боевым и трудовым горном», образ которого стерегла в приёмной пышногрудая секретарша Зося.

Сам для себя Кике определил: чтобы оставаться человеческим существом, нужно хоть на миг быть только зрением и слухом, чистым созерцателем, свободным от любых мыслей. Таким образом он достигал обнуления, иначе сошёл бы с ума от бессмысленной политической трескотни, в которую и сам-то мало верил.

И вот, застыв у оконной рамы, он погрузился в созерцание.

С Новокузнецкой доносился гул жизни: у ротонды метро сновали пешеходы, трамвай, тихо позвякивая, огибал здание редакции, шипящим эхом пробивалась дворницкая метла. Это было одно — житейское время.

А другое ворочалось в самой сердцевине Спасской башни.

И в общем-то времена эти были разные.

То, что стучало за курантами и поворачивалось вместе с устроенным в часах большим музыкальным барабаном с дырочками, подписанным продавленными буквами «Гимн Александра», было слишком эпично. Его тянули огромными цепями механизма, и потому оно должно было покрывать страну чарами величия завтрашнего дня, и глас его был поистине утробен, как, впрочем, и торжественен.

А секунды, которые отстукивались каблуками пешеходов, были личными и крохотными, приходились только на одну душу. Точнее сказать, кремлёвское было вечным и непрерывным, а новокузнецкое — сиюминутным и грозившим оборваться с любой из этих жизней, что неслись в хаос существования и составляли рой человеческий. Этот рой выплёскивался из ротонды станции, скопированной когда-то с римского пантеона, и тогда становилось очевидно: нет мира мёртвых и мира живых, а есть только пространство малого времени, перемешивающее судьбы в одном шейкере до состояния неразличимости, всем раздавая ещё при жизни крохотную толику посмертной славы древнего племени, по которому звонят колокола Спасской башни.

Думал ли об этом товарищ Кике? Строил ли за чайком какие-нибудь догадки и версии?

Достоверно сказать трудно, но то, что он был поглощён созерцанием законной жизни, — всенепременно: его уши слушали не полную тишину. Даже звук рушащегося куска сахара в стакане чая казался ему приятен. В момент, когда рафинад превратился в руину, дверь кабинета резко распахнулась, и выбежавшая вперёд секретарша даже не успела ничего сказать, как из-за её спины возник легендарный испанский лётчик.

— Луис! — воскликнул Кике и вскочил навстречу Бланко.

Он сделал Зосе знак «пусти», и она, кивнув, удалилась в приёмную.

— Ну вот, я и опять в твоём логове, дьявол! — сказал испанец главреду.

Они обнялись, и гость поставил на стол бутылку «Гавана Клуб» и завернутую в бумагу коробку.

— Когда ты прилетел? — воскликнул Кике.

— Сегодня. И представь себе, я сам вёл мой Ан-12.

— Из Гаваны?

— На этот раз из Аддис-Абебы.

— Во Внукове сел?

— Смеёшься? Конечно, в Кубинке — я же не партийный вождь. Да и потом, мне в Кубинке привычнее: капониры, казармы, кпп.

— Если не тайна, намекни: зачем прибыл?

— Брежнев недавно подарил Фиделю белого медведя Лёньку. Медведь на Кубе заскучал, и теперь ему на моём самолётике ЦК отправит медведицу Вику...

Бланко огляделся. Стены кабинета были завешаны портретами Ленина, подаренными братскими партиями и присланными со всех континентов. Тут были и Ленин, похожий на эфиопа, и Ленин-кореец, и Ленин-араб, и даже мозаичный Ленин-папуас.

— Тебе нравится? — поинтересовался главред.

Бланко кивнул.

— Самый дорогой портрет — от папуасов, и скажу тебе по секрету — это ведь не мраморная мозаика и даже не куриная скорлупа. Я когда узнал *что*, сам чуть не помер.

— Не тяни резину! Что это? — хлопнул Кике по плечу Бланко.

— Это из кусочков рёбер врагов, — пояснил Кике, и испанец скорчил гримасу.

— Но по большому-то счёту, кроме этого каннибальского сувенира, почти ничего не изменилось, — сказал Бланко. — Как будто ещё вчера стоял я здесь, и мы запивали горькую скорбь! Я помню, как ты влетел в редакцию и сказал: «Товарищи, только что... Из Кремля... Сталин умер...» И упал, потеряв сознание.

— Я, знаешь ли, сейчас изменил свой взгляд на события юности, — вкрадчиво сказал Кике. — И Сталина вообще мы тут стараемся не вспоминать и не обсуждать.

— Ты всегда менялся с курсом партии, — с горькой усмешкой попыток Бланко. — Теперь твой кумир Брежнев, непобедимый герой Малой земли.

Гость вынул из нагрудного кармана гильзу, из гильзы длиннющую сигару и закурил.

— А кстати, вот и тебе подарок! — испанец развернул бумагу и извлёк деревянный ящик с надписью *cohiba* на крышке.

Кике поднёс его к носу и блаженно произнёс:

— Да, как будто я на Кубе. Помнишь тот мой первый приезд?

— Ну конечно, я ведь тебе устроил интервью и с Фиделем, и с Че. За это ты и получил этот кабинет и лычку главреда.

— Вспоминаю те дни с умилением, — расчувствовался Кике. — Скажи, а что там в действительности произошло с Че Геварой в Боливии?

— Стало ясно, что борьба полностью проиграна. Наступили дни отчаяния и скорби. Его поймали рейнджеры и убили, а обнажённое тело с отрубленными руками выставили на столе в глухой горной деревне. К этому столу власти согнали окрестных индейцев, которые никогда ни о каком Че и не слышали, да и власти им ничего толком не сказали. Вот потому-то туземцы, ревностные католики, увидав осквернённое тело, были поначалу озадачены: что же всё это значит? Кто это? И за что ему такое? И потом, поразмыслив своим крестьянским умом, они решили, что американцы и местная власть убили и обезобразили Иисуса Христа в дни второго пришествия и выставили напоказ как знак своей безнаказанности. Вот так революционер перевоплотился в мессию, Боливия — в Палестину, а горная деревня — в Голгофу. Теперь Че с Лениным и Сталиным смотрят на нас с недостижимых высот.

— Да, горький финал, — пробормотал главред.

Луис Бланко впился глазами в Кике и выпалил:

— Меня беспокоит судьба одного вашего сотрудника, которого вы уволили вчерашним числом.

— Это ты про Анатолия? Про зятя Балтасара? Но он просто мерзавец!

— И в чём же его преступление? — недоумевал Бланко.

— Он совершил политический, никому не прощаемый проступок, когда подкрасил Леониду Ильичу на портрете губы и щёки. Ты вдумайся в это! Это у Анатолия всегда гноилось, а теперь и прорвалось! Подозреваю, что в своих мыслях и снах он мог пойти ещё дальше! Это политическое святотатство!

— Даже святая инквизиция считала, что нельзя согрешить во сне! — воскликнул Луис Бланко. — Что вы так на него ополчились?

— Он сделал это настолько публично, что могло быть сочтено за политическую демонстрацию. И я благодарен нашему сотруднику Сосновскому, который подал сигнал, ведь у нас здесь передовая идеологического фронта. А тут ещё и 60-летие Октября на носу! Я тут же, как и положено, прореагировал.

— Мне кажется, этот языкастый человек просто оговорил Толика на пустом месте из зависти. Да нет, мне даже и не кажется, я в этом абсолютно уверен. Это так и никак иначе! — стал распаляться Луис Бланко.

— Ты думаешь? — удивился Кике, вынул из папки тот самый разрисованный Толиком портрет Брежнева и подал Бланко.

Луис взял его с интересом, но, недолго думая, поднёс к портрету сигару, поджёг и положил в чугунную пепельницу, стоявшую на столе.

— Что ты наделал! Я же должен был передать это вещественное доказательство в КГБ!

— Я сегодня тут КГБ! — воскликнул Луис Бланко. — Описанного тобой события просто не было — как не было и Сталина, который, уснув торжественным сном, оказался выкинут вами из учебников и мавзолея. И много чего ещё у вас кануло в лету. История — это ведь политика, опрокинутая в прошлое? Разве нет? — спрашиваю тебя я с позиции горечи моих лет и нашей светлой юности. Идеалы революции, за которые гибли наши товарищи, превращены в откровенно троцкистскую карикатуру...

— Хорошо, что ты хочешь, Луис? — нервно спросил Кике.

— Толик возвращается на работу, и ни один волос не должен упасть с его головы. Как будто ничего и не было. Точно так же, как и со Сталиным, — ты же это уже проходил.

Кике вытарашился на гостя.

— Начните с Толиком с чистого листа — это и есть моя маленькая просьба, — попытожил Луис.

В тот день Кике сам позвонил Толику и сказал, чтобы он выходил на работу сегодня же, так как партия, следуя соображениям гуманности и нормам ленинской морали, простила его, и теперь ему не стоит так делать... И, конечно, не стоит и пересказывать этот телефонный разговор таким людям, как Сосновский.

2

На Пятницкой на возвращение Толика отреагировали на удивление спокойно. Все, кто в момент изгнания повернулись к нему спиной, как это и положено у настоящих журналистов, на этот раз оказались душевны и даже предложили выпить и закусить после работы. Но Толик, поблагодарив коллег, сказал, что будет теперь исправляться и работать над собой.

В сущности, он просто попросил оставить его в покое, ведь жили же они несколько дней без него, вот и теперь надо всем так же жить, как будто он и не возвращался. Это пожелание было встречено с пониманием. Хотя многие отметили, что Толик тут же уединился с Зосей в редакционном кафе.

Их разговор был предельно фриволен и касался интимных тем. Зося, кокетничая, спросила:

— Толя, а какое женское нижнее бельё тебе больше нравится: чёрное или белое?

— Ты забыла, что есть ещё и телесный цвет, — подчеркнул Толик.

— Бежевый? Ты любишь бежевый? Вот никогда не подумала бы! — расхохоталась Зося. — Хотя телесный — это ведь и розовый. Ты любишь поросяток, которые делают хрю-хрю?

— Конечно, я люблю чёрный — если это настоящий шёлк, — стал сверкать глазами Толик. И под столом дотронулся до коленки собеседницы.

— Будь осторожен, голубчик, ты ведь ломишься в открытую дверь. Спалиться не боишься? А ты ведь не свободен. И Кармен сейчас на работе.

Именно в этот момент из-за дверей вынырнул Сосновский и уставился на него с хитрецей. Толик сделал вид, что не заметил его, и продолжал водить рукой по коленке Зоси.

— Зося, а всё-таки, может быть, устроим небольшой интимчик? Ну правда?

— Я подумаю. Ты мне интересен, но вот что будет дальше... Любовная арифметика даёт на этот вопрос слишком простой ответ.

— Привет, Толя! Ты ко мне подойди потом в курилку, — демонстративно громко сказал Сосновский в спину.

— Ты думаешь, это стоит сделать? — ответил он.

— Ну да. Именно тебе и стоит, — заговорщицки произнёс Сосновский.

Зоя скисла, когда Толик встал и развёл руками, как жертва производственных обстоятельств. Кивнув секретарше, он поплёлся за приятелем в конец коридора.

Там у окна Толик спросил с раздражением:

— Опять какая-нибудь ерунда? Зачем ты меня оторвал от беседы?

Сосновский закурил «Яву»¹ и задумчиво сказал:

— Значит, смотри, дело такое... На меня тут много всяческих идей у начальства появилось, а я не Шива шестирукий и не смогу разорваться.

— Так тебе нужна помощь? — спросил Толик.

— Как бы так. Я должен был взять интервью у знаменитого тореадора... Да вот забыл, как его зовут. Ну, этот... муж актрисы Лючии Бозе... Мы же с тобой в «Октябрьском» смотрели фильм «Кровавая церемония», где она сыграла графиню Батори, которая возвращала уходящую молодость, принимая ванны из крови девственниц.

— Неужели ты должен брать интервью у Домингина?! — словно прозрев, воскликнул Толик.

— Да! Вот у него! Но по всему не получается. Вообще я в полном пролёте, должен закончить какое-то дикое говнище про передовиков производства, и потом ещё халтура подвернулась и репортажик для журнала «Кругозор»... Деньги нужны позарез, в Сочи поехать хочу. Может, ты меня заменишь? Выручай, Толян! Ты же знаешь — за мной не заржавеет.

— Этот Домингин вообще-то моя мечта! — воскликнул Толик. — Я же читал о нём у старика Хэма. Это же такой мужик!

— Ну тогда бегом в студию, возьми «Нагру»² и рви когти на Проспект Маркса³. Слава богу, тут рядом! В три он будет ждать... И знаешь что, если захватишь фотик и сделаешь снимок, можешь ведь и в «Иностранку» продать. Оторвут с руками...

Вот потому-то в тот день Толик оказался в ресторане «Москва» гостиницы «Москва» в компании пожилого испанца.

Да, это был он — герой «Опасного лета»⁴ — тореадор Луис Мигель Домингин. Высокого роста, сухой, подтянутый, с прямой спиной, испанец получал удовольствие от превосходства над Толиком, и его длинное лицо излучало надменность. На иностранце был тёмно-синий пиджак, под пиджаком джемпер. Водку они пили в том самом коктейль-холле, где ровно сорок лет назад Соколов танцевал с Галей Войтовой.

В 15 часов в ресторане было ещё тихо, и Толик, надев наушники, легко выставил параметры записи, направив длинную металлическую ручку с микрофоном к лицу испанца.

За соседним столом Де Лаурентис⁵ о чём-то говорил с президентом всемирной ассоциации кинопродюсеров. Заметив Домингина, они кивнули ему, и он им.

¹ Марка советских сигарет.

² «Награ» — швейцарский монофонический магнитофон компании Kudelski SA, применявшийся для записи радиорепортажей.

³ Ныне это Театральный проезд, Охотный ряд и Моховая улица.

⁴ The Dangers of Summer — последняя книга Хемингуэя, написанная по заказу LifeMagazine с октября 1959 по май 1960 года.

⁵ Аурелио Де Лаурентис (р. 1949) — итальянский кинопродюсер и владелец футбольных клубов «Наполи» и «Бари».

— А где же Лючия... то есть сеньора Бозе? — спросил Лаурентис.

— Устала от всего, — пояснил тореадор. И спросил уже Толика: — Ну что, начнём?

— В России тоже любят корриду, но по-своему, — включив неуклюжий магнитофон, сказал Толик. — Наш композитор Шедрин написал балет «Кармен», а балетмейстер Григорович поставил его в Большом театре с Майей Плисецкой в роли Кармен. И ведь неплохо получилось. По-своему, по-русски, но тоже коррида, тоже быки.

— Коррида — это столкновение со случайностью. И я несколько раз видел, как смерть приближалась ко мне вплотную. Пусть и в образе быка, которому отступать некуда. На круглой арене вы вдвоём, а остаться должен только один.

Рассуждая, Домингин попивал «Столичную». Он философствовал о корриде де лос торрес не как о театре, а как о религии с элементами опасного ремесла. Он даже высказался, что его раздражает, как часто к людям его профессии относятся, словно к дрессировщикам и циркачам, а ведь они самоубийцы ради забавы зрителей.

Толик согласился, но тут же разозлил собеседника разговором о книге своего кумира Хемингуэя, отдавшего лавры славы молодому сопернику Домингина — тореадору Антонио Ордоньесу. Он и сам вдруг стал нахваливать этого Ордоньеса, хотя видел лишь его фото и просто поверил строкам писателя.

Когда же испанец попросил его остановиться, Толик продолжил мусолить тему, явно неприятную собеседнику.

Домингин набрал воздуха и, выслушав все обидные выпады, стал с презрением говорить о Хемингуэе, считая, что тот ни черта не понимал в быках, а уж тем более в манере боя тореадоров на арене. Постепенно, показывая Толику спекуляции автора, Домингин принялся делать жёсткие выводы, распаляясь и переходя чуть ли не к нецензурной брани. Но и Толик не уступал ему, разжигая страсть.

— Вы знаете, Луис, у нас часто говорят, что в действительности коррида имеет много уловок и сам путь тореадора отчасти рассчитан на театральный эффект. Ведь так? Ну конечно же! Ну что эти ваши быки? Это ведь малолетки с подпиленными рогами. Их прикармливают гормонами. Даже наркотиками пичкают, чтобы затуманить взгляд. Ну разве это быки, а не бараны? Ну разве это опасная профессия? Бык-то обречён. А вы окружены толпой вооружённых людей и только добиваете это растерянное животное...

— Да, есть у профессии и тёмная сторона, тут вы правы, и тотализатор даже, особенно в Мексике, где, как и на ипподроме, возможны нечестные ходы. Но быки, пусть с подпиленными рогами и очумевшие от гормонов и наркотиков, так же, как вы или я, не больно-таки думают о скорой смерти. Я знал много друзей по арене, которые во время жёсткого боя ломались и позорно бежали с арены. А публика им вслед свистела, улюлюкала и бранилась: «А ну, беги домой к мамочке, она тебе трусы поменяет, срань!»

Домингин взглянул на саркастического Толика и вдруг, встав со стула, небрежным жестом расстегнул брюки и приспустил их. На животе испанца над трусами были огромные шрамы от рогов.

— Не опасная профессия? У многих быков есть своё благородство — они обычно предупреждающе бьют копытом, а потом только бычата и ударяют тебя в верхнюю часть бедра.

Толик был ошарашен поступком Домингина, а тот продолжил:

— Вот, смотрите сюда! Видите? А если бы бык попал выше? Травма в живот была бы верной смертью от брюшного воспаления. Рога-то страшно грязные, бык ими роет песок на арене. А до этого успевает и проткнуть живот лошади. И грязь с кровью кобылы он суёт тебе в живот... И вот тогда ты понимаешь, чего стоит эта жизнь и чего

она не стоит! Это не кто-нибудь, а мы, тореадоры, поставили памятник Флемингу, создавшему пенициллин, который помогает нам выживать. Никакой ваш Григорович со своим вшивым Большим театром не идёт ни в какое сравнение с тем, что делает на арене тореадор. Во-первых, это истина. Это не поставлено. Это балет, который пишут тореро, его ассистент и бык весом в тонну. Это лучшая хореография в мире, за которую иногда отдают жизнь и всегда платят кровью! Вы, я вижу, сами ей ни за что не расплачивались. Может, оттого что у вас нет ценностей? Или осознания краткости бытия? — Домингин застегнул брюки и, сев, пригубил «Столичную». Толик заметил, что тореадор пил водку так, как пьют вино.

— А что происходит с быками, если они всё же побеждают тореадора? — не унимался Толик.

— Их всё равно убивают. Если дать выжить такому быку и потом пустить на арену, он станет воплощённым дьяволом, справиться с ним не будет никакой возможности. Он перебьёт всех, ведь бык — это бык!

— Ну разве это честно? Победитель всё равно будет убит... Это жестоко и страшно! Я очень люблю животных... — продолжал наседавать Толик.

— Да, это жестоко. Это по-настоящему кровавое зрелище. Ибо настоящим мужчинам кровь и близость смерти необходимы, чтобы ценить жизнь! Но эта жестокость развлекает людей, и она ничто по сравнению с той жестокостью, которую люди ежесекундно совершают по отношению друг к другу. Всю жизнь я честно убивал быков, а быки честно пытались убить меня. Я смерти избежал, а мои друзья остались лежать там, на песке. И когда какой-нибудь американский писака, задирая нос, начинает рассуждать о том, что я плох или бездарен, я хотел бы встретиться с ним так же, как с быком, — в честном бою. А тот, обдав меня грязью и позором, предпочёл самоубийство.

— Он же был болен раком, — защитил Хемингуэя Толик.

— Он был болен гнусностью, а это уж тем более неизлечимо, — подвёл итог тореадор.

Толик и Домингин долго молча смотрели друг на друга, и вдруг испанец рассмеялся:

— Нет, знаете что, так интервью, конечно, кончать нельзя. «Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» — спрашивал евангелист Матфей. Я тешу себя иллюзией, что всё-таки сохранил душу от бычьих ударов. Так что поставьте евангелиста в конце интервью. Точнее него скажет только прокуратура небесная в день Страшного суда.

3

Света неожиданно объявилась в холле и заметила Толика и Домингина. Толик был удивлён. Она помахала ему рукой, Толик взбодрился. Как только Домингин с ним попрощался, Света подошла к столику.

— Вот это да! А как ты тут оказалась?

— У меня должна была быть встреча с модельером Славой Зайцевым, но он её отменил в последний момент, я ведь и манекенщица тоже. И теперь вот обречена скучать в ресторане. А ты?

— Мне предложили ангажемент в Испании. «Аранхуэсский концерт»¹ с группой испанских детей. Там хорошо известны мои дирижёрские таланты. Провёл полчаса

¹ Сольный концерт для классической гитары и оркестра испанского композитора Хоакина Родригеса, премьера которого состоялась в 1940 году.

с их антрепренёром, а он оказался весьма бодливым, грубоватым. Ох, эти испанцы! Конченный психопат.

— Так поэтому ты и загрустил? Перестань! — Света игриво ткнула Толика пальчиком в плечо.

Она присела за столик, на тот же стул, на котором минуту назад сидел Домингин.

— Ты страстный, да? — сказала она. — И, вероятно, очень удачливый. Ведь так?

Толик пожал плечами.

— Ну не кокетничай, я вижу! Ты просто зажигательный волчок!

Света подмигнула Толику, вынула портсигар, выдернула папироску и вставила в мундштук. Она изящно повертела маленькую пепельницу с крышечкой, украшенной канадским клёном, и уж потом прикурила.

— Ну ты и воображала, — восхитился Толик.

— Ну да, иногда так и тянет чем-нибудь блеснуть. Я женщина и хочу внимания. Блеска в том числе. Ты блистаешь своей врождённой гениальностью, а я вот миленькими бжжу и мундштучком.

— Какая кокеточка, милая и очень пушистая, — поддержал её Толик.

— Подожди меня, я сейчас, — сказала Света и в мгновение загасила папироску, закрыла портсигар и пепельницу, сгребла их в сумочку.

— Ты куда? — завёлся Толик.

— Куда-куда? В туалет, — покраснела Света.

Она ушла, а Толик, секунду подумав, двинулся со своей «Нагрой» к туалетам.

Он помедлил у двери дамской комнаты, поставил «Нагру» на пол и вошёл. Света подправляла макияж. Он резко прижал её, она вздрогнула, а Толик впился в её губы. Затем он наглым движением запустил пятерню ей под юбку и ощутил напряжённую ягодицу.

— Что? Нет! Нет, животное! — прорычала она шёпотом.

Но прилив крови уже взбесил его. Ему надо было взять своё и сейчас же.

Света встряхнула его за плечи:

— Ну погоди ты! Что это, в самом деле? Давай поднимемся наверх, на смотровую площадку — там почти под крышей ресторан с такой террасой. От вида Москвы просто захватывает дух. Ну же, соглашайся!

Толика покорила половой гипнотизм Светы, и он кивнул. Они поднялись на двенадцатый этаж и пошли по коридору в торец здания.

Не доходя до конца, Света неожиданно ногой открыла дверь и, свернув в один из номеров, увлекла за собой Толика.

В номере она набросилась на него, и он отвечал ей с пылом. Они повалились на кровать, и Света зашептала:

— Ух, какой ты горячий. Ну, возьми меня резче и смелее! Возьми! Делай что хочешь!

От этих слов рассудок Толика помутился, и он потерял над собой контроль.

Когда после секса он пришёл в себя, то почувствовал, как во всём теле разливается нега.

— Ты животное, — сказала Света нежно. — Грязное, похотливое животное. Но очень сексуальное.

Чувство драйва длилось у Толика до тех пор, пока он не заметил на стене чрезвычайно знакомое фото: это был снимок с тем самым Блэкстоном, который входил в сад. Такой же висел у них дома.

«Этот тип — знакомый дона Балтасара», — подумал Толик и с недоумением взглянул на Свету.

— Ты знаешь, кто это? — указал он на гринго.

— Какой-то мужчина. А кто он? — удивилась девушка.
— А что это за номер? — поинтересовался Толик.
— Номер как номер. Его снимает моя подруга из Мексики, она учится со мной в Плешке. Её папашка секретарь ЦК в Мехико.
— А откуда это фото? Откуда этот тип здесь? А?
Толик подошёл к фотографии и снял её со стены.
В этот момент Света сказала: «Ах!»
Толик обернулся на стену, откуда он снял рамку, и увидел то, что видеть был не должен — объектив портативной камеры, вмонтированный прямо в стену.
— Я не знала... — залепетала Света: прости, это не моё.
Толик принялся нервно натягивать брюки.

Глава 17

Бездна мрачного Плутона

1937 год. Валенсия. Отель «Метрополь», Calle Xativa, 23

1

На улице, что разделяла арену для быков и вокзал, шла обычная толкотня прохожих. Но эта плотная масса, подчинявшаяся броуновскому движению, теперь представлялась Соколову лишь декорацией для покушения на него. Он пытался вычислить в этом хаосе фигуры, которые были здесь неслучайно. Праздношатающийся юноша показался ему подозрительным. Соколов долго внимательно изучал его, наблюдая из ресторанного окна на восьмом этаже.

Потом он заметил ещё одного странного, что стоял у трамвайной остановки. Он-то понимал, что это только мнительность. Ведь Семёнов и его Теодор и Серж были в том же ресторане, что и он, что-то ели, время от времени переговариваясь. Ими был заказан приличный обед со множеством блюд, и официант подвозил всё новые яства на столике-тележке. Потом они стали выпивать, и Соколов заметил, как Семёнов поднимает бокал и в шальном настроении кивает ему, намекая, что пьёт за его здоровье.

Он дал себе слово, что больше не будет смотреть в окно и на столик, где его будущие убийцы, возможно, уже сожрали его в своём воображении. Подозрения самого чёрного свойства роились в его голове, предполагая близкое будущее со средневековым исходом, хрипом и немотой.

Внутренний голос, который перестал подчиняться рассудку, вдруг заявил: «А откуда ты знаешь, что у Семёнова только Теодор и Серж? Откуда это известно? Он что, должен тебя оповещать обо всех своих негласных агентах? Семёнов ведь мог поехать в Барселону, Аликанте или Альбасете и через тамошних советских консулов связаться с Москвой или Парижем. Оттуда к нему и приехали бы новые участники охоты за тобой. Ты для него только жертва. Просто мишень. И с этого начинай отсчёт всего».

Наверное, это было преддверием психоза, который набирал обороты в его голове. Ведь сам он ещё в разговоре с индейцем всё решил, и вот, надо же, мялся, искал какой-то компромисс, как будто тот возможен.

Он вспомнил и прогулки с женой в парке в Перпиньяне, где они любили бродить, и тысячу всяких личных, не имеющих отношения к делу мелочей. Нет, самый важный

шаг он хотел оттянуть. Ему было приятно находиться в уже разоблачённом заблуждении. В личном прошлом, которое, вопреки предупреждению индейца, ещё продолжалось, наезжая на настоящее, приманивая опасным чувством уюта. Это чувство имело свои границы, правила, обязательства. Теперь же необходимо было разом сознательно разрушить буквально всё, иначе обманчивый уют его ощущений превратит в жертву его семью, и на всех их судьбах будет поставлен крест.

2

Войдя в номер, Соколов увидел странный черноватый дым. Он испуганно принялся, полагая, что где-то плавится проводка. Но в гостиной понял, что темноватый морок струится из платяного шкафа. Он открыл дверцу и обнаружил, что дымок поднимается из пиджачного кармана.

Соколов вынул оттуда идола и увидел, как странные клубы исходят из щели, от дверцы, за которой была полость. Всё выглядело так, будто внутри золотого предмета тлело какое-то вещество. Соколов открыл полость на животе фигурки, оттуда вывалился золотой предмет. Он поднял его и дотронулся до знака бесконечности...

Мир подёрнулся тьмой, и через этот почти что чернильный муар возникла начальная точка перед трёхэтажным Бельведером.

Теперь на скамейке у стены беседки сидел не капуцин, а индеец и смотрел не на куб, а на него. Из окошка в полуподвал, из-под тюдоровской двери, и даже из стыков плит, которыми была вымощена площадка перед сооружением, подымалась дымка.

— Что это значит? — спросил Соколов.

Индеец поднялся и позвал за собой. Они спустились с каменного крыльца беседки по лестнице на площадку перед зданием и, обогнув бельведер, взошли на невысокое крыльцо с арочным входом и дверью в тюдоровском стиле.

— Да сколько же комнат в Изменителе? — удивился Соколов, когда индеец дотронулся до ручки двери.

— Это неизвестно даже мне. Изменитель каждый день создаёт и пересоздаёт новые пространства. Он мыслит лакунами и обрывками времён, возможностями и лабиринтами, а я всего лишь его орган, напоминающий человека. Такой же, как все его шуты, мошенники, созерцатели.

Индеец обернулся на персонажей беседки, застывших в немой мизансцене в арках и на лестнице беседки.

— Но открою тебе тайну: Изменитель не только аппарат, но ещё и живое существо. Каждый раз, проходя его лабиринтами, я изумляюсь тому, что казематы прирастают новыми комнатами с различными узорами, орнаментами, сталактитами или ажурными колоннами. Каждый раз я обнаруживаю то, чего раньше не было.

Они вошли в мрачноватый подвал. На его стенах в факелах трепетал слабый огонь цвета куриного сердца. В отсветах пугливого пламени Соколов разглядел высеченную над входом в подземелье надпись *Libera me Domine*¹.

— Это аналог римских катакомб, в которых подвергались казни первые христиане. Я даже знаю, что где-то там, совсем далеко, в зале со стенами, покрытыми медными звёздами, в открытом саркофаге лежит их епископ и держит в пальцах, сжатых на груди, кристалл времени. Трудно сказать, для чего это придумали Создатели, видимо, срок этого символа ещё не пришёл и не стоит сейчас ломать голову.

¹ Избавь меня (*лат.*).

Индеец потянул ручку двери, которая была за узкой каменной перегородкой, и пропустил вперёд Соколова.

Они оказались в самой обычной комнате с зарешённым окном. В ней не было ничего, кроме двух напольных часов, показывавших чуть разное время. Они стояли друг напротив друга, но между ними сам собой создавался тот самый морок.

— При рождении вселенной возник необъяснимый дефект, — сообщил индеец. — Он приводит к едва заметной разнице времён, существующих одновременно, что и рождает тёмную материю, требующую жертв.

— Так это и есть суть Изменителя? Это его двигатель?

— Тёмная материя начала плавиться, времена сближаются, разделяясь лишь совсем небольшой разницей. Теперь события формируются на грани секунды. Именно в этот момент рождаются спасительные развилки событий, которые разрушают фатальность. Это значит, что пришло время исполнить волю Изменителя или погибнуть. Таково условие иерархов небесной канцелярии, ну, то есть Создателей.

Соколов впал в оцепенение.

— Ты медлишь. Ты ищешь возможности оттянуть спасительный час и пробалансировать у врат мрака? Я тебя предупреждал, что выход всегда есть. Если ты ещё не понял, то я укажу тебе на него. Он здесь. — Индеец обернулся на зарешённое окно, разделяющее соседние комнаты. Соколов видел, что за решёткой стоит стол, а на столе — знакомый ему сейф.

— Где я его видел? — спросил он.

— Это твой сейф. Он в бронированной комнате этажом выше твоего номера.

— С деньгами резидентуры? Это средства на тайные операции...

— Это твои деньги! Твои! Возьми их не раздумывая! Они — путь к спасению в том случае, если ты не считаешь себя жертвой.

— Я больше никого не убью. И предупрежу тех, кто в опасности, — твёрдо сказал Соколов.

— Что? — насторожился индеец.

— С убийствами покончено, — пояснил Соколов.

— Одну жертву ты всё же принесёшь, — сказал властно индеец. — Это закон Изменителя. Возможно, тебе неприятно это узнать, но в основе космоса лежит великая аморальная компонента, иначе бы аппарат встал. Об этом догадывались и манихеи, и катары, когда вставали перед необходимостью другого будущего... Так ты принесёшь жертву?

— Кого же и как? — спросил ошеломлённый Соколов.

— Это секретарь Троцкого Рудольф Клемент, которого ты хочешь предупредить.

— Откуда ты это знаешь? — удивился Соколов.

— Я это просто знаю, — пояснил индеец. — Если ты, зная, что смерть идёт к этому человеку, всё же не предупредишь его, ты принесёшь жертву Изменителю — этого будет достаточно. К тому же только в этом случае причины и следствия замкнутся правильным образом, создав Изменителю необходимую параболу.

— Так вот ради чего приносились в жертву дети? — воскликнул Соколов. — Какая казуистика!

— Всё верно. Каждая прерванная судьба — это запасной ход в следующей жизни. Таков закон аппарата, поглощающего тёмные частицы этого мира.

— Закон аппарата...

— При этом всё в твоей воле: ты можешь и не приносить жертву Изменителю. Но тогда жертву выберет сам Изменитель, и ею станете ты и твои близкие. Оцени эти тонкие связи.

Соколов задумался.

— Он ещё раздумывает! — взорвался индеец. — Если бы ровно десять лет назад Троцкий не проиграл Сталину, то сегодня в парижской квартире, куда направляется Семёнов, сидел бы ты. А Клемент, как Семёнов, пришёл бы за твоей жизнью и не стал бы мучиться размышлениями о трёх теологических добродетелях, как апостол Павел! Неужели ты не понял, что кругом идёт великая тавромахия¹, и тут нет ни невинных жертв, ни жертв напрасных? Тут есть только ходы верные и ходы неверные. И все они верны или неверны относительно тебя. Космосу безразличны вариации. Они ведь картинки. А он вечен, — индеец захохотал. — Однако учти, — продолжал хранитель, — если ты принесёшь в жертву Клемента и будешь на месте его убийства, как требует Семёнов, тебе придётся срочно уезжать с места события, как только покушение состоится и Семёнов ещё не выйдет из подъезда. У тебя будет всего-то десять секунд. Иначе ты принесёшь Изменителю в жертву себя, а Клемент каким-то образом выживет.

— Ну откуда ты всё это знаешь? — спросил Соколов. — Разве человек не может быть свободен от механических шагов?

3

Соколов открыл сейф. На полочках лежали пачки долларов сотенными купюрами. Около шестидесяти тысяч. Он вынул их и аккуратно положил в саквояж, рядом с обёрнутым в бархотку божком.

Когда все купюры были уже уложены, Соколов сел за стол, вынул из ящика лист бумаги и, положив его перед собой, обмакнул перо в чернильницу.

«Пишу вам, так как знаю, что вы и являетесь началом всех последних событий в моей жизни и судьбе. Эти обстоятельства и вера в вас помогли мне переступить через трупы и невероятные по своей жестокости действия, после которых я могу сомневаться в своей принадлежности к роду человеческому. Всё это следствия ваших приказов, которые я стремился исполнить наилучшим образом. Вывод, к которому я пришёл, ужасен: вы сделали меня зоологическим чудовищем, таким, что ночами я содрогаюсь от мысли: как я смог им стать? Это самый ужасный вопрос, каковой я сделал, озираясь на мою недавнюю жизнь.

Но в этом я виноват лично. Вы только следствие. Причина же — я сам. Исполняя все ваши приказы, я благодаря более высокой воле, чем ваша (поверьте, такая есть), обнаружил, что вы послали за мной группу таких же палачей, как и я. Я не знаю, чем прогневил вас, и, честно говоря, не хочу об этом знать. Версии теперь излишни.

Как бы там ни было и что бы я ни думал в своё оправдание, главное в другом: на мою жизнь мне наплевать. Она столько раз висела на волоске, что я утратил инстинкт самосохранения.

Но жизни моей жены и дочери не принадлежат вашим мрачным капризам и фантазиям. Отдавать их вам или вашим упырям я не намерен.

Поэтому...

Я знаю всех агентов, которые сегодня действуют в столицах Европы, и смысл их действий. Многих я вербовал сам, других я вовлёк в мрачные события, за что гореть мне в аду. Речь о таких же, как я, палачах из летучих отрядов, гастролирующих между трупами, загадочными смертями и обжорными балами в клубе НКВД.

В подтверждение серьёзности моих намерений я сообщаю вам, что у меня остаются в качестве подтверждения личные вещи моих жертв. К примеру, обручальное кольцо того белогвардейца, которого я вывозил из Парижа. Надеюсь, и вы его никогда

¹ От исп. la Tauromaquia — борьба с быками.

не забудете. У меня мрачная коллекция, какую не может собрать здравомыслящий человек и которая может быть предъявлена миру с развёрнутым комментарием в случае, если вас всё-таки обуяет очередной приступ садизма и вы, потеряв контроль над своим темпераментом, решитесь искромсать весь мой род под корень.

Поэтому я предлагаю вам откровенную и предельно грязную сделку: вы навсегда забываете о моём существовании и больше не стремитесь найти ни меня, ни моих близких. Я же обещаю вам оставить в тайне мой печальный музей. Если это условие принято не будет и вы всё же пойдёте путём убийства и кровавых вакханалий, на следующий день люди, облечённые моим поручением, опубликуют имена агентуры СССР в Европе и расскажут о судьбе всех этих улик, с документальными подтверждениями и фотографиями. Но в любом случае — прощайте навсегда. А.Соколов».

Он вложил листок в конверт и надписал лаконичную адресацию: «Ивану Васильевичу».

Потом Соколов разогрел зажигалкой кусок сургуча и накапал им на клапан конверта. Он поставил оттиск своей консульской печати, подул на него и, убедившись, что сургуч остыл, положил в сейф.

Глядя на послание, лежащее сейчас на полке, он вдруг вспомнил все события с революции и до этого момента: Москву, свой печальный служебный роман и лица тех, кого потеряет неизбежно. Ах, сколько было благородных, высоких иллюзий и сколько возвышенных жертв! Сколько было положено на алтарь и отдано великому делу, которое теперь продолжится без него. Сколько друзей и врагов останется теперь в этом закрытом для всех, кроме него и Ивана Васильевича, пространстве. И даже то высокое чувство, которое он испытал в автомобиле, летевшем по улице Горького, теперь будет заключено в сейф. Оно останется в нём навсегда. А может быть, ещё и в Изменителе.

Не об этом ли состоянии говорил индеец, предупреждая его? Не об этом ли следовало пожалеть? Или всё-таки следовало стать жертвой?

Соколов закрыл дверцу, повернул ключ в замке и снова уставился на сейф.

«Теперь-то уж точно всё», — подумал он.

Соколов повертел ключ перед глазами. Оставлять его Эйсеру с письмом, заключённым внутри, он не собирался. Нет, этот ключ он решил взять с собой: он будет его талисманом и напоминанием о тайне, которая с этой секунды томится в железном ящике.

В конце-то концов подчинённые всё равно вскроют сейф — тогда, когда он и его семья будут уже далеко...

Он ошибался.

Глава 18

Следы следов

1977 год. Москва. Арбат, 43

1

Толик доехал на метро до Смоленской и, выйдя на Садовое кольцо, пошёл вдоль дороги, как вдруг рядом с ним остановилась чёрная «Волга». Вышедший из неё шофёр открыл заднюю дверь в салон и жестом предложил Толику садиться. Толик удивился, но показавшийся на заднем сиденье Фитиль прошипел:

— Ну, садитесь вы, дурашка. Теперь всё будет серьёзнее не придумаешь.

И Толик сел на заднее сиденье, машина тронулась.

— Балтасар допустил ошибку. Ваш тесть большой хитрец. Старик не сообщил то, что должен был нам сообщить, и потому нам не всё понятно.

— Вам?

— Именно! Не валяйте дурака, юноша! Теперь ваша очередь быть битым. И бить вас будут от души. Ведь иного вам, хлюпику и бабнику, не дано вовсе. Но вот одно вам будет обещано всенепременно...

Фитиль вынул из кармана пиджака конверт и, протянув Толику, в руки всё же не дал, а лихо швырнул о кресло салона: так иногда в азартной игре с трескающим звуком предъявляют козырь.

— Что это? — поинтересовался Толик.

— Ну, открывайте, открывайте, он не заклеен! — приказал Фитиль.

Толик отогнул клапан и увидел несколько своих откровенных фото со Светой.

— Интересно? — съехидничал Фитиль. — Это только часть сессии. Отдайте нам то, что мы ищем, и Кармен, возможно, не увидит вашего грехопадения. А может, и увидит.

Толик задумался.

— Откровенно говоря, я даже не знаю, где то, что вы хотите найти...

— Правда? А вы спросите у Кармен. Мне кажется, она что-то знает, — бесстрастно подсказал Фитиль. — Только спросите не как обычно, когда мычите ей о своей любви, как белуга, а сами спите на стороне. Вы спросите её так, чтобы она всё вспомнила, до деталей. Начните её пытаться по-мужски. И тогда она укажет, где и что. Даю вам сутки. Иначе дело приобретёт серьёзный оборот. Но даже и это будет только начало. Вы будете растоптаны и превратитесь в навоз, каким вы, в сущности, и являетесь. А теперь выметайтесь, живо!

Автомобиль притормозил, и Фитиль открыл дверцу салона.

2

Придя домой и заметив, что Кармен хлопочет на кухне, Толик вошёл туда, сел и стал поглядывать на жену, пока она раздражённо не спросила:

— Что это ты на меня таращишься? Что случилось?

— Ты ходишь к Павловой. Что у вас общего?

— Ты это серьёзно? — удивилась Кармен. — Я была у неё всего дважды и только по отцовскому делу. Его просьб я не обсуждаю.

— Но всё-таки? О чём вы говорили? — стал допытываться Толик.

— Отстань! — огрызнулась Кармен.

— Призраки? — напомнил Толик.

— Понимай как хочешь. — И добавила, что конец их беседы старушечия свела к омолаживающему крему из яда каракурта.

Это пассаж показался Толику предельно неинтересным, в отличие от судьбы актрисы. Прошлого Павловой было подёрнуто мраком: она снималась в кино и была актрисой второго ряда. Однако ходили сплетни, связывавшие её имя с Берией: якобы они были в интимных отношениях даже накануне его падения. Сама же бабушка не упоминала об этом. Она вела тихую и скромную жизнь в квартире на Кутузовском проспекте — в том же доме, где были и апартаменты Брежнева. Чем она заслужила такое, было тайной.

Но не тайной было то, что Павлова была как-то связана с антиквариатом и вела знакомство с иностранными студентами и дипломатами. Её иногда приглашали

во французское посольство на приёмы, и она приходила туда в бриллиантах. Светившаяся от драгоценностей как новогодняя ёлка, бабуся удивляла московский бомонд, слагавший о ней противоречивые легенды. Вокруг неё всегда порхали гомосексуалисты из артистической среды, предлагали ей какие-то безделушки. Жестокая молва обзывала её спутников германами, а её — Дамой Виней.

Но при всём внешнем блеске и публичности Павлова осталась загадкой, и к себе допускала немногих.

— Курьёзно то, что я однажды прошёлся по этой бабке в журнале «Театр» в рецензии на спектакль Вахтанговского театра «Сезон охоты», где она сыграла старую бурятскую охотницу, ударницу труда, обезумевшую на почве производственного плана. Вряд ли она об этом забыла, — пояснил Толик.

— Бабушка она добрая и тебе ничего не сделала, — укорила его Кармен. — Но наши разговоры с ней были коротки, и мне тебе сказать нечего.

Кармен сварила кофе и подала мужу. Толик сосредоточенно стал пить его маленькими глотками. Всё это время он думал о сцене в гостинице и о том, для чего это и что теперь будет, но ясно одно — теперь он «попал».

— Толик! Ты здесь? — спросила Кармен.

Он встрепенулся и автоматически пробормотал:

— Какой чудесный кофе!

— Это нам на отдел подарил глава коммунистов Бразилии. А ему передали это какими-то тайными тропами прямо из Рио-де-Жанейро. И с кофе он пришёл в эфир.

Толик задумался и стал гипнотизировать Кармен. Так он делал всегда, когда ему нужно было выцыганить что-то особое: сначала превращался в удава, а потом удав снова становился Толиком.

— Кармен, а что так тревожит Балтасара? Почему он напряжён? Почему даже простецкий разговор превращается в историю с недомолвками?

Кармен помрачнела. Она смотрела сквозь Толика.

— Пойми, — сказала Кармен, — отец и мать увезли из Испании всё, что могли, в том числе и своих призраков. А призраки, даже недобрые, это не только части нашей души. Они, как ты видел, приходят и по-настоящему приглашают на свои оперы и что-то выспрашивают. И что самое печальное — призраки никогда не стареют.

Толик вспомнил о некоем Санта-Крусе, упомянутом доном Балтасаром.

— А кто такой Санта-Крус?

— Учёное чучело и откровенный шизик, — ответила Кармен. — А чего это он тебе понадобился?

— А почему шизик?

— Это не все знают, но он, кажется, занимается какой-то чертовщиной... хиромантией, астрологией, что ли.

— Когда тебя не было, его фамилия донеслась из-за двери.

— Ты подслушивал? — возмутилась Кармен. — А любопытной Варваре...

— Если бы у Варвары был такой нос, как у меня, она бы всех сделала. Неужели так трудно сказать про этого Круса?

— Ты хочешь неприятностей для нас всех? — загадочно произнесла Кармен. И добавила осторожно: — Может быть не надо?

— Да кто же он такой, чёрт возьми? — продолжал наседать Толик. — А вдруг он знает важную тайну, и мы с тобой разбогатеем.

Кармен расхохоталась от такого заявления, но уже спокойно сказала:

— Он очень специфичный человек. Сидит на архиве испанских интербригад и знает больше, чем нужно знать обычному человеку.

— И... — продолжал Толик.

— Зайди к отцу на работу в Архив компартии и скажи, что пишешь книгу о Коммунистическом интернационале, испанской войне и диверсантах из Альбасете. А ещё лучше... Как ты понял, мой рыцарь, тут кругом минные поля...

— Кто я такой для этих фанатиков? Они же номенклатура ЦК, и мне, конечно, ничего не скажут и ничего не дадут. Да ещё и настучат.

Кармен взяла салфетку и написала на ней:

«Толя, у папы есть записная книжка. Она лежит на столе. Я знаю, что там есть телефон Круса. И, пожалуйста, все тонкие темы пиши на листочке — у нас тут могут быть уши».

Толик с удивлением прочёл то, что написала ему Кармен, и в ответ набросал на том же листке: «Я войду в кабинет и посмотрю в книжке этот телефон. Ты меня подстрахуешь, если неожиданно придёт отец?»

— Да, — громко сказала Кармен, чиркнула спичкой и подожгла исписанный листок.

3

Как только Кармен удалилась, Толик прошмыгнул в комнату тестя и устоялся на письменный стол. Среди пластинок с музыкой де Фальи, Гранадоса, симфонической поэмой Альбениса «Алая башня» в исполнении Падеревского он с удивлением увидел бокс, внутри которого лежал люггер парабеллум. Толик взял пистолет и стал позировать с ним перед зеркалом, но потом всё же положил оружие так, как оно лежало. Вот тут-то он и обнаружил прямо под боксом потёртую записную книжку с потрескавшимся фотографическим портретом раскуривающего трубку Сталина из тех, что продают в электричках глухонемые.

Толик раскрыл её, стал искать телефон Санта-Круса и нашёл сразу, так как этому номеру дон Балтасар отвёл целую страницу, на которой большими буквами вывел Santa Cruz.

Толик принялся переписывать телефон, и в этот момент раздались шаги и дверь открылась. В комнату заглянул дон Балтасар. Но так как Толик оказался за дверью, которую открыл тесть, тот его не заметил и ушёл.

В это время послышался голос Кармен: «Папа, я давно хотела тебя спросить насчёт Изольды...»

Выскользнув из комнаты тестя, Толик перекрестился и проскользнул в ванную. Из-за двери он слышал стук, а затем и голос тестя:

— Толя, это ты?

— Да, — ответил он.

— Что ты такой испуганный? Чего в ванной заперся? — спросил дон Балтасар. — Опять какие-нибудь твои гадкие выходки стали известны трудовому коллективу Радиодома? Не могу же я всё время звонить Луису Бланко.

— Просто хочу принять душ, — замаскировал свой испуг Толик.

И хотя он имел теперь заветный телефон, события ближайших дней заставили его на время забыть о Санта-Крусе.

Глава 20

ЮДОЛЬ

1937 год. Валенсия. Отель «Метрополь», Calle Xativa, 23

1

Соколов вышел из отеля и огляделся по сторонам. Всё было буднично: перед фасадом стояли авто с открытыми дверями, в машинах дремали шофёры, а через дорогу, у входа на арену для корриды, ветер трепал старый плакат.

Только машины с Балтасаром не было.

Соколов разволновался и предположил, что всё идёт не так уж гладко, как ему кажется. Он нервно сжал ручку саквояжа с деньгами, перешёл трамвайные пути, направляясь в сторону арены. Лишь ступив на тротуар противоположной стороны улицы, он заметил автомобиль Балтасара, который, по уговору, стоял на площади, только у соседнего с ареной Северного вокзала.

Соколов оценил осторожность испанца, который не стал ему сигналить, а лишь махнул рукой из окна автомобиля. Соколов кивнул в ответ, и машина двинулась навстречу и притормозила ровно перед ним.

«Как можно быстрее!» — выпалил Соколов, сев на заднее сиденье.

Машина тронулась, и в этот момент он увидел, что навстречу мчится автомобиль Семёнова. Тот махнул ему рукой, как бы предлагая остановиться, но Соколов знаком показал, что у него нет времени, а Балтасару жёстко приказал: «Давай быстрее! Времени в обрез!»

В зеркало заднего вида он заметил, как Семёнов и его спутники вышли у фасада гостиницы «Метрополь» и их встретил Эйсер, который что-то сказал и, как ему показалось, махнул в сторону удаляющегося автомобиля Соколова.

— Прощай, Наум, не поминай лихом! — процедил сквозь зубы Соколов.

— Вы что-то сказали? — поинтересовался Балтасар.

— Простился. Когда ещё увидимся? Может, и никогда.

2

На выезде из Валенсии они миновали озерцо, отделённое дамбой от моря. На островках и берегах его слышался птичий гомон.

— Здесь обычно зимуют русские птицы, — сказал Балтасар. — Считается, что они поют по-русски.

— С чего это ты взял, Балтасар? Они просто суетятся на гнёздах. Это бессмысленный крик и ничего более. И только люди придают этому гвалту возвышенный смысл. А ты разве не замечал, как часто фантастическая глупость вызывает наше уважение, как откровенные идиоты заставляют нас снимать шляпу? Мы лакействуем перед ними, как будто они Моисей, а ведь, возможно, они ведут свой народ в самое пекло пустыни, а не к горе Синай.

Спускаясь за горизонт, солнце вытягивало тени деревьев. Тёплый и нежный свет стелился по равнине, придавая пейзажу приятный оранжевый оттенок. Вдали темнели невысокие горы.

Дорога на север, обычно загруженная днём, ближе к ночи оказалась пустынной. Из предосторожности Балтасар достал из багажника автомат и, положив его на сиденье рядом, обернулся к Соколову, желая получить его одобрение. Тот небрежно кивнул, и испанец повёл автомобиль с резвостью и азартом.

Слева на горе показался замок Сагунто.

Соколов и Балтасар переглянулись.

— Так что там произошло с Ганнибалом? Напомни, — поинтересовался Соколов, возвращаясь к давнему разговору в самолёте.

— Он проиграл и должен был оставить крепость, едва взяв её, — пояснил Балтасар. — Так ведь бывает в жизни частенько — едва что получишь, как тут же приходится это выбросить из головы. А почему вы вспомнили об этом?

— Просто так, — грустно сказал Соколов. — Печальная история вызывает колебания души, будто ты сам имеешь отношение к этому Ганнибалу.

После развилки дорога пошла по горам, испанец развеселился от быстрой езды и основательно прибавил газу. Он косился на Соколова, который беспокойно поглядывал на наручные часы.

Автострада забиралась всё выше, резко петляя на поворотах. С одной стороны вздымалась стена гор, с другой — пропасти и ущелья.

— Всё как в жизни, — сказал Балтасар и оглянулся на Соколова, но тот не расслышал. Он больше не хотел читать все эти знаки и намёки. Теперь всё сделалось предельно ясным, кристально чистым и смертельно опасным.

У самой границы двое тусклых неизвестных остановили машину и попросили подвезти их до ближайшего жилья. Это были анархисты «пистолерос», от которых можно ожидать всякого. Балтасар выругался, что вообще притормозил. Заметив недовольный взгляд Соколова, испанец вкрадчиво сказал незнакомцам, кивнув на автомат: «Идите, парни, с миром!» И резко ударил по газам.

Дальше он стал прибавлять газ всякий раз, как кто-нибудь поднимал руку, желая остановить машину.

Взошла луна, и её мягкий свет стелился вокруг.

— Что будет дальше? — спросил Балтасар.

— То, что может быть, — загадочно ответил Соколов, — или то, что бывает, когда ему должно быть.

Ответ насторожил водителя. Балтасар взглянул в зеркальце и оценил саквояж шефа.

— Домой уезжаете? — спросил Балтасар. — В Москву?

Редкие придорожные селения казались вымершими. То ли из-за войны, то ли из-за тягот жизни они выглядели мрачно. Ставни маленьких домишек, прилепившихся у дороги, были плотно закрыты, а крайние из домов пригибались к дороге. И всё было пустынно, почти как в декорациях.

Но иной раз прохожий с фонариком в руке возникал у поворота и долго смотрел им вслед. Или пастух, задержавшийся в горах, торопил баранов им навстречу и закрывался локтем от света фар.

Уже ближе к французской границе они долго ползли по серпантину вверх, а когда открылся вид на море, Соколов попросил Балтасара остановиться у маленькой смотровой площадки.

Ночь была светла: лунная дорожка тянулась по заливу далеко на восток.

Балтасар слышал, как тяжело дышит пассажир.

Ещё в Валенсии Хименес сказал Балтасару, что Соколова отзывают, и что теперь он исчезнет навсегда. В его словах Балтасар уловил тихое злорадство. Тогда-то он и увидел в кабинете поро, которое Хименес — Серебряная Голова положил в шкаф с застеклённой дверью и прикрыл обрывком газеты. Точнее, Балтасар не был уверен, что это именно поро, ему так показалось, потому что Хименес что-то темнил.

Теперь же Балтасар хотел только одного — чтобы этого поворота судьбы Соколов избежал. Он проникся к нему симпатией и считал, что такой человек не может исчезнуть, как Богомоллов, и быть переработанным фатальной машиной исторического материализма.

Только когда автомобиль пересёк границу и испанские пограничники козырнули им, Балтасар заметил, что Соколов немного расслабился.

Нужно было как можно скорее оказаться в Перпиньяне.

Владимир Салимон

СТИХИ О ЛЮБВИ

* * *

Света нет, как будто Божье
слово не дошло сюда —
в эту глушь и бездорожье.
Но взглядишь — горит звезда.

Описавши над равниной
полукруг, висит она,
с небом словно пуповиной
прочно соединена.

Связь меж ними неразрывна.
Их покой поколебать
думать было бы наивно.
Спит младенец. Дремлет мать.

Как сухих цветов в тетрадке
между глянцевого страниц,
на подушках отпечатки
наших загорелых лиц.

* * *

Какое слово первым будет
в устах младенца — в этом суть.
Пока он только воду мутит,
сказать не в силах что-нибудь.

Но немота его прекрасна
на фоне пламенных речей,
поскольку вовсе безопасна
для окружающих людей.

На муки творчества похожа.
Кто знает, что родит малыш,

который в люльке корчит рожи
и нам показывает шиш.

Пойди попробуй догадаться,
что у дитяти с языка
сорвётся, лучше оставаться
нам всем в неведение пока.

Мы будем блеянье, мычанье
его с улыбкой принимать
и с благодарностью молчанье,
как дар, как Божью благодать.

Салимон Владимир Иванович — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001), заместитель главного редактора журнала «Вестник Европы XXI век» (2001—2011). Лауреат Европейской поэтической премии Римской академии (1995), Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Живёт в Москве. Постоянный автор «Дружбы народов».

* * *

Так и запишет — по белому чёрным
ближе к зиме, к четвергу
глупая птица с характером вздорным
стих на снегу.

Мы будем долго за птицей носатой,
глядя в окно, наблюдать,
стих, что написан куриною лапой,
силаясь понять.

Но содержание стихотворенья
неуловимо, оно
тает, теряется.
Через мгновенье
станет темно.

* * *

Верить в Бога или нет,
невозможно не признать:
колокольный звон чуть свет
это — радость, благодать.

Утром ранним в листопад,
накануне Покрова,
спозаранку выйдя в сад,
жизнь где теплится едва,

вдруг услышишь вдалеке
перезвон колоколов,

отражение в реке
вдруг увидишь облаков.

Как бы ни был мир жесток
и немилосерден век,
ты почувствуешь восторг
оттого, как первый снег,

ночью павший на поля,
непорочен, свеж и чист.
Пусть черна под ним земля,
путь земной — тяжёл, тернист.

* * *

Когда мощна твоя пустая,
и нет надежды никакой,
приходит осень золотая
в канун развязки роковой.

Так Пушкину в канун дуэли
явился санный экипаж.
В нём Натали на самом деле
была иль это был мираж?

Как знать, подобные сюжеты
нередко выдумка, но мы

все в глубине души поэты,
что прозревают свет среди тьмы.

Пусть это — призрак, наваждение,
фантом, оптический обман,
но люди верят в исцеленье
их от недугов и от ран.

Томящийся в стенах больницы
вдруг оживляется народ,
лишь милосердия сестрицы
халатик в темноте мелькнёт.

* * *

Когда Вселенная до точки
сжимается, и ты не в силах
ни слова написать, ни строчки.
Слабеет мысль. Кровь стынет в жилах.

Представь себе — листва кружится!
Кружись и ты, лети за нею,
ища куда б тебе прибиться,
свою окончив одиссею.

Быть может, здесь в лачуге бедной
тебя ждёт верная супруга,
и тетива звучит победно
тобой оставленного лука.

Ты — царь и бог в глазах мальчишки,
который спину прикрывает
тебе, как на картинке в книжке,
что держит щит и меч сжимает.

Крепки мальчишеские руки,
и зорек глаз,
он ищет славы.
За поношения и муки
на всех повинных в том — управы.

* * *

Как кровать ни широка,
места в ней не нахожу,
в тусклом свете ночника
я по комнате брожу.

Что случилось? — спросишь ты.
Ничего! — отвечу я.
Про предчувствие беды
мысли чёрные тая.

Всё свалив на духоту,
на тлетворный, тяжкий дух
листьев, преющих в саду,
и на злых осенних мух.

Ведь не скажешь посреди
ночи женщине:
Пожар
целиком, того гляди,
весь Земной охватит шар.

Сергей Золотарёв

Тайный орден отечественной войны

*Трактат о том, как Гитлер хотел перевернуть Землю
и у него ничего не вышло*

Пролог

Давным-давно, а точнее — и не сказать, родился в одной австрийской семье чудесный мальчик. Он был так переполнен красками, что отец называл его Тюбиком. Матушка выносила малыша на свет всякое утро, как отец выходил из дома на работу. В три года ему купили первые карандаши. И мальчик принялся рисовать. Рисовал он так хорошо и так много, что вскоре пришлось купить ему краски и оборудовать для его художеств отдельную комнату. Он писал деревья, облака, лучи, преломлённые водной гладью, поверхность пруда, отражающую лучи. Он писал стены домов и поддерживаемые ими крыши с гнутыми кошками на черепице.

Не сразу родители заметили неладное, а когда заметили — было уже поздно. Дело в том, что какой предмет ни перенёс бы наш юный художник на лист бумаги, какой бы цветок ни зарисовал с натуры — тот, появившись на холсте, исчезал из этого мира. Так он изобразил все окрестные дома, дорогу, горбатый мост через реку и снежную зиму — и всё это перестало существовать. Родители переехали в другой город, но мир от этого не прекратил истончаться.

Только когда мальчик нарисовал своих родителей, они догадались, что это смерть, и, взявшись за руки, пошли по бирюзовому ковру нового мира — перенесённые в художественную плоскость нашего повествования...

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Окончил Государственную академию управления им.С.Орджоникидзе. Автор поэтических сборников «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2021). Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2021). Живёт в г. Жуковском.

Предыдущая публикация прозы в «ДН» — 2022, № 7.

Глава 1

И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей].

(Исх. 1.8.)

* * *

На гробнице завоевателя-человекобоя — странное предостережение: «Осторожно яблонная плодоярка». Не послушались археологи. Выпустили демона насекомой войны.

И было лето, и было утро.

В какой цвет раскрашено это утро? В цвет пепельной пыли, поднятой многотонными машинами. Свастичные валы вращали тысячесильные двигатели. Выворачивали оборотными плугами пласты человеческих жизней. Наматывали на винты мёрзлые солнечные лучи.

Свастика — лучший механизм для проворачивания истории, — казалось со стороны.

Птицы легли на спину и потекли вспять.

Собаки в те годы были размером с кошку, а кошки размером с крысу. Люди плакали так же охотно, как улыбались.

Кошки лучились землёй. Их шерсть прорастала как трава, напиваясь от мирной крови отцов, павших в красную глину. Серебряные, инеем укрытые поля отражали идущее из земли тепло крови обратно в землю, как скорбная фольга утепления.

Мириады частиц, без толку толпившиеся у земной поверхности, выстроились в две равносильные противодействующие стороны, появились минус и плюс, каких до этого не существовало.

22 июня 1941 года воздух отслоился от Земли, как отслаивается мясо от кости. Последствия этого надрыва ощущаются до сих пор в виде атмосферного потепления, бурь и засух.

* * *

Бомбы падали вверх, как первый пушистый снег.

Старший Корешев был дома, собрался, целовал жену и детей и шёл на войну. Там воевал он много и неохотно, отчего затосковал ко второму месяцу.

Убивать врагов было занятием безрадостным и нерезультативным. Убиваемым тоже. Тогда пошёл отец Корешев к комдиву и сказал тому: давай молиться со мной, товарищ. И возмём монахов, преждевременно отслуживших, и дадим им новую Великую службу во имя трудового народа и святых страстотерпцев. Комдив, услышав такие речи, возрадовался в сердце — в сердцах же прогнал еретика Коминтерна в угол большой Советской родины.

В углу оказался тракторный завод, в котором наладили производства панцирных машин для фронта.

Пошёл Корешев тогда к Иосифу, что под рубиновой звездой зелёную лампу грел. И говорит Иосифу тому:

— Звёзды Горрикера — то бишь, противотанковые ежи — есть трёхмерная проекция Распятия, на котором умирал и воскрес Спаситель. Так сказал Корешев-старший. Вот мы с тех звёзд крестами-то Землю нашу назнаменуем!

А и было тех звёзд как песка морского.

Русские солдаты вбивали каждый свой шаг, как если делали открытый массаж сердца. Гулко и с нажимом. Фашисты же ступали, как в вату.

Макар Корешев тоже шагнул, да, видимо, не рассчитал.

С тем и сделался невидимым для земли.

Сын его — Василий, впрочем, прожил свою, не менее удивительную войну. О нём мы и попробуем рассказать поподробнее.

Минное поле

В августе 41-го года войсковое соединение, разбитое в боях под Вольском, выбиралось из окружения. Бойцы в количестве около сотни вышли на минное поле. Своё родное минное поле. Само собой, о плане минирования не было и речи. А тут ещё фриц давит сзади. Слышна мотопехота. Вот-вот накроют.

Лейтенант Елагин сел на поваленное дерево сосны. Лейтенант Елагин задумчиво крутил химический карандаш.

— В среднем на тридцать метров один боец, — наконец произнёс лейтенант погранвойск в грязном обмундировании. — Человек семь добровольцев. Я иду первым. Как меня разнесёт — следующий. Так и прорубим окошко. В конце концов, семь — меньше ста.

— Скажешь тоже, командир. А жить хочется!

— Кому жить хочется, тот жди. Я говорю о добровольцах. Даже не о коммунистах.

— Дай, товарищ лейтенант, я впервой буду. — Сорокалетний дед берёт рукавицы с пенька. — Маненько пожил, надо и другим дать пожить.

— Первым иду я — это не обсуждается. Митрич второй.

— Что ж. Коли иного выхода нет... Или есть, Иван Алексеич?

Елагин посмотрел в поле.

— Да, похоже, не много выходов. Через полчаса, не позже, здесь будет моторизованная пехота. Оборону занять не успеем. Да и бессмысленно. Все поляжем.

— Так хоть гадов с собой заберём.

— Чем? Руками? А кто доберётся на ту сторону, воссоединится со своими — и ещё вдесятеро больше немца повалит.

— А они по нашему коридору?

— Не рискнут. Им терять есть чего, техника опять же. А нам, помимо своих жизней, земля родная нужна. Чтобы лежать было в чём.

— Хотя бы.

Кукушка перелетела с дерева на дерево, не понимая, что куковать.

— Семь меньше ста, — ворчал Суслов. — Это как повернуть. Так-то получается, один больше ста — изнутри этого одного. Вот для меня, к примеру, этих ста как бы нет, а только своя жизнь и наличествует.

— Сука ты, Суслов.

— Ну и что? Человек я. Ну, не герой. Мне страшно помирать.

— Страшно умирать — живи! Только в сторонке где-то. Уйди от греха, а!

Командир, меня пиши. Я вон за того же Суслова пойду, чтобы ему жилось и мучилось после меня!

Рослый курчавый бузотёр Останин. Исполнитель главных ролей в школьном театре. Поклонник Маяковского и Тихонова.

— Суслов не прав. Помирать всё равно придётся. Что сейчас под огнём, что позже.

А так можно товарищей порадовать напоследок. Пиши меня, Лексеич.

Рыжий деревенский плотный невесёлый мужик Аким Прохоров.

Ну, с богом!

Елагин делает первые шаги. Душа в пятках — только вот лейтенант подтягивает её до пупа, как развязавшиеся штаны. Вот уже страху полегче, и сам легче страха. Всё одно умирать. Господи, спаси! Ужас всё-таки. В клочья. В мгновение ока. Не думай, Ваня, ступай легонько.

Товарищи смотрят. Не сутулятся.

Сделалось отстранённо. Ноги выросли из земли и поднялись над Землёю. В детстве он потерялся в лесу и долго замерзал, пока не нашли. Похожие переживания — когда колотун по всему телу вдруг переходит в негу и внезапно делается тепло. Правда, потом всё заново, но вот это превращение замёрзших конечностей в противящуюся среде силу, осталось ощущением чуда.

И Елагин шёл в этом пламенном коконе. Леониды валились на человека, как Нечаянная Радость. Желтизна зубов была надуманной. Цвет вообще бесполезным. Да, цвет как бы исчез, растворился в клокочущей крови, вобравшей в себя всевозможные оттенки одного. И одно это светилось или темнело в зависимости от того, как на это смотреть. Сердце выскочило из груди и висело впереди выносной шахтёрской лампой, то разгораясь, то тускнея до вязкой тьмы.

Двадцать шагов.

Вихляев закрыл лицо грязными руками. Штейн плакал, тряся заросшими щеками.

«Надо что-то твердить про себя. Это отвлекает беду, — шепчет Евсюков. — Говори, говори, товарищ лейтенант...»

— Товарищ август, разрешите доложить: тридцать шагов, — пульс нормальный. Нам бы патронов, мы бы расстарались в стрельбе, — что-то глупое и несусветное наговаривал Елагин, просто и по-мужски ступая на родную землю. — А так приходится, вон, спины фрицу показывать, — идя в каком-то зеленовато-красном сиянии. — Мамке передайте поклон от сына. Ноги дрожат, конечно, конечностями, но герой из него всё равно образовался. Солнышко вот греет. Хорошо сейчас на белом свете пожить. Но и свету белому пожить хочется. А иначе его, видимо, не спасти. Кукушка. Кукует. Давай, матушка.

Так и дошёл Ваня до леска. А за ним чуть поодаль — и весь отряд. Так и случилось чудо ничему не взамен.

Обрадованные, растерялись и стоят в приветственном гуле.

Вдруг Штейн аж затрепетал весь:

— Тише, товарищи! Невидаль какая!

На солнечной полянке плескалась синяя бабочка, перепрыгивая с цветка на пенёк.

— Тоже мне невидаль.

— Ты не понимаешь. Это редкая. Это уникальная бабочка. У меня отец лепидоптеролог.

— Пидо... что? — засмеялся Суслов, но ему показали кулак.

— Это бабочка медведица. Медведица Менетрие. Загадка этого вида в том, что у него весьма обширный ареал наряду с исключительной редкостью. Она словно избегает человека, хотя обитает от Финляндии до Сахалина, но встретить её можно крайне редко и случайно. Представляете, тихо-тихо, не шевелитесь. Смотрите лучше. Представляете, — Штейн понизил голос. — Повторно этот вид встречается в точках, где его видели, только через пятьдесят—сто лет. Все её встречи с человеком случайны. Среди коллекционеров бабочек есть поверье, что она вроде синей птицы: увидевшему её человеку будет сопутствовать удача.

— Да это ей удача привалила — Елагина встретить!

Засмеялись бойцы. Трудно стало Ивану сдерживаться. Живой человек всё-таки, не только командир Красной армии. Бросили Штейнову бабочку — пусть красота порхает. Укрыли командира шинелями, нашли табачку, похлопали по мужественной спине, побалагурили в леске. Да и двинули домой.

Этого момента в биографии Василия Корешева нет, но Елагина он встретит впоследствии, и тот станет для него примером личного мужества.

«Ангел мой, пойдём со мной, ты впереди — я за тобой», — можно прочесть у Корешева какую-то народную молитовку.

Тёплые скелеты любви

Тогда фараон всему народу своему повелел,
говоря: всякого новорождённого [у Евреев] сына
бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.

(Исх. 1.22)

От всей деревни осталась одна печь. Выжгли деревню фашисты. Убили всех жителей. Мстили за партизан. Стоит одинокая печь посреди чёрной сажки, как свеча перед Богом. Тёплая ещё. Галя — больная заика — тоже одна одинёшенька. Убили всех, а она ещё не до конца понимает. Хочет идти искать братьев. Но как пойти? Смеркается. Вот залезла Галя в печку, свернулась калачиком и задремала на своих слезах.

На ту пору шёл солдат, отпавший от части. Приметил он тёплую печь и решил растопить. Натаскал головёшек и запалил. Только после этого начал думать, заснуть ли ему, влезши наверх, или пойти набрать мёрзлой картошки в пустой горшок. Голод не тётка.

Вернулся и видит, что сидит напротив печи чёрный уголёк с белыми глазами. Дымится чуть, и дым этот складывается в слова.

— Дядя, а в трубе много людей помещается?

Солдат смотрит и молчит, как что потерял.

— Ты мне должен сорвать что-нибудь, чтобы, когда уйдёшь, мне одной не скучно было.

— Да куда ж я уйду? Вместе пойдём.

— Нет. Мне братьёв ждать надо. Они, как мамку убил фашист, в лес убежали. Те пустили быстрые пули по следу, но вы не знаете моих братьёв. Мамка так и говорит: сорванцы. Они те пули обогнали и в бурелом утекли.

Посидели, как бы чего-то ожидая.

— Хорошо бы картошечки? Нет?

Воин слезился.

— Дядя, а в слезах можно убежать пламени?

Солдат думает, топорща лоб:

— Да только так и можно, наверное.

— Не грусти, дядя! Я ин просто перепеклась. Мне теперь здорово будет, а до того шибко болела.

И долго ещё разговаривал солдат с угольком, пока не настало утро.

Василий Корешев записал этот рассказ в одном из военных госпиталей. То ли такими рассказами раненые скрашивали долгие часы выздоровления, то ли действительно что-то подобное имело место. Корешев давно перестал анализировать и давать собственные оценки. Он старался добросовестно фиксировать всё, что ему предлагала война.

Фамилии мифического бойца он не знал. И не узнает, даже когда будет воевать с ним бок о бок.

Хорошо темперированный штаб дивизии

Офицеры склонились над картой.

— Ну, товарищи командиры, ваши предложения.

— Предложений не густо. Положить кучу народа или (пропуск) не наступать.

— Расстрелять бы тебя, Сизов, к (пропуск) матери.

— А что? Не вижу вариантов.

— Вот, товарищи, пример боевого командира...

— Но он прав, Егор Иваныч. Тут в лоб не взять.

— А нам спустили в лоб. Хош выполняй приказ, хош в почву сразу ложись.

Маленький саранчовый офицер неожиданно берёт чужое слово.

— Знаете, что такое искусство фуги? Хорошо темперированный клавир Баха.

Вся штука этой великой гармонии состоит в том, что поначалу тему играет первый голос, потом с интервалом второй, и дальше подключается третий.

— В три руки.

— Не перебивайте, Сизов. Продолжайте, Рубин.

— В классической однотемной фуге несколько голосов, каждый из которых повторяет заданную тему.

(Пропуск) — кто-то из офицеров выругался.

— Предлагаю атаку на укрепление выстроить по этим законам. Накатив в три волны на линию обороны. Главная тема доходит до определённого расстояния и ложится. Второй голос за ней проходит ещё полактавы, ой, а третий голос подхватывает снова главную тему. И так наплывами сыграем нашу солдатскую...

— Фигу. Причём имени их композитора фашистского.

— Зря вы. Сейчас Бах, Гендель, Бетховен с нами. Это всего мира композиторы.

И знают, с кем правда.

— И как это будет выглядеть в динамике наступления?

— Повзводно?

— Да.

— А вот как. — И худенький офицер принялся напевать: ...как потом будет подвывать Гленн Гульд баховским Гольдберг-вариациям.

Песня песней

Любовное письмо рядового П. своей жене, перехваченное контрразведкой полковника Кудасова.

«Когда я думаю о тебе, жёлтые комары пьют чуточку меньше крови.

Милая моя маленькая пампушечка!

По ночам я слышу твой низкий задыхающийся голос, который ещё не остыл от той скачки, которую ты устроила тогда будучи верхом. Ты не подумай, что я только об этом и думаю, но хочу, чтобы ты только об этом думала, и тогда ты притянешь меня к себе, словно ласковый магнит с сильным полем. Любовь — она же и такая.

Когда я думаю о тебе, листья деревьев шевелятся без ветра. Ручей сливается с ручьём в неположенном месте.

Когда вдруг останавливается снегопад — я о тебе думаю, и тогда он снова сыплет себя на фашистскую гадину.

Маленький бугорок в глубине твоей сердцевины — весь мой мир. Тайный бункер товарища Верховного. Там может укрыться от мира только один он. Любимый тобой главнокомандующий твоей страны. Мой и твой стальной вождь.

Помнишь, ты сидела у меня на коленях и у меня произошло. Сейчас бы нашей Земле такого тепла. Чтобы встали мы со страшной силой и озверели.

Больше всего боюсь не смерти. Боюсь застудиться в окопах и вернуться немощным. А я верю, что вернусь и мы обнимемся, как деревья. Ведь здесь, в лесах Белоруссии, я видел, как прикрывают одна другую берёзы, как разносят фашистские снаряды их стволы, и как плачут они друг над другом. Но мы будем радоваться, ведь будет весна, и плоть наша будет разрывать одежды.

Убило Сашу. Он так рассказывал о своей девушке, что мы оба не спали ночью и, кажется, оба... Ну ты понимаешь. Всякое тепло хочет тепла. Тело и есть тепло. Так чего же тепла стесняться? Когда станем холодной колодой, уже ничего не надо будет. Как же я к тебе хочу!»

Майор смотрит на адъютанта.

Буржуйка «Лазарь Каганович» пышет жаром собственного бесстрастия. Корешев спит в углу, но слышит этот позор.

— Арестовать сукина сына!

«Господи! — думает Корешев. — Неужели так важно читать письма своих? Чужие-то перехватывать не умеете. Джеймс Джойс, вон, жене такое писал. Классик».

— Нет никакой возможности. Убит под Вольском! — адъютант докопался до чего-то в папке.

— Тогда представить к награде! Отправить жене посмертно!

Майор тоскливо посмотрел в мокрое тёмное окно.

— В жопу!

Тайное пиво Лаврентия Берии

Антон сидел на болотной кочке и плакал. Немцы выгнали его семью из дома. Антон потерялся и стал обитать на болотах, питаясь газовыми рожками, но фашисты добрались и сюда в надежде найти торф для немецкого обогрева. Антон плакал от злобной решимости.

На поляну вышел длинный, как линь, старик. Обветренные губы улыбались, и оттого сразу трескались.

— Ты чьих? — строго спросил старец Антиох.

— Антон. — От неожиданности малый привстал: — Как ты меня видишь?

— Зряшный потому как. Ты чего ревёшь, нечисть?

— Помирать неохота.

— Кому охота? А тебе какая страсть помирать?

— Супостат.

— Супостат? А тебе-то что? Ты ж абие на человеческом горе кочуешь?

— Это как посмотреть. Мне русского духа надобно. А как повалят в ров всех необрезанных, так на ком я кочевать буду? Да и землю мне топтать нашу хочется.

— Нашу, — поправил старичок. — Ну и что удумал?

— Пойду в масле их утоплюсь. Танки и заглохнут.

— Думаешь? А как им вас отженить-то удалось?

— Как, как. Ай. Хитрый дед! Узнать хочешь!

Огромные лучи солнца ласкали закатную землю.

— Мне уж поздно. Да и тебе.

— Ладно. Яйки они сильно любят. Наберут яиц, напьются, и ну катать их по дому.

— Варёные хоть?

— А хоть и варёные. А нашему брату оттого худо.

— Отчего ж?

— Почём знать? Берёте в левую руку яйцо и по часовой стрелке обкатываете помещение. Написано.

— По часовой?

— По ней.

— Это вражина к нам противосолонь пришла, выходит.

Болото посинело. Солнце западало, как язык.

— Ну, не тужи. Нам, линиям, все одинаково дороги. Нечистые тоже, слава богу, свои, прости господи, не чужие. Лучше добром займись.

— Да как же это?

— А так. Добудь-ка мне хмеля.

— Ох, старец! Что удумал-то. Вот тебя обратить мне только в радость.

— Угу. Пошустри тут по огородам. Хмеля много в этом году навалило. Как снега.

— И куда его?

— В монастырь.

— Шутишь? Как я пройду?

— У западной стены свали.

— И что мне за то будет?

— Орден Красной Звезды, нечисть. Что будет? Не покрещу тебя вослед. Вот что. Знамение поберегу.

* * *

— Что это ты удумал, батюшка?

— Да вот, братец, пиво варю.

Монастырское подворье. Всё более деревянного зодчества.

— Квас же раньше производился.

— Так то для братии. А пиво — для дела. С божьей помощью, хм, и всякой всячиной, — добавил по некотором раздумье, — управлюсь, и дело будет.

Взгляд куда-то внутрь зрачков. Вроде с тобой разговаривает, а сам какое-то тайное делание творит.

- Под молитовку Иисусову оно и пойдёт.
- Что ж ты всё-таки удумал, святой отец?
- И не спрашивай, братец, удумал. Давай-ка, пособи лучше. Жимолость леса падает в тишину жбана. Делает ему хорошо.

* * *

- Антоха, ты здесь? — старец вышел к болоту.
- Здесь-здесь. Сыро мне. Я ж дровяной, мне бы в брёвнышки укататься.
- Ну, не грусти. Может, оно как-то и того. Вот что лучше. Прыгай в телегу с бочками и вези их аккурат в немецкий штаб, что в Совихе. Прикинься, как ты умеешь, ихним фельдфебелем. Будет считаться, что им от командования поощрение вышло.
- Хитрый ты, батюшка. Этому, что ли, тебя святые отцы учат?
- Ты язычок-то попридержи. Хитрости здесь немного, а проку будет ещё и впрок. Пусть мы с тобой и разное дело делаем, зато в одну сторону. Ну, давай. Хотел воевать — воюй.
- Кстати, старый. Раз уж пошла такая пьянка... Почему пиво?
- Его не любит Лаврентий Палыч, а, соответственно, и всякого рода дрянь. Ты вот тоже водочку предпочтёшь, небось?
- А то как же.
- В пиве от века больше благодати. Отсюда — иди и напои фашиста пивом.
- Есть, мой лорд.
- Иди уже, а то накрещу задницу.

«Под умное делание самые усердные в посте и молитве святые отцы варят сусло, которое переправляют на немецкие склады. Пиво это продельывает в немцах разлагающую работу. Те уже не хотят воевать. Потому немецкое командование больше гонит шнапса», — занесёт в блокнот Корешев, как новую байку, ходящую промежду рядовыми.

Земля заполнена

Земля заполнена людьми только по внешнему радиусу. В центре Земли что? Словно ангелы, окружающие свет, мёртвые Земли облегают в едином порыве её ядро. Но что есть ядро Земли? К примеру, у Луны ядро не сформировано. А у Земли — это ярко выраженный силовой центр. Так что же это как не смерть, притягивающая своих? Тогда физически Смерть — это железо.

Пуля есть первородное жало смерти, вылитое из его ядра путём прохождения магмы.

Люди всегда знали, что железо несёт смерть. Бедный камень не выдержал конкуренции и был утоплен вместе со своим несчастным поэтом.

Копья, стрелы, ножи, ядра, пули. Всё, посылаемое ядром, возвращается ему сторицей. Что же нужно от нас железной болванке из несусветных недр? Слышали ли вы что-нибудь о геостационарных орбитах? На них физическое тело болтается вкруг Земли совершенно свободно. Не падая и не улетаая. Нечто схожее мы видим с земной корой, умащённой миллиардами мёртвых наших собратьев. Ядру нужно постоянное присутствие. Мы его зеркало, в которое глядится всесторонне развитое Стерво.

* * *

«Что ж ты затих, сучонок! Давай, вылезай!»

Калиса Мухина чуяла врага за версту. Запах оружейной смазки был ни при чём. Мухина чуяла вражье семя, не выдавленное гадом свойство — как злой перестилающий землю яд. Эти сухопарые немские мальчики не имели возможности втыкать себя в женскую суть, и Мухина использовала их замешательство, их скопление как бывшая проститутка нэпманского ресторана «Яр». Да, она знала мужчин. И знала их запах, копящийся в отвесных мешочках. Злость обладательницы была ей также ведома.

Она вспомнила, как насиловал её пьяный лётчик, когда она пришла по прежнему адресу, а нашла там Центральный дом ГВФ.

Ей понравилось уже после. Когда она с ним разделалась.

И теперь её извращённая рысь рвалась к своей стерве.

Убийство — дело психопатов. Война дала им это право.

* * *

Наземный солдат не любил снайперов. Во-первых, они действовали исподтишка, а во-вторых, подставляли своих, заставляя противника действовать схожими методами. Впрочем, первыми начали не мы.

* * *

Пётр Якименко очень хотел отличиться. Его направили в школу снайперов, научили ловить цель, ровно дышать и часами недвижно сидеть в засаде. В принципе, тело спортсмена было готово к этому.

Грязь используется как подлокотник. Земля — лучший упор из всех планет. Если выбирать из звёзд, то против Солнца пуля летит в два раза дольше.

Этому обучали. Как и тому, что русская земля — земля солёная. И русские — соль этой земли. Поташ, перегной — всё на стороне местного населения, поэтому ступать по поверхности нужно не оставляя следов. Для этого смазывать подошву венгерским шпиком.

Ему ли не знать?

Якименко ступал параллельно земной коре, едва не скользя. В этом ему не было равных. Белый гвардеец хотел вернуть свою родину, а для этого надо было стереть с поверхности тот тонкий верхний слой, который скопился за четверть века. Культурный слой, коммунистический, кладбищенский, человеческий. До той поры он шёл по раскалённым углям. Их надо затушить и снять американским трактором под ноль.

Что-то мелькнуло в березняке.

Что-то угрожающее. Родное. Неизбежное.

* * *

Мухина узнала его сразу.

Пётр — её камень.

Три года вместе.

Полы в коммунальной квартире скрипят, как сосны, из которых были напилены эти оструганные и крашенные доски, говорящие о квадратном метре. О, квадратный метр сна! Квадратный метр неволи, вольный, как колобок! Мы знали это всегда. Те, кто любит погонный, живут в одномерном мире, и чтобы вернуть обратно смысл, не достаточно сосен, нужны ещё и ещё... люди вроде него, которые умеют любить на одном квадратном метре одной шестой части суши. Как вписывался его золотопогонный метр в квадрат, как умел описать её собой!

На рассвете маникюрными ножницами Мария подстригает ногти, начинающие мешать при нажатии на курок.

* * *

Якименко тоже заметил движение на берёзе. Он выследил стрелка. Пётр узнал свою Лису в оптический прицел курортной снайперской винтовки. И вышел на полянку с земляничным кустиком в руке. Кусая ягоды, как сытый соседский кот.

Вспомнил, как водила она его на экскурсии в Польскую соляную пещеру и как они целовались солёными губами, только что лизнувшими статую Коперника.

Пётр — весёлый камень, снятый с её души, вновь навалился валуном на тощую женскую грудь.

Отвали камень от гроба, Мария!

Пётр — погонный метр, мёртв.

Мухина снимает сапог, ставит винтарь к себе лицом и жмёт большим пальцем левой ноги куда-то вниз себя. Так, не глядя, нашаривают педали органа в Большой Московской консерватории.

* * *

По какому-то варварскому поверью стриженные ногти нельзя разбрасывать вокруг. Нужно собирать в платочек и выкидывать централизованно, а лучше сжигать с волосами (которые, к слову, совсем не горят). Иначе душа по смерти, странствуя три дня на земле, не сможет посещать места былой славы, а вынуждена будет собирать свои ногти. Ни единая кость не сокрушится.

И теперь, умерев, душа Мухиной на собственной шкуре поняла важность соблюдения традиций. Ей дан был веник и крест, чтобы она складывала светящиеся полумесяцы ноготков у его подножья. Искать приходилось на коленях без фонаря. Спина души ныла от выгнутости роговых пластинок.

— Ногти-то не мои! — сообразила на третий день душа Калисы. — Ногти-то мужские. Гляди, как фосфоресцируют в лунном свете, а это признак мужских гормонов. Помнится, её последняя любовь так и сиял в лучах ночного светила.

— Почто мне чужое подбирать? — задавала душа вопрос.

— Не надо было в мужиков прорастать! — отвечал ей какой-то динамик с позорного столба.

— Ну и бог с вами, — думала душа Мухиной, наклоняясь ниже, целуя собранные колючки, отправляя их в новый верблюжий рот.

Сосхоша

Искали леса, но степь держала их на ладони перед вражескими налётчиками. Впереди показался одинокий яблоневый сад. В том году яблони плодоносили плохо, и этот сад не был исключением. Строений поблизости неросло. Это был какой-то колхозный отросток — захолустье.

Яблоням было по многу лет, и когда бойцы попадали к их ногам, увидели твёрдую, умелую в хранении землю.

Загнавшая их пара фокеров гудела невдалеке.

— Сейчас сообразят. Больше спрятаться негде.

— Хоть бы яблочка напоследок.

Гул приближался.

Ветви глядели голо, бедно. Листья ещё держались, но уже врассыпную. Земля вытерта насухо.

— Сосхоша.

— А ты знаешь, Кузнецов, что перед смертью или тяжёлым ранением у человека появляются вши?

— У меня вроде нет.

— Так и у меня. Стало быть, рано ещё.

— Короеды зато в наличии, — задумчиво проговорил прильнувший к корням пехотинец. — Кажись, на заход пошли. Держись, славяне!

Гуси-лебеди прошли на бреющем и взмыли вверх.

— Прикрой, яблонька!

Сейчас земли должны достичь сброшенные ими авиационные бомбы.

Время. Разрывы? Нет. Какой-то странный шум лопающихся бобов. То тут то там на ветвях вспыхивают фонарики и тут же превращаются в спелые красные плоды.

Наблюдатель со стороны мог видеть, как бомбы, достигнув сада, превращаются в яблоки.

Медведь

Немцы шли. Жёсткое излучение земли отражало их шаг. Медленная власть русского солнца скупилась на злобную простоту.

«Но русские сумели повернуть избушку к себе передом», — скажет позже гаубштурмфюрер СС и будет прав. Перевернув на себя ушат земляной энергии, мы смогли заручиться подмогой мёртвой материи.

Когда они вошли в лес, бурый ел сухую малину со своего зимнего огорода. Заслышав чужаков, медведь повёл бровью и вдохнул доносящийся воздух. В его токе содержалась ружейная смазка и скрытый порох. Бурый крякнул и пошёл драть кору.

Увидел, как немцы пытаются приручить пули. Медведю не нравилось вторжение в естественное течение, в природу, в его жизнь, в лес как в дровяную мишень для свинцового молодняка.

Сначала бурый думал, что это алкоголики из деревни. Те любили располагаться на поваленной сосне. Но с приходом войны сделались тише.

Эти тоже, кажется, утомонились и устроились на привал.

В буром было пудов двадцать, и поначалу он решил просто уронить их на спящих пришельцев. Но по здравому размышлению понял, что так много не навоюешь и нужна тактика партизанской войны.

Медведь прислушался. Приручавшие пули, заставлявшие их больно кусаться, рвать живое мясо и причинять смерть, ушли. На задворках деревни, судя по запаху, остались слабые никчёмные воины, трусы и дураки.

* * *

Невдалеке штабные ассенизаторы сливают офицерское парное...

Юрген закончил опорожнять цистерну и перекинул рукав на держатель. Говно уже почти не расплёскивалось, как поначалу, когда он делал всё без должной сноровки. «Жизнь отвратительна, как руки, но добрее», — подумалось ему.

Оставалась последняя ходка. Подкатил Янычар — на допотопном хорьке. Янычар, как всякий восточный мудрец, гонял лихо, расплёскивая радость на поворотах, а мыслил неспешно и противоречиво.

- Не может такого существовать. Нemoшь всегда образуется в местах согласия.
- Ты о чём?
- Рубец пропал.
- Тот, что мы вчера намечали?
- Да. Воздушный намётот.
- Образец для приближения?
- Он.
- Грешно как-то.

Молча покурили, пока сливалось янычарово золото. Юргену от силы двадцать пять, но он учился в Марбурге, оттого относится к жизни философски.

— Облака сегодня катятся без ветра. По инерции. Как думаешь, не слишком Земля разогналась? — спрашивает грязный фельдфебель.

— Ничего не мешает ей так думать. — Юрген знал, что Янычар любил парадоксальные формулировки и подкидывал ему в огонь всякого кизяку. — Или иначе.

Дерево каштана давно не ставило свечек. Ему было незначим. Его погубила окрестная маслянистая почва. На стволе белела буква «К» — смысл которой терялся где-то среди инородных геодезистов, топографов, военных и лыжников.

Мириады существ миллионы лет мусолят смыслы. Человеку те попадают уже сложившимися и легкоусвояемыми, но на это уходят колоссальные ресурсы, ведь смыслы надо разжевать, измельчить, высушить, сублимировать. Сидит такая черепаха и всю жизнь думает одну свою крохотную деталь мысли. Но зато когда она подойдёт общему механизму, мы её используем даже не замечая. Цикады и жуки, птицы и динозавры — все участвуют в медленном приращении гумуса значений. Как перегной необходим для высших растений, так обмусоливание фактов подготавливает формулы и парадоксы мышления.

Двое садятся в кабину и молчат.

Затем Янычар начинает рассказывать о себе, Юрген о себе. Их рассказы не пересекаются вовсе, не являются ответами один на другой, не дополняют и не продолжают друг друга. Два параллельных прямых повествования никогда не пересекутся. И им это нравится потому, как двое, словно в детстве, идут по рельсам. Один по одному двутавру, другой по другому, порой оступаясь на шпалы, но продолжая свой неспешный путь по наклонной лестнице.

— Знаешь, почему я здесь?

— При штабе?

— Угу. Ещё — в армии — скажи. Я сижу в этой обосранной машине потому, что у меня нетдержание. И только на этой работе я могу не стесняться своей беды.

— Заходи.

Юргену всё-таки нравился этот турок.

* * *

Медведь фыркнул и отвернулся. Ещё чего не хватало. Совсем худые вояки. Эти — не угроза. Их даже жалко.

И он пошёл глубоко в лес, чтобы унять в себе вскрывающую силу медвежатника. Шёл медведь долго на четырёх косых лапах.

Рычал и всё же услышал замерзающего человека. Не немецкую утварь, но русский всамделишный дух.

Вот какой эта история дошла до военкора Василия Корешева.

Протоиерея Кирилла гнали в Германию на принудительные работы. Везли в теплушке вместе с какими-то уголовниками. Не поделившие что-то между собой стали драться, и когда святой отец попытался их разнять и уговорить, попросту выкинули его из вагона.

Стояла снежная зима. Отец Кирилл упал в огромный сугроб, как в перину, и не расхибся. С трудом вылез из него, огляделся — лес, снег и никакого признака жилья. Он долго шёл цельным снегом и, выбившись из сил, сел на пенё. Мороз пробирал до костей сквозь изношенную рясу. Чувствуя, что начинает замерзать, он стал читать по себе отходную.

Вдруг видит: к нему приближается что-то очень большое и тёмное, всмотрелся — медведь.

«Загрызёт», — мелькнула мысль, но бежать не было сил, да и куда? А медведь подошёл, обнюхал сидящего и спокойно улёгся у его ног. Теплом повеяло от огромной медвежьей туши и полным доброжелательством. Но вот он заворочался и, повернувшись к служителю культа брюхом, растянулся во всю длину и сладко захрапел.

Долго колебался поп, глядя на спящего медведя, потом не выдержал сковывающего холода и лёг рядом, прижавшись к тёплому животу. Лежал и то одним, то другим боком поворачивался к зверю, чтобы согреться, а медведь глубоко дышал во сне и обдавал его горячим дыханием.

Когда забрезжил рассвет, батюшка услышал далёкое пение петухов. «Жильё близко», — мелькнула радостная мысль, и он осторожно, чтобы не разбудить медведя, встал. Но тот поднялся тоже, встряхнулся и вразвалку пошёл к лесу. А отдохнувший человек пошёл на петушиные голоса и вскоре дошёл до небольшой деревеньки.

Пытаясь убить друг друга, мы стали одним целым (Микки Уорд)

Лавина — есть красота движения. Цунами — предельная красота. Красота, если конечно, наблюдать снаружи. Но и оказавшемуся внутри устранившему человеку, жертве — эта красота катит в глаза, и он чувствует в последний момент свою причастность диву дивному. Война — тоже цунами, подземный огонь, мощь первозданная, отголосок титаномахии. Причастные уже мечены божьей милостью. В глаза вливается олово династической, стихийной страсти.

Золотая планка «За ближний бой» давалась фрицам за хренову тучу штыковых атак. Калатозов знал это остро, как никто другой. Обучаясь в разведшколе, до этого боевому самбо у Харлампиева, он постепенно усилился и стал выигрывать все свои схватки.

Этого — с планкой — Калатозов уже видел в деле. Работает на загляденье. Ворвался в соседний окоп и моментально уложил троих наших. Сам Калатозов не успел. Пока разделался с одним, другим...

Вот и решил дожидаться в засаде, соорудив схрон из промокашки осенних листьев.

Дождь усилился. Укрытие давало течь, но опытный воин не обращал внимания на такую досаду.

Вспомнился товарищ по госпиталю. По ночам тот вставал и отправлялся на кухню. Когда открылись обстоятельства, оказалось ещё веселее. В полку он каждую ночь отправлялся за линию фронта. Возвращался под утро — всякий раз с «языком». Сдавал его в штаб и тут же валился спать. Когда его стали представлять к награде —

сильно удивился. Оказалось, что с детства страдал лунатизмом. Мало того — никогда до этого не держал в руках оружия и был давно комиссован.

У Калатозова — два ордена Красной Звезды.

У врага — Железный крест и планка.

Как-то Лёва Рубин сравнил Звезду с колоколом, а Крест с немецким органом. Калатозов никогда не слышал органа, зато хорошо помнил Светлую седмицу и Пасхальные перезвоны по всей округе. Отчего было радостно и щекотно.

Достал испытательный образец бесшумного автоматического пистолета с патроном калибра 7,62. И тихонько отложил. Учует. Всё равно учует. Нет ничего бесшумней ножа и сжатых зубов.

Пусть пули летят, как капли дождя. Намочит он нас? Наверняка. Остановит? Нет. Где вы видели, чтобы дождь воспрепятствовал человеку?

Патрон 7,62 родился давно, но святость его размерности ещё не придали.

Пули — капли света, доведённые до отчаяния звука. Лягушка видит свет с любого расстояния. Просто потому, что разрешение её глаза — один фотон. Какой бы ни была Вселенная, луч света дойдёт до лягушки. Единственное, увеличится продолжительность вспышки — волна удлинится. Сердце человека воспринимает пулю как частицу света. И неважно, сколько она летела и откуда выпущена. Сердце уловит её однажды.

Тшш!

Немец шёл один. Немец шёл тихо. Здесь пролегал его охотничья тропа. Тут он охотился за светлыми скальпами. К осени шкурки славян потемнели и сделались от этого менее ценными. Впрочем, добывать их стало сложнее.

Солнце жгло его дёсны, как зубной порошок.

Калатозов учул противника раньше. Карл-Хайнц продвинулся лишний десяток шагов, прежде чем ощутил присутствие.

Прыжок был внезапным, однако опытный боец успел блокировать первый выпад. Нож по касательной вошёл в дерево.

«Если нечего терять, отдай всё, что у тебя осталось». Калатозов шагнул навстречу.

Что такое реальность, которую мы воспринимаем? Изначально вокруг человека нет ничего такого, помимо вакуоли первичного хаоса, что, подобно слизи, облекает человека. Тот универсальный материал, из которого строится мир по образу и подобию. По образу и подобию чего? Мир приходит на ощупь. Сон разума рождает фантазии. Мозг даёт команду «вижу». Но её ещё надо материализовать для ощущений. Человек тянет руку (которая тоже суть — продукт оболочки) и щупает. Что? Мгновенно — от мозгового импульса — преобразовавшуюся материю. И вот в руках поручень или прилетевший из ниоткуда мяч.

Или штык-нож, или граната.

Калатозов вцепился в горло противника, но ловкий борец ушёл от захвата и завладел преимуществом, оказавшись за спиной. Прошёл на душающий.

Как выглядит эта схватка в реальности? Два кусочка слизи пытаются втереться друг в друга. Похоже на взаимопроникновение жидкостей, но с большим выделением тепла.

Ангельские вои

с чего мы взяли, что ангелы красивые?
ангелы добрые
а много вы видели добрых
красивых людей?

Да, читатель, бомбы, летевшие на нашу Родину, были её ангелами. И никак иначе. А как по-другому? Землю-то и до фашиста захватил зверь лютый. Ангелы фугасные и бронебойные, к несчастью для наших дедов и к счастью для нас — их внуков, взялись за очищение. Как бы страшно это ни звучало. Прощение надо заслужить. Теперь уже обеим сторонам.

В одну страшную ночь бомбардировки ребёнок Зуевых, мальчик Рома, поднялся на крышу искать фугасных снарядов и тушить их со взрослыми. Красивые пернатые звёзды летели с неба к земле. Сыну Зуевых было шесть неполных лет, и он был смышлёным в папу. Бомба упала рядом с ним, но не взорвалась и не загорелась, а стала смешно вертеться. Рома взял её в руки и понёс домой. Дома завернул в платок и стал укачивать, как маленькую сестру.

Что было дальше?

Слава богу, рядовой ангел успел уволиться в запас, и пустая болванка долго ещё стояла в углу зуевской комнатёнки, изредка выполняя роль прессы для квашения капусты.

А то ещё военный один попёр через минное поле, так ангелок наш, уволенный в запас, — всю ту лютую дорогу на себе его протащил — как приподнял, так и нёс близёхонько от земли, грызу себе заработал. Бо ангелом тяжело переносить физические страдания и тяжести. Знали вы такое?

Небесных воинств Архистратимзи, молим вас примсно мы, недостойнии, да вашими молилтвами оградите нас кромвом крил невещемственных вамшея славы, сохраняюще ны, припамдающия прилемжно и вопиюущия: от бед избавите ны, ямко чиноначамльницы Вымиших сил.

Артистическая уборная Гимли Закон Бэра

Адик был водной формой жизни и знал это. А что есть река? Граница между мирами. Между светом и тьмой. Но Гитлер придумал себе иную формулу. Между положим и крутым. Куда возвращается европейская Земля? Какой пологий, а какой крутой берега в Северном полушарии? И Гитлер осознал, что он круг. Более того, он понял, куда ему надо вести свою стальную армаду. Водой будет он.

Фюрер вошёл в кабинет, как брызги фонтана. Актёр. Стратег. Император. Гитлер знал о себе больше остальных и никогда бы не отказался от этого поприща. Множество проживаемых жизней манило сильнее власти.

Белый китель на клейком листовном тельце.

Гитлер приветствует молодого героя, отличившегося на восточном фронте. Треплет его по щеке (мы ещё вернёмся к этому жесту):

— Невозможность смотреть на свет и прозревать темноту диктует человеку снижение градуса. И он придумывает аполоническое начало и дионисийство. Война такой же откат перед громадой божества, осада его, так сказать, желание взять измором.

Гитлер творит:

— Отчего воин не маг? Я сам видел, как Карл-Хайнц плавил руками стёкла и вставлял их в рамы. Или голосом ломал воздух на осколки, из которых потом складывал не слово, а печь. Звуки в его исполнении — это ящерицы, а камни, на которых они греются, — ближайшее окружение. Не уверен, что воин вполне не поэт.

Вновь берётся за брыли.

Потрепать по щеке — по-фюреру — означает измерить ход времени в человеке. У евреев часы идут в обратную сторону. Гитлер определял так свой-чужой — на ход посолонь.

Ибо — опять же — Ади был формой воды, закручивающейся в Северном полушарии по часовой стрелке.

(А иудеи, получается, вышли из земель чуть южнее экватора.

Да и Земля раньше вращалась в обратном направлении — впрочем, очень давно.)

Рядом светился рейхсфюрер. Гимли любил электричество.

Его огромные рыжие волосы (коих в действительности не было) вставляли дыбом при появлении юнца любого разряда.

Плавленные сырки — также результат страсти Гимли.

Гитлер не то чтобы любил войну. Он хотел титанически двигать народами. По мановению его руки великое переселение должно пойти вспять. (Изначально это его план — повернуть Северные реки, и только потом его подхватят большевики.)

Гимли хотел торжества. Он вообще любил торжествовать.

Геринг носил горизонтальные штаны.

Геринг хотел петь в «Паяцах», потому что любил вдыхать воздух. Дабы лёгкие его наполнялись искренностью, вызвался летать на воздушных телегах, в чём и преуспел в качестве движущей силы. Лично сбил. И спел.

Итак, мы имеем: водяную крысу, зигующего молниеносца и спешенного певца воздуха.

Три тенора.

Идея Геринга, одобренная фюрером. Отчего не спеть, коли лёгкие тяжелы оральными звуками?

Впрочем, им предстоит исполнять далеко не Вагнера.

Гитлер мочится под себя. Геринг не умеет подтираться. Гимли же вообще обходится без белья, ибо его рыжая борода поспевает везде.

Три тенора на исторической сцене...

Глава 2

Красная свитка

Пришлось чёрту заложить красную свитку свою чуть ли не в треть цены жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке; заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год: береги её!» — и пропал, как будто в воду.

Н.В.Гоголь. Сорочинская ярмарка

Мур

К новому году войны «Пантеры» и «Тигры» всё ещё оставались сильным немецким козырем. Толстая броня последних считалась до поры неуязвимой.

Маленький саранчовый лейтенант Лёва Рубин собрал в кружок однополчан. Поставил Лещенко. Затянулись махорочкой. Расслабились. Тут Лёва и говорит:

— Записываем на грампластинку... мурлыканье кошки. И транслируем через громкоговорители на наступающего противника. Это же кошачьи. Двигатели должны заработать в такт. А мы мурчание замедлим до восемнадцати оборотов, и движки заглохнут.

— Где записываем?

— В тылу, где же. На апрелевской фабрике.

— Там сейчас бомбы делают.

— Оборудование-то осталось. «Священную войну» — там писали. Неужели кошачье мурлыканье сложнее?

Слышен крик.

— Рубин! Лёва! К начштаба.

Звали громко, и лейтенант нехотя повиновался.

Пунцовый замначштабкомдива.

— Ты, Рубин, у нас голова. Мыслящая кучерявая голова. Потому с этого момента входишь в состав специальной группы, задачей которой является выполнение особо важных и сложных заданий в тылу противника. В курс дела тебя введёт капитан Елагин.

Дым буржуйки особый — деревья не горят, а подслушивают.

* * *

— Кто такой этот Рубин? — вечно недовольный Калатозов взял за пуговицу Корешева. — И вообще — что с нами делает скрипач?

— Он пианист.

— Того хуже.

Двор небольшой деревеньки в два десятка домов. По двору вышагивает петух.

— А что с нами делает поп тебя не интересует? Или узбек? Или я, на худой конец?

— Узбек хоть никуда не лезет. Свой советский человек.

— Не скажи. Всякий восточный человек думает, что обладает тайным знанием.

Когда наш Анвар роет окоп в мёрзлой земле, он наверняка думает, как откопать некий артефакт, который бы положил конец войне.

— Я всё слышу, — кричит им советский узбек.

— Вот и слушай.

Калатозов славный воин, но малость шепутной без действия. В перерывах между схватками его поступательное движение проявлялось в раздражении.

— Ну скажи, Дядь, чего мы ждём? Да бог с ним, подождём. Чего мы с таким воинством навоюем да на спецназим?

— Командованию виднее. — Дядя смотрит на свой гноящийся палец. Прокопчённый в боях, он по большей части молчит. Но когда заговаривает — звучит с дымком.

Отряд квартирует в крайней избе. В доме топится печь, на дворе дрова и большой обеденный стол.

За столом — Корешев, Калатозов, Анвар, Дядя, Лёва Рубин, Отец Кирилл — настоятель закрытого храма, привезённый под конвоем из дальних рубежей.

— Что ты, Василий, всё время пишешь?

— Так он же корреспондент. Ему по штату положено.

Корешев только улыбается и вновь склоняется над тетрадкой.

Карандаш его твёрдый, чтобы наподольше хватало. Царапает деревянную бумагу смело и отрывисто.

— А я в Москве метростроителем работал, — подливая себе чай из самовара, удивил батюшка — открытый улыбчивый не старый ещё человек, на котором никак не отпечатались годы неволи.

— Святой отец, Вы — и в преисподней?

— Что с того? Войно-Ясенецкий зону выхаживает по врачебной части. Благо у всех людей есть гражданская профессия. Я вот — мастер-проходчик.

— Горняк, значит. И что на Москве?

— А вот интересно, что... Известно ли вам, что почти все входы в метро находятся на месте разрушенных храмов и монастырей? Библиотека Ленина — Крестовоздвиженский монастырь, Кировская — церковь Флора и Лавра, Красные ворота — Трёх святителей.

— Не врёшь?

— Из колокольни — в штольни, — подмечает чувствительный к слову военкор.

— Говорят, недавно станцию новую открыли — «Завод имени Сталина», — мечтательно Рубин.

— Это без меня, — тихо отец Кирилл.

Дядя встаёт за дровами:

— И чего?

— Как известно, Московское метро носит имя Лазаря Кагановича...

— Лазаря Моисеевича Кагановича.

— Нам интересно, что именно Лазаря. Новозаветный Лазарь — друг Спасителя нашего Иисуса Христа.

— Пошло-поехало...

— Так вот: на правах проходчика смею утверждать, что Метрополитен имени Лазаря — это пребывание столицы во гробе с последующим воскрешением её из мертвых.

— Ну, загнул. И сколько нам в гробу гнить?

— Судя по всему, война закончится в четыре года.

— Етить. — Дядя рванул в дом: — Молоко!

* * *

Третий день подходит к концу. Солнце садится за дикие огороды.

Изба как бы пророщена из маленькой сосновой шишки. И внутри всё точно naroslo само на себя за долгие годы глуши.

Белая кошка спит под столом. Куда-то ходила. Выложила пойманную мышь перед отрядом. Калатозов заметил — «языка» взяла. Теперь отдыхает.

— А они докладывают, мол, фрикционы сгорели, ленивцы на гусеницах поломались. — Дядя кого-то костерит. Палец его так и гноился, пока Анвар не надписал ему какой-то иероглиф поверх грязной повязки корешевским алмазным карандашом.

— Когда-нибудь все танки поднимутся в воздух и полетят. — Рубин мечтательно затынулся.

— Так только и делают, что взлетают на воздух.

— Ты не понимаешь, Калатозыч, раз есть гусеницы, они когда-то должны превратиться в бабочек.

В избу входит Елагин:

— Товарищи бойцы! Завтра отправляемся. Место назначения — Илецк.

— Это ж, мать его, Оренбург. Тыщу вёрст в обратку. А как же «в тылу противника»?

— Отставить пререкания. Сержант Калатозов, смирно! Ты вроде военный человек, Толя. Заслуги перед Родиной имеешь, а команды не уясняешь без разжёвывания. Это приказ. Вольно.

* * *

И пошли и поехали по Русской земле против солнца.

В дороге попритёрлись. Минуемые станции, как рубцы, затаили кое-какие раны.

Дядя вписался в грохочущие поезда как нельзя лучше. Когда он, контуженный, орал в лесу, его все одёргивали и затыкали. В теплушке же его голос лучше всех проникал через обкатку колёс.

Мумия мира

— И что? — Анвар говорил по-русски с вологодским акцентом.

— Какие-то поповские чудеса.

— А что в них ненаучного? Может, это пока не доступные нам знания. Обыкновенная древняя медицина.

— Струбина. Алхимия одна сплошная.

— О чём это вы? — Корешев подсел к мирно спорящим бойцам.

— Ну, давай, расскажи писателю свою байку.

— Почему байку, Василий Военкорович? Всё чистая правда.

— Ну, давай, не тяни кота. — Калатозову словно хотелось ещё раз пережить какое-то чувство. — Как на духу.

— Ранения свои получил я ещё в начале войны, когда мы драпали всё больше. Выписался из госпиталя и поехал на родину в отпуск. В Ташкент. А до войны я работал в Археологическом музее. Младшим научным сотрудником — не суть. Ну и зашёл на огонёк к своим. А там — полная неразбериха. Один директор да смотритель остались. Ну, попили чайку, почеломкались, я и ушёл.

— Почеломкались — о как! Это узбек-то. — Калатозов доволен.

— А через неделю мне назад ехать — через столицу, стало быть. Вот дня за три до отбытия заходит ко мне директор наш Хусан Гарафович и просит сопроводить до Москвы груз некий, чтобы передать в фонды Пушкинского музея. Мне-то что? Я согласился. И только на вокзале, когда два носильщика еле-еле дотащили мой спецгруз, понял, что это мумия. Причём без каких либо мер предосторожности. Деревянный саркофаг: бери — не хочу. И нечто запелёнутое коричневыми бинтами с надписями на них. Да, думаю, подкузьмил Хусан Гарафович. Но время такое, что поделаешь. Внесли мне это хозяйство, и мы поехали.

— Во заливает.

— Сам-то ты куда ранен был?

— В руку и... и в жопу.

— В ягодицы стало быть.

— В неё. Так вот... — Анвар повернул разговор больше к Корешеву, а Калатоза оставил как бы слушать его в профиль.

— Ехать долго. В дороге от нечего делать стал я копировать надписи с мумии на свои бинты. Карандаш послунявлю и рисую. Рисовал я всегда неплохо. И так много скопировал. Ехали-то долго.

— И мумия у него не завонялась даже.

— Да чему там вонять-то? Она разве что в прах может рассыпаться. Но нет, вроде передал. В Москве меня встречали. А я с вокзала сразу в госпиталь отправился. Они швы снимать должны были...

Анвар взял актёрскую паузу. Затянулся. Долго выдыхал дым кольцами.

— А в медсанбате, когда мои разрисованные бинты сняли, посмеявшись надо мной, увидели абсолютно гладкую руку и эту, как ты сказал...

— Полужопие.

— Вот, — как у младенца. Да на, смотри сам, — и хранитель мумии протянул левую целую руку.

— Хорошо хоть не...

— Значит, и не было ничего. Врёт или приснилось ему. — Калатоз не кипятился, без злобы. Чувствовалось, что всё одно веселей бойцам с такими байками.

Святой отец в уголке только головой качал да улыбался в тёплую бороду.

Каменная соль

В Илецк прибыли из Уральска по недавно отстроенной железной ветке и сразу направились на соляной купол к месторождениям.

Анвар в дороге поднабрался информации и выступал гидом перед нашими войсками:

— Протыкания соляным куполом галечников и глин третьей террасы реки Илека свидетельствуют о молодом возрасте поднятия соляного купола. В горизонтальном сечении соляное тело имеет форму, близкую к эллипсу. Плоская вершина соляного купола площадью в два километра обрывается крутопадающими склонами. Купол продолжается, по данным геофизической съёмки, на глубину по меньшей мере километра.

Впрочем, на подъезде полуторка застряла.

Гипсовая гора возвышалась невдалеке, покачиваясь в солимом ею воздухе.

Двигатель внутреннего сгорания сжигал не только воздушно-бензиновую смесь. Что-то ему передавалось от горы, от озера, от глубины залегания. И поршни толкала какая-то новая, отнюдь не лошадиная сила духа. Назовем её — буровзрывные работы.

Выбрались.

Обнесённая забором выработка. Несколько вышек — входы в шахты, выходы воздуха.

Кому-то показалось похожим на лагерь. Кому-то на монастырь.

Военизированная охрана пропустила на территорию. Земля под ногами — серого цвета бенгальских огней.

Послышалась музыка. Странная, сухая, тревожная.

Из трёхэтажного каменного, по всей видимости административного корпуса вышла группа военных, поприветствовавшая только Елагина.

— Серьёзные ребята.

— Куда уж. Целый полковник имеется.

— Кушать хоца.

— Товарищи вновьприбывшие! — выдвинулся красивый большеротый оратор. — Времени у нас в обрез. Потому, как всегда, с колёс — за дело. Враг не пройдёт, но наша молодая страна нуждается, как говорится, в живом представительстве. Вы те плечи, на чьих. Партия вам доверила, и вы понесли. Мужайтесь в нужном направлении. Естественные надобности будут удовлетворены. Всё для фронта! Тыл вам помочь! Не теряйте же ни минуты, сынки! Вперёд, за Родину! За Карла и Фридриха!

— Похоже, кормить не собираются.

Впрочем, группу сопровождали в столовую, одарили гречневой кашей на сливочном масле и выделили бутылку спирта. Общение пошло теплее. Приставленный к ним гражданский обещался показать все красоты и чудеса Разлома, но для начала нужно было кое-куда спуститься и кое-что забрать. А как же!

Седенький сухощавый старатель в шинели без знаков различия сам был похож на большой кристалл каменной щёлочи. Впрочем, едкости в нём не наблюдалось — одна сплошная польза и вкус.

— Нам нужна старая вертикальная шахта. Давным-давно там что-то размылось и поверху образовался провал.

— И на кой нам испорченное и неудачливое?

— Озеро, кстати, также результат локальной катастрофы. Песчанка разлилась и затопила открытые выработки. А теперь вон лечим полстраны.

Проводник повозился с замком и открыл небольшую железную, ещё не ржавую дверь:

— В старой шахте соль имеет сильную щелоческую материю, как сказал классик.

— Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на погребение людям. — Клирик тоже вспомнил классику.

— Пошли на разминовку.

* * *

Спускаясь по искрящимся ступеням в тёмную бездействующую шахту, неслышно переговаривались.

— Честно говоря, струхнул я: думал, нас в Острог конвоируют. Хитрым таким оборотом. Поп опять же, дядя с оккупированных территорий. Ну, слава богу, ошибся, — Калатозов передёрнул плечами.

— Всегда бы так ошибаться, — Рубин тоже чему-то радовался.

Лестница мерцала нездешним светом и казалась невесомой, хоть и поскрипывала отдалённым земным. Размытая водой затвердевшая соль была похожа на кучевые

облака. Отец Кирилл не верил глазам и всё ожидал встретить восходящих ангелов, готовый сразу принять сторону и вжаться в стену.

— Прибыли! — проводник остановился и сделал жест подойти. — Товарищи, пособите малость!

Из крипты выкатили большую двухсотлитровую окаменевшую с годами деревянную бочку.

«Омулёвую» — как потом окрестит Дядя.

— Теперь это ваш спецгруз. Принимайте во владение.

— Это что ж получается, нам пуд соли съесть предстоит?

— Пуды, братец, пуды. А сколько пота пролить! Потому заготовливайте лаги здесь. У нас берёза самая прочная.

Лифт давно не работал, даже если он и был. Шахту завалило где-то в середине прошлого века. Бочку закатили наверх усилием всех членов команды уже на закате.

Ещё один сюрприз ждал в столовой.

— Вот, бойцы, принимайте пополнение.

Вперёд выдвинули бугристого человека в штатском. Кожа его серовато-земного цвета намекала на долгое отсутствие солнечных дней. А манера держаться — на беспокойные ночи.

— Час от часу не легче. Ну и команда у нас. А чего не раньше? Помог бы физически, так сказать, — Калатозов аж крикнул.

* * *

Ветер нёс сухой солёный воздух. Осень постепенно набиралась его силы.

— Ну а ты как, бродяга, среди нас оказался?

— Я-то, ребятки? Да очень просто: на что может стодиться вор-рецидивист? Я, вышло, самому Борману красное знамя подбросил.

— Заливаешь.

— А тот как пошёл орать что-то про рожу дьявола, про свиные рыла, в окно ему мерещащиеся. Всю ночь — кухарка рассказывала — бегал как ошпаренный да верещал, как полоумный.

— Что? Прямо в Берлине?

— Зачем в Берлине? Он же на фронт приезжал. А я в оккупации сидел. Вот и предложил нашим партизанам свои услуги. Работал я в услужении как раз на конюшне. Вот, свернул я красное знамя, какое на праздники вывешивали до войны, да под одеяло ему пристроил. А тот, видать, лёг да и обнаружил. Вот верещать и пошёл. Аж зашёлся весь. То ли спьяну ему мерещилось, то ли действительно чёрта видел.

— Это Красная свитка, — Дядя поёжился.

— Чего?

— Гоголевщина, натурально, — Рубин убедительно кивнул.

Отец Кирилл перекрестился. Что-то в знамени и правда могло быть от Красной свитки. Да только уже менялось. Революция, конечно, окрасила его в цвета невинной крови, но война перекрашивала порченую материю в цвета святыне жертвенные пасхальные. Яичко знамени краснело.

* * *

По ночам Корешев видел во сне отца и очень скучал. Он помнил себя маленьким в этих руках, помнил запах трудового свежего пота, ощущал во сне снова и снова, как отец подбрасывает его под потолок или сворачивает в бараний рог.

У Корешева-старшего не было слуха, но маленький Вася с удовольствием слушал «Там вдали за рекой...».

Радиоточка в доме — отцовство новой страны. Но Корешев-младший искал присутствия бати как малой родины.

Слюна его детства сползала с уголка губ. Земля летела в пространстве, как младенец, спящий на боку.

* * *

В Оренбург ехали по темну. Лейтенант Мухина ждёт вас в Оренбурге, сказали группе, и народ возрадовался.

Каждый представлял лейтенанта шикарным немногочетным растением с чуть проклонувшимися цветками нежности на тонких никогда не плодоносивших стеблях молодости.

Возможно, даже отец Кирилл, хотя к его чести надо сказать, что биологию он не знал вовсе.

Из кабины грузовика было видно только близкую грунтовку. По бокам текла тёмная земля и более светлое небо. Из чего они состояли — трудно было понять.

Иван Елагин чувствовал жизнь как вмятины от ядер. Его довоенная жена состояла из свадебных платьев, а дочь любила незнакомую мать. Закончив офицерские курсы, Елагин обрадовался уйти в тяжёлое и мужское. Но тут оказалось настолько тяжелее и мужественнее, что каждый день приходилось подтягивать себя струбциной воли к эталонному изгибу. Сопромат был так себе, и порой хотелось домой к близким.

Но Елагин довёл изгиб до предела — он видел, как крысы грызут землю. Людям остаётся труха. И уже из этой трухи кто-то что-то пытается сделать. Вся история человечества — труха, перетёртая крысами. По ней никак не восстановить, как выглядело всё изначально. Но Елагин — выпускник артиллерийской академии — принимал и это. Главное было — не жевать самому. Не двигать челюстями, не перетирать истину в кашу собственноречивой правды.

«Доца-доца», — иногда только сокрушался, вспоминая маленького женского человека.

Апории полковника Зенина

В Оренбурге уже мело. Снежинки — все до единой прозрачные и отличные друг от друга по отдельности — в массе своей белели.

Штаб дивизии.

— Итак, товарищи. Настало время ответить на некоторые ваши, прямо сказать, накопившиеся вопросы и недоумения. — Полковник Зенин имел в роду китайскую стену, потому был склонен к плавным поворотам речи.

— Как думаете, что вас всех объединяет?

— Война.

— Грехи.

— Плоскостопие.

— Всех вас объединяет знание польского.

Бойцы переглянулись.

— Кто-то родился на территории бывшей Российской империи. Кто-то поляк по происхождению. Кто-то узбек без знания. Но другого специалиста по перемещению специфических ценностей найти не удалось, — как бы пошутил красный полковник.

— Помимо знания польского, ваши профессиональные навыки так же подобраны с учётом специфики предстоящей операции.

Второе. Далеко не все вы, товарищи, как нам известно, свято преданы делу Ленина-Сталина. Но наверху в сегодняшней тяжёлой ситуации востребован ваш,

так скажем, сомнительный опыт. Это решение принято не на нашем уровне, потому обсуждать его не будем. Велено оказать полное содействие в проведении операции.

Сегодня ночью в 0:30 группа вылетает в Москву. Оттуда на Западный фронт. Дальнейшие инструкции получите по прибытии. Офицер Мухина ознакомит вас с планом объекта. Она единственная, кто знает его как свои пять... — полковник оглядел красивую фигуру — чувств, — нарочито осёкся, собрался. — Вам необходимо выучить, вызубрить, вырубить его из памяти, как мраморную статую из горной породы.

Полковник остался доволен последним оборотом. Он сам его придумал. Да и предыдущими тоже.

— Абсолютное знание местности есть только у таракана, — выходя, произнёс Дядя — человек со сварным интеллектом.

— Пошли закатывать бочку.

Сизифы ушли на задний двор.

Оставшись с ординарцем и Мухиной, полковник Зенин посмотрел на шкаф:

— Мех свободы растёт быстрее, чем мы его стрижем. Пусть учатся втягивать волоски, как когти. Или пустим на мясо.

И помолчав, добавил:

— Время обгоняет свою тень — пространство. Скоро от нас ничего не останется.

Глава 3

Омулёвая бочка

Ли-2 сорвался с полосы в чёрную бездну ночного ничем не поддерживаемого воздуха.

Хотелось спать.

— Бать, а скажи вот. Что там про знамя было и квитку эту?

В шумном полёте Дядя подсел в ухо Кириллу.

— Ну, как полагаю, тайная суть знамени — плоская проекция трёхмерного мира. Водрузив его — страна накрывает врага своим омофором, призывая небесных покровителей. Небесный Иерусалим. Но кровавое знамя безбожников — одновременно красная свитка чёрта, — раскрывает суть монах. — Жид, продавший свитку, — большевики. Чёрт ходит за ней. А немец-дурачок — позарился на чёртову одежду, — вот теперь и расхлёбывает.

— Получается, и нечистый на нашей стороне?

— Это Божий промысел так откликается. Бог дышит где хочет. Вон и чёртов предмет в добро отразил.

— А ещё...

— Душа моя, давай лучше соснём чуток.

Анвар прошёл по салону, трогая рёбра воздушного кита.

— В Ташкенте делали.

— Всё у тебя лучшее из Ташкента.

— Нет. Ну правда. Вон и шильдик.

— Ну хорошо. Спим.

Небо дрожало расходящимся гулом, а железная птица пробиралась в нём каким-то одному штурману известным тоннелем, словно ориентируясь, как на свет прожектора, на этот самый собственный гул.

Каменная ступа дрожала в углу, привязанная стропами, оторванная от корней. То, что в ней было, имело несравнимо большую мощь, чем любой тротилловый эквивалент. Но знало об этом всего несколько людей на свете. Для остальных же она была просто омулёвой бочкой, снятою с языка Дяди.

* * *

В Москве дали ночь на отдых, но мало кому пришлось в голову спать. Проездом в столице!

Осенний город нагрелся за день, и камень гранитных набережных припёк влюблённые парочки, находящихся проездом солдатиков, трезвую молодёжь и редких тогда хулиганов.

Город звучал вторым фортепьянным Рахманинова.

21 июня 41 года в свой выпускной Рубин впервые поцеловал Лизу Солнцеву. Они гуляли счастливым классом по летней Москве и не знали ночи светлее, а времени лучше.

Лёве захотелось найти Лизу. И снова погулять по остывающей Москве. Правда, для этого придётся пройти совсем другими повзрослевшими улицами — и не узнать.

Телефон, впрочем, музыкант помнил наизусть.

Закат над рекой. Рыжий, как дореволюционное золото. Колокольня Ивана Великого. Колокольня — не ставшая штольной.

— Алло. Это квартира Солнцевых?

— Да. Кто это?

— Марья Сергевна, — это Лев Рубин, одноклассник Лизы.

В трубке замолчали.

— Лизы нет.

Рубин похолодел. В трубке — ледяное безветрие. Но вдруг — тёплое дуновение.

— Она на фронте. Месяц назад писала. Лёва, это Вы?

— Да-да.

— Лиза медсестрой ушла. Папа бы ею гордился.

— Борис Иванович...

— Убили Борис Ивановича. В первый же год. Пошёл добровольцем. Ну, вы знаете, как это бывает.

Ветерок в трубке ещё потеплел.

— А вы заходите к нам. У меня чай есть. Лиза и о вас в письмах писала. Справлялась. Заходите прямо сейчас. Расскажите о себе. А я Лизе напишу. Да и вам адрес дам, если хотите.

— Очень хочу, Марья Сергевна. Бегу.

— Моховая...

— Я помню.

Гиперболоид инженера Шухова

Охладившийся город отдыхал от себя. Уставшие птицы спали на спинах бродячих собак. Органика дрейфовала в сторону неорганики. Некоторые виды растений пытались размножаться словом.

— ...Пусть даже стихии обращаются к людям. Мы не можем услышать их, потому как язык общения слишком непривычен. Это язык, в котором блоками (вроде слов) являются чувства. С чего бы человеку каждый день чувствовать себя по-разному? Откуда беспричинные радость, тоска или любовное возбуждение? Расшифровать эти

прикосновения — и можно услышать реку и горы. Хотя бы приблизительно. Просто их язык богаче нашего восприятия. И намного медленнее. По одному знаку в день.

Корешев смолк. Калиса смотрела на него с сожалением.

— Унеси меня, Корешев, отсюда. Бравый военный, красавец-орденоносец, а о каких-то речках думает, когда рядом с ним такая дама.

Закат окрасил лицо Василия в пунцовый цвет.

— Можно гиперболоид Шухова глянуть.

Язык тела

— Есть, товарищ полковник, — майор положил трубку на рычаг. — Докладывай, Мухина!

Калиса сидит в приёмной пахучего древоточца.

— Вот, товарищ Васильев, — девушка выкладывает альбом карандашных зарисовок. Рука мастера. Позы спящего человека.

— Вот эта мне нравится — футболист, — майор госбезопасности склонился над страницами. — Ага. А это у нас что? Нырлящик. Смотрю, накописи довольно много.

— Да. Сон беспокойный. Но, насколько я могу прочесть, посыл не враждебный.

— Любое послание надо тщательно разбирать. Понятно, опыт, но глаз может замылиться.

Майор принялся быстро шелушить страницы, и рисунки превратились в мультипликацию.

— Так. Так. Много раз повторяет опасность, но это сейчас сплошь и рядом. А вот это у нас что? Готовность к жертве. Поза Христа.

Ах ты ж, древесница въедливая!

— Славно-славно. Скажи, Мухина, а чего они не просыпаются у тебя? Снотворное?

— Гормоны, Иван Сергеевич.

— Гормоны, значит... — он опять задумчиво пролистывал альбом. — Язык тела говорит, что счастлив, — улыбнулся: — Гормоны счастья, значит. Ладно. Годится.

* * *

— Серафим, скажи мне, ангел мой, что будет после полётов в безопорном воздухе?

— Полёты в безвоздушном пространстве, Рафик. А после самолётов — ракеты.

— А дальше?

— Мы так далеко не заглядываем.

— Дальше человек полетит без механизмов.

— Это-то и пугает.

— Что бы ты посоветовал этим рвущимся людям?

— *Не будь пулей — лети в улей.*

— Лихо.

* * *

Прифронтовой городок спит. Сверху он похож на часовой механизм с разбегающимися от циферблата рыночной площади стрелками главных улиц.

«Не совсем ясно, — ворочается в комнате Калатозов. — При чём тут польский? Мы что, выступать там собираемся? Интересно, как будет смотреться наш узбек».

Подшёл к столу. Тараканы разбегались по радиальным линиям. Вновь пытается загнать в голову непослушные линии и значки схемы. Карту местности и план соляной шахты.

Тараканы не любят, когда их беспокоят. Тогда они в негодовании хрустят под ногами, показывая своё безразличие.

Скорее бы действие. А то в теории как-то всё слишком бедно на результат. Динамика жизни казалась бойцу масштабнее всякого размышления.

* * *

Бочку давно закатили в сарай. Что характерно — за время путешествия ни один из наших не поинтересовался содержимым. Не подошёл, не понюхал. На войне такое любопытство излишне. Настанет время — введут в курс. И только деревенские коты пытались когтями расцарапать окаменевший бок, тёрли морды о край и, запрыгивая сверху, устраивались поудобнее. Что-то в ней было.

Конечно, догадки строились.

— А может, — затишился Дядя в ухо батюшке, пока они заталкивали десятипудовый цилиндр длинными лагами по направляющим доскам на борт полуторки, — омулёвая бочка эта — соляной столп с обернувшейся лотовой женой?

— Это, Дядя, — наш крест! — надавил ответственный человек плечом. — И нам его толкать.

* * *

Комната деревенской избы. Хозяйка давно затушила лампу и ушла к соседке.

— Васятка, ну останься. Ночь одна на всю жизнь. Может статься, в живых никого не будет завтра.

— Ничего у нас с тобой не получится. Как бабу я тебя хочу, а как человек ты мне неприятна. Извини, Лиса.

Калиса плакала.

— Может, потому, что я уже мёртвая? Мёртвая.

Корешев не отреагировал. Мало ли о чём.

Вскинулась Достоевской Грушенькой:

— Ну и катись. А ноги тебе не вернуть!

Какие ноги? Сумасшедшая женщина.

Вышел, хлопнув избяной дверью.

— Взял бы хоть как бабу, — крикнула вслед.

Вернулся. Остался.

— Лиса моя, Лиса! — шептал до утра.

Домовой Антон сидел на печке и качал головой, слыша эти сладкие вздохи. Он явственно видел только одного человека, второй же был как-то размыт. На рассвете вышел посидеть с засыпающими ежами, вернувшись, оставил на сундуке цветок нивяника.

Отчётливый инструктаж

Как прыгают с неба?

Выпадают из гнезда или... Или есть какой иной способ попасть на небо? Двадцатый век принёс ответ.

Рубин нарисовал каплю и перевернул её, получился парашют.

— Капля в свободном падении, если её замедлить, переворачивает пространство и превращается в парашют. То бишь ориентирование по категории верх-низ зависит от скорости падения.

— Не вкурил.

— А тебе, Ворюга, не обязательно. Тут нравственное — вашему брату ни к чему.

— Это Лёва намекает, что лучше, если парашют раскроется, — батюшка улыбнулся кучерявому музыканту, чувствуя в нём родственную душу. Душу вообще. Хотя и, покамест, атеистического толка. — Тогда падение станет парением.

Вор больше помалкивал. Он знал, что коллектив его не принял, да и не рассчитывал на это. Вор ещё не решил, что будет делать дальше. Нет, речи о предательстве не шло. Была мысль как-то исчезнуть, потеряться после дела, поменять масть.

Инструктаж перед ночным десантированием проходил в последней избе на окраине посёлка. Дом отстоял немного от закончившейся улицы, и свет окошка его был остальному скоплению как удалённая звезда.

В группе — как опытные парашютисты, так и новички. Это не хорошо, не плохо. Обычное дело. Кто-то ломает ногу, кого-то отнесёт в озеро. Чаще всего так и бывает. Ещё сносит на территорию противника, но у нас другой случай.

Если расплющило, не кричим, чтобы не выдать товарищей.

Небо способно поддерживать горение падающего несколько минут. За этот период постарайтесь достичь земли. Иначе догоревшее падение обожжёт пальцы небесному своду и будет прервано резким движением — то есть не завершено.

Особо важно понимать, что в воздухе есть целевые потоки и воздушные выступы. Упав на такой, не паникуйте, подползайте к краю и сваливайтесь дальше.

Любопытную птицу не кормить, а то они полнеют. Много вас таких доброжелателей. Если подлетела стайка, а вы болтаетесь на стропях, делаете вид, что вы турист.

По достижении земли осмотреться и двигаться в сторону центра. Как определить центр? Он точно не там, где вы. И скорее всего, в самом злополучном месте.

По крайней мере, так записано в дневнике Василия Корешева под оглавлением «Инструктаж».

Навалка и раскряжовка хлыстов

Приземлились на удивление удачно. Тихо и в целости. Группа собралась в чистом поле со скошенной травой за несколько минут. Дождались рассвета в огромном стогу сена. Заморозки уже прихватывали.

Полк внутренних войск, отвечающий за охрану спецобъекта, был расквартирован неподалёку.

Пошли в лес в партизанские места, командир одного отряда должен быть предупреждён о десанте.

Блуждали долго и безуспешно. Выбились из сил, но сколько могли, отвлекались от усталости попутными размышлениями.

Народ наш вышел из крепостного бесправия и скоро пересел в окопы первой мировой, теперь вот тоже война. Потому ещё не отвык от тягот и ужасов, как тот же свободный европейский немец. Дабы в самом аду своего поражения сохранить способность к надежде, нужно иметь навык ею одной питаться, — мыслил батюшка о своих предках-крестьянах.

А вот Рубин думал иначе. Не то чтобы в другую сторону. В ту же. Но образ мыслей его был совсем иным. Родину защищать этот добрый еврейский мальчик хотел

с детства. Может, ещё и потому, что родины-то у него и не было. Как матери. Но мачеха кормила, и Рубин юным сердцем полюбил огромные просторы своей приёмной родины. И вот напал враг, и пришёл чуждый элемент на призывной пункт и слился с массой крестьянских добровольцев с комсомольскими искрами, с вчерашней городской шпаной. И тоскливо ему так защищать, когда в первый же день его подвига кто-то из сподвижников украл все его сбережения. Трудно ему среди простого народа, но — крепко думает он — это и есть тяготы, а бой, возможно, — избавление от этих мучительных мёрзлых окопов. И скрепляется в себе, и надежду поддерживает рутиной, а не наоборот. Испытание. Да. Испытание своими. Испытание своими нехорошими мыслями — что он терпеть не может всё это убожество и хочет побыть один. Сыграть чикону Баха и слушать установившуюся тишину, а не эти сальные анекдоты про Троцкого. Терпи, сын Иегуды, Иудиного колена необрезанный потомок Сарры.

Деревья в лесу потрескивали стволами или дятлами — Рубин не знал.

Корешев знал, но думал о другом:

«Ядро Земли — железное Стерво. Осы его — пули. Каким же образом к ним прилепилась соль?»

Представил отца: Смерть — всего лишь другая оптика, сынок. Помнишь мою подзорную трубу? Смотришь правильно — приближает, наоборот — удаляет. И до близкого предмета, кажется, не дотянуться. Но вот ты протягиваешь руку, она попадает в поле зрения — такой же удлинённой тонкой и далёкой, — и ты спокойно касаешься предмета. Это и есть смерть.

«Солью стреляют сторожа в подмосковных садах — вот что!»

* * *

К ночи обнаружили две оставленные землянки — холодные и без провианта.

— И то хлеб, — констатировал Дядя и принялся разводить костёр.

— Слава Богу! — вздохнул батюшка.

— Прорвёмся! — решил Калатозов.

На рассвете организованная жизнь уже всю брала своё у дикой природы:

— ...Для чего потребуется дёготь.

— Ну, берёзы навалом.

— Тогда поспособствуйте. Там надо-то банку литровую.

— Сделаем, Дядя. — Калатозов было направился в лес.

— Куда ты с пилой-то? Береста нужна. Надерите побольше. А ты, восточный человек, попробуй сконструировать перевёрнутый бак, и дырявую железяку под него — куда стекать. Бак обложим поленьями, внутрь береста. Надо, чтобы тлела, а не горела.

— И за что мне такое? — в шутку вздохнул Анвар.

— За смолу кругового терпенья, за совестный дёготь труда, — откликается Лёва Рубин неизвестными строками.

— А что делаем-то, братцы? — отставший от жизни батюшка.

— Войну выгоняем.

— Из чего?

— Из леса.

Война — это всегда наугад.

Открываем карты

Известно, где штаб, кабинет, сейф с документацией.

Утка, яйцо и игла — соответственно.

План охраняемого объекта с сигнализацией и постами, а также график смены дежурств.

— Ну что, товарищи? Влетаем — и по схеме? Граната, ППШ, сейф? — Калатозов радовался предстоящему действию, как спектаклю.

— Ага. И засветиться по полной. После твоего фейерверка сразу всё поменяют.

— Это точно.

Вор неожиданно заговорил:

— Вот и бродяга понадобился. А ведь это, мил человек, не просто так. Воровская традиция — она сродни святоотеческой.

Отец Кирилл отодвинулся вглубь комнаты, до поры устранившись от разговора.

— Воры ведь тоже занимаются обслуживанием идеи. Когда вор выходит на промысел — это не просто слова. Вот чума — бич божий. А вор — это божья плётка. Не нагайка какая-нибудь со свинцом вплетённым, рассекающая череп до мозгов. А простенькая, какой наказывают за лёгкую провинность. Пруток ивовый. Что вор делает? Воруется. Ценности у граждан отымает. Но ведь матценности — это не совсем то, вокруг чего должна бы строиться жизнь человека. А у самого вора — ни жены, ни бабок, ни угла своего. Всё по писанию. И голову негде подклонить. Пей, гуляй, веселись — это да. Но ведь настоящий вор, а не фраер какой залётный, — он отчего гуляет? Понимает, что недолго ему волю топтать. Скоро в дом родной опять заберут. Так он и не ропщет. Волю божью исполняет. Так что из сил природы ангелы, демоны да воры — сподручные высших сил.

— Фраер, между прочим, по-немецки — свободный человек! Я смотрю, ты, воруга, сильно в бога уверовал! Отчего ж меня выбрал в духовники? Иди вон, батюшке исповедуйся. Или ссышь? Ссышь, что разобьёт он эту твою философию в пух и прах. Потому как вы для себя живёте, а не для людей. В этом разница между честными людьми и вами. А сила духа — что? Она у вас есть. Закалка. Терпение, характер, опыт, не ропща, сносить невзгоды. Вот только от гордыни всё то от лютой, а не от любви к ближнему. Не хочу я с тобой базланивать, — остро, зло, не по-консерваторски вскинулся неожиданно Рубин.

— И зря, начальник. Я же не для форсу здесь нахожусь. Может, рассмотрели во мне люди попрозорливее желание моё.

— Ох, вряд ли.

— Сомневаешься в компетенции вышестоящих органов?

— Ну вот. Ты сам подтверждаешь, что никакого желания нет. Методы твои — всё те же. Сучьи методы.

Корешев, Елагин и Калатозов приподнялись со своих мест. Что-то волчьё мелькнуло в глазах вора, и бойцы почувствовали это, ещё не видя внешних признаков агрессии.

— Аминь.

Неожиданно отец Кирилл поддержал того, кто был в меньшинстве.

— А ведь наш боевой товарищ и правда — инструмент Божий, что греха таить. Только не плётка Божья — а, скорее, отмычка. Или я не прав? — и строго-лукаво лучась, посмотрел на рецидивиста.

— Почём про отмычку знаешь?

— Засветил ты её намедни. — И обращаясь к остальным: — У нашего орудия свой инструмент имеется. Всё по образу и подобию.

— Час от часу не легче.

— А вы думали, сейф руками открывать будете? Или Калатозыч лбом пробьёт?

— А ведь и правда.

— Потому и прав вор, за промысел говоря и умысел. И наверху не дураки сидят. И над ними управляются с миром приемлюще.

Как вор брал сейф

Как-как: тихонько под покровом ночи забрались в указанное окошко штаба. Всё — честь по чести. Было подмечено, что двери на оккупированной территории стали рассыхаться и плохо закрываться. Стёкла дребезжали, как стаканы в поездных подстаканниках.

Выбрали такое окно. Отжали стекло, чтобы потом незаметно назад установить. Вошли. Вор, он же кто? Он же медвежатник. Поймал загодя медведку. Та в земле-то любую дорогу найдёт, что ей сейфовый замок! Запустил в личинку, и через минуту замок щёлкнул. Скопировали документы да растворились в тумане.

* * *

Мухину берегли. На задания не брали. Её знания должны были пригодиться под землёй. Кому как ни ей было ведать, что творится в исподнем?

Калиса выходила из палатки и шла слушать птиц, словно лугзгать семечки.

В этот раз поделилась ими с Коршевым.

— Ломаю вот голову — на кой ты с нами? Описать это всё?

— Кто меня знает.

А сам почему-то подумал: «Что если из-за отца?»

Из каких гарусинок выпала эта мысль? Без причины, без следствия — мелькнула, и всё.

— Слышишь?

— Да.

— Внутри каждого человека живёт своя птица. На родственную откликается, а на чужака нет. Вот ты что слышишь?

— Не знаю. Фьюить.

— А я пи-пи-опи. Значит, у нас разные птицы внутри.

— Значит.

— Честно говоря, у меня давно — набитое чучело. И ничего я не слышу, — девушка отвернулась. — Знал бы ты, как они мною... ну да ладно.

— Договаривай уже.

— Побежали, что покажу, — она повлекла его в чащу. — Это же не наши леса, здесь много необычного.

— В Белорусской ССР такие же.

— Я из Сибири.

Дошли до заросшего оврага.

— Тут место такое необыкновенное есть. Сейчас солнышко — хорошо. Вот, проходи.

Они оказались под сенью лиственных деревьев. Обычный смешанный лес. Но здесь что-то было не так. Что, Коршев никак не мог понять.

— Вот и я долго мучилась, пока сообразила. Гляди.

Лиса посмотрела на землю. Обычная игра света и тени. Листья, солнечные блики. Только вот...

Мухина указала на длинную светлую полосу — и продлила от неё мысленный путь Корешева до ветки. Светлая полоска полностью повторяла её очертания. Калиса качнула ветку, и световой двойник закачался в такт.

— Светлая тень?

— А так?

Она заслонила льющийся в лиственный проём поток света, и на земле ярко зажёгся её силуэт. Отошла, и всё погрузилось во мрак.

— Тёмный свет? Что это?

— Не знаю, милый. Я по загадкам. Ты по разгадкам.

— Ну. Мы тут все больше по кадкам.

Они сели на траву в негативе шатра.

— Есть животные — ночные хищники. Во тьме видят, на свету слепы. Им наша светотень как нельзя лучше подходит. А вообще, это из разряда — стакан наполовину полон или наполовину пуст. Как воспринимать.

Она поцеловала его в говорящие губы.

— Природа не знает добра и зла. Для кого-то есть вспышка света — пауза тьмы. Для другого — пауза света — вспышка тьмы. Излучение идёт волнами — добро-зло, добро-зло. Так воспринимает его зритель. На самом деле это единый луч. Просто один приёмник настроен на одно, другой — на другое. Луч безвреден. Восприимчивость негуманна. Война и мир как волна и частица.

Он говорил, она его целовала.

Как сделать человека несчастным? Сделать его счастливым.

От теории — к практике

— Колись давай, Иван Алексеич. Выкладывай всю операцию от и до. Товарищи хотят знать.

— Пусть тогда красноармеец Рубин нам доложит обстановку.

Лёва выдвинулся в центр поляны.

— Товарищи. Наша операция подразумевает проникновение в главный зал соляной шахты. Главный зал представляет собой вырубленный в земной породе католический храм с высотой потолка до семидесяти метров. Вся эта красота залегает на глубине двухсот сорока метров.

— Это мы догадываемся. Схемы выучили небось. До смерти сняться будут.

— И славно.

— Суть в чём?

— Я ж докладываю. А вы, товарищ Калатозов, в нетерпении перебиваете.

— Молчу.

— По агентурным данным в конце месяца в соляном храме должен состояться концерт Трёх теноров перед элитой Третьего рейха. В нашу задачу входит...

— Взорвать всё к чёртовой бабушке.

— Калатозов, отставить! — Елагин повысил голос до командирского.

— Слушаюсь. — К Рубину: — Слушаю.

— А вот тут нет. Взорвать никак не выйдет. Столько вагонов взрывчатки не доставить. И тем более не пронести. Наша миссия намного тоньше, так сказать, и многозначительнее.

Лёва расстегнул маскхалат.

— Три тенора должны выступить перед своими зрителями. Верхушкой рейха. А мы им бочку дёгтя, так сказать. Наша соль обладает отличными от здешней свойствами. Певцы...

— Да на хрена они нам сдались — эти паяцы?

— Всё дело в том, кто они.

— Ну и кто?

— Рейхсфюрер СС главный контртенор Венской оперы Генрих Гиммлер, рейхсмаршал Великого рейха бархатный баритон люфтваффе Герман Геринг и сам непревзойдённый фюрер пятой октавы Адольф Алоизович Гитлер.

Тишина.

— Тьфу ты.

И увидели белого таракана.

Альбинос посмотрел на тайное общество и юркнул в шель.

— Так как оказаться на концерте невозможно, мы сделаем заблаговременную закладку.

— Так что в бочке?

— Ингаляция.

Понятная тишина.

— Вы знаете, сколько было покушений на Гитлера?.. А я знаю. Много. Тротил найдут собаки. Куда ни положи. А вот соль они не распознают.

— Соль?

— А чего мы бочку тащили? — многозначительно подтвердил Дядя. — Из самого Соль-Илецка? Знамо, соль.

— А в соляной пещере, знамо, соли нет?

Дым самокруток не уходил ни вверх, ни вниз. Казалось, он окутал собрание какой-то маскировочной сетью.

— Если не вдаваться в химию, во взаимопроникновение жидкостей, в особенности связок певца, в алхимическую теорию профессора Бэра, то можно вкратце сказать так: мы ожидаем что-то вроде эффекта отравления. Не физического отравления, а на более тонком уровне. Воздействие паров исетской соли должно впоследствии возыметь некоторое побочное действие. Для этого нам надо рассыпать её как можно ближе к сцене и как можно позже. Желательно незадолго до выступления. Ну и незаметно.

— Задачи вы ставите... — Дядя крикнул.

— Всё же — какой эффект?

— Ну, соль земли русской. Так. Можете всё это проигнорировать. Гитлер — водная форма жизни. Наша соль, будучи им вдохнута в достаточной дозе, должна привести к насыщению раствора, и он превратится в рапу.

— В рабу?

— Так называется насыщенный солевой раствор. Он не сможет больше впитывать Русской земли. Вынужден будет отступать, чтобы раствор более не насыщался.

— Ну бред же! — Калатоз свирепел.

— Тогда подберись к нему и застрели.

— И подберусь.

— И кто же у нас автор подобной, с позволения сказать, операции? — Анвар многозначительно посмотрел на Рубина.

— Ну да. Моя идея. Но прошу заметить, одобрена она на самом высоком уровне.

— Если не секрет, кто?

— Егоргий Константинович.

— Уровень, однако, у тебя Лёва. Тогда рули.

Сталин уверен, что Богородица — католичка

— Да при чём тут знание польского? Конечно, мы подобраны по иному принципу...

В тоннеле Рубин тихо лизнул статую.

Корешев заметил:

— На счастье?

— Коперник. Свойства соли загадочны. Она тоже кружится вокруг единого центра, как солнечная система.

— Не без этого.

— Только подумать — это фундамент храма, которому миллиард лет!

— Храма?

— Океана...

— Тише там, — передали по ряду.

* * *

«Не могу сказать и сейчас, по прошествии стольких лет, что это было», — напишет потом Корешев в своих воспоминаниях, когда будет уже снят с операции гриф «секретно».

В широком тёмном соляном тоннеле вдруг образовалось что-то вроде дымки — в глазах защипало, в горле запершило. Идущие впереди Мухина, Елагин и Калатозов остановились, делая знаки замереть остальным. Послышалось неясное пение, впереди показалось свечение и силуэты людей. Странные, вытянутые, колеблющиеся.

Что-то дрожало, переливалось — было непостоянным.

Половинки людей тянулись пламенем свечи в горячем воздухе. И ритмично, но сбивчиво, мерцали.

«Это был Шопен, но я долго не мог понять что», — скажет позже Лёва Рубин.

Процессия остановилась, не дойдя шагов десяти, и трепыхалась, как бельё, сохнущее на берегу огненного моря.

— Хандэ хох, — с чего-то скомандовал Калатозов.

Фигуры ритмично подняли руки, похожие на колышимые течением водоросли.

— Мы музыканты, — голоса несли, скорее, мелодию слов, чем их смысл. — Клезмеры из местечка. Нас сконцентрировали в лагере и потому мы надышались тьмой в духовой печи газовых камер. А теперь, сбежав от мучителей, поём под землёй свои погребальные песни.

— Пошлите с нами, — неожиданно брякнул Дядя.

— Никак не возможно. Но мы обнаружили подземные тоннели, не связанные с выработкой соли. Это что-то древнее. Там растёт нотная грамота в виде мха, изредка встречаются духовые инструменты карликовых деревьев. Мы переживём войну под землёй.

— А вода?

— Вода им едва ли нужна, — тарашил на Корешева глаза загадочный Лёва.

— Они по пояс... — прошептал побелевший Калатоз. Никто его не видел больше таким.

— Не бойтесь. Мы нашли древнее захоронение. В том доисторическом поселении, видимо, был популярен странный погребальный обряд: тела мертвецов разрезали по линии талии, а затем хоронили лишь верхнюю часть.

Нам подошли их тела, и теперь мы можем ходить по подземелью, используя в качестве движущей силы — нашу музыку.

— А пламя... Для темперирования жизнь надо сначала разогреть, а затем, охлаждаясь, она и кристаллизуется в мелодию.

Тоннель освещался сполохами.

— Прощайте, героические личности! Удачи в вашем нелёгком деле!

Процессия свернула в открывшийся сбоку проход и медленно удалилась, неся перед собой музыку, как мёртвое дитя.

* * *

«Героические личности» вышли из тоннеля в пустоту бездны и оторопели. Факелы перестали освещать — одни руки да лица в крошечной тьме. Мир исчез или стал тем, чем был до сотворения.

— Невероятно.

Мухина пошла вдоль стены, по очереди осеняя световые ниши. Постепенно проступала внутренность огромного готического храма с колоннами, резными статуями святых, сложивших ладони в молитвенных жестах. Соль, укрытая копотью веков и похожая на хозяйственное мыло — скользкая, буро-коричневая, чистая.

— Мать честная. А где потолок?

— Потолок — он же — пол.

— Тут высота — семьдесят метров!

Раздутыми густыми голосами переговаривался спецназ. Голоса отталкивались от стен и возвращались повторно, неявно, впрочем, для уха, чтобы ему различать вторичность, но достаточно заметно, чтобы добавлять звуку объём.

— Ох. Завалить бы этого Гитлера прямо тут. Всей массой солёной. Рвануть, и всё.

— Вот что, Дядя, Гитлер, он же непостоянный. Гитлер квантуется так же, как и прочий мир. Прерывистый он, как решето, и потому — дырявый. Чего нам его заваливать? — говорил Рубин и в чём-то был прав, а в чём-то нет.

Потому как Гитлер был ещё и волной.

— Лиса, в какой стороне алтарь? — Елагин пресёк разговоры действием.

Подошли. Справа и слева — колонны с вырезанными из темноты святыми.

Внимательно осветили ближайшую статую.

— Ну, эксперт, оценивай.

В световой круг вступил Анвар и, приблизив лицо к скульптуре, поместил между глазом и поверхностью увеличительное стекло вечности. Затем взял зажжённую спичку и поводит над соляной коркой. Наконец отколупнул кусочек.

— Должна подойти. Мастерская работа. Похоже на Файт Штосса.

— Кого?

— Больше известен в Польше как Вит Ствош. Его рук дело.

— Во времена Возрождения культуру тщательно пережёвывали, прежде чем заглотить, — возможно, для лучшего усвоения. Жвачный тип. Позже стали глотать быстро, наспех, испытывая потом несварение. Хищнический тип. В последнее время пришло поколение червей. Культура не усваивается, а заглатывается и тут же выводится из употребления в чуть разрыхлённом виде.

Лёва собирался развить тему дальше, когда Елагин резко обернулся во тьму:

— Дядя, такую забацишь?

— Можно. Выпиливайте. За пару дней...

— Сутки.

— Попробуем.

Вот уже и Дядя оказывается резчиком по камню. До войны на московском армянском кладбище тесал хачкары на надгробья.

— Только нужно будет кое-что подправить, — отец Кирилл выступил с фонариком из темноты. — Я на базе скажу что. Ты, главное, размеры соблюди. А в облик внесём поправки.

— С листа не смогу.

— Я пособилю кое-чем. Есть чертёжик.

Соль режется легко. Выпилили, уложили в брезентовые носилки. Понесли пешком наверх, сменяя друг друга. Кряхтя и сдирая руки в кровь. Калатозов тихо матерился, смеялся и бормотал:

— Теперь понятно, зачем нас восемь. Обычная физическая сила. То бочка на два центнера, то соляной столб какой-то. Так бы и сказали: ребята, вам предстоит пуд соли сожрать. А ведь так и сказали. Хе.

На базе расчехлили бочку, вскрыли кедровую крышку. Цвет нашей соли был не буквально белым, но гораздо светлее.

— Сможем состарить?

— Попробуем. Так: деготь воняет, дым тоже. Золой обмажу. Нормально. Вы мне только костерок сварганьте позлее.

Как делать костёр в лесу, чтобы тебя не учуяли чужие? Только упрашивать его, чтоб сильно не дымил. Только задабривать дрова какой-нибудь лаской, благодарностью за даримое тепло, жильё и гробовую тишину упокоения. Им это нравится.

* * *

Ночь. Двое не спят.

Отец Кирилл ходит поодаль работающего резчика.

Приближается, пристально глядит. О чём-то думает. Ловит момент.

Наконец, внедряется с керосинкой и вглядывается в проступающие черты:

— Сталин думает, что Богородица — католичка. Не выйдет ничего с таким формообразованием. А мы православную нашу матушку им поставим. Дело и пойдёт. Священник достаёт складной листок с репродукцией иконы.

Дальше работа идёт точнее.

С космической нежностью Кирилл шепчет под руку Дяде:

— Потрясающе. От первоначального образа Владимирской Богоматери остались только фрагменты. Удивительно не это — остались целиком лики Младенца и Богородицы. Вся остальная часть иконы, а это три четверти, — дописаны позднее. Вот и удивляйся. А я буду умиляться. Смотри, что на обороте написано (читает):

«Во время нашествия Тамерлана при великом князе Московском Василии I в 1395 году чтимая икона была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. На месте «сретения», или встречи москвичами Владимирской иконы, был основан Сретенский монастырь, давший название улице Сретенке. Войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы, что было расценено как заступничество Богородицы». Или вот, дальше (перечисляет):

«21 мая (3 июня по старому стилю, но не буду путать) — избавление Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году;

23 июня — избавление Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году;

26 августа — встреча иконы в Москве и избавление от Тамерлана в 1395 году.

С Владимирской иконой также связывают избавление Москвы от ордынского эмира Едигея в 1408 году».

Вот какую, душа моя, святыню мы с тобой постараемся водрузить супротив врага. Конечно, в православной традиции не принято статуи ваять, особенно из соли.

- Но чем чёрт не шутит... — начал было Дядя, да осёкся.
- Ты пока отсекай ненужное, а я тут в уголочке почитаю.

До утра трудничали. Под разговоры. Под небезобидные беседы.

— Репрессии? — Дядя шуруется и затирает заусенец. — На войне об этом как-то не принято. Это как об измене жены на её похоронах. Но я скажу. У нас репрессии коснулись даже рек.

— Как?

— Рек, речушек, ручейков.

— Это очень интересно, Дядя. Извини, что перебиваю. Ремарочка. Известно ли тебе, что в СССР больше двух с половиной миллионов рек? То есть всего на порядок меньше, чем людей.

— Миллионы? А вот аккурат в моём районе объявили несколько речек английскими шпионами. Как бы они впадают в Каспийское море, а Каспий издавна англичанами облюбован.

— Ну и?

— Ну и осушили.

На рассвете вошёл сонный Лёва, долго смотрел песчаными глазами на образ, запечатлённый в соли, затем осветился и произнёс:

— Почему правда — за нами? Потому что в том числе это и художественная правда. Ведь нынешняя война — это ещё и противостояние всего природного, живого, здорового — тому искусственному и помпезному, которое они в своём безумии считают реализмом. Я бы назвал дегенеративным искусством именно их безжизненную гигантоманию. Актёры Гитлер, Геринг, Гимли. Личность там размыта на несколько субличностей, где всякий актёр — мнится как сверхчеловек. Их распирает актёрская шизофреническая природа... Зато у нас Алпатов в продрогших классах преподаёт историю искусства очоленевшим студентам. Шостакович в блокадном Ленинграде пишет симфонию, а моя бабушка холодным утюгом гладит деду манжеты. — Зевнул. — Пойдёмте чай пить, — подытожил.

* * *

Когда спускались в шахту, произошло только одно малозначительное событие — Вор нашёл пачку «Герцеговины Флор».

Спустились без происшествий — стали монтировать.

Статуя, втиснутая в незнакомую породу, поворочалась и угнездилась. Соль — солью, химия — алхимией, но только ведь и сама Богородица пришла, незримо постояла, улыбнулась, накрыла некоторых спасительным своим омофором.

— Как здесь и было!

— Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

— Гитлер — вода, Сталин — камень.

А вот Анвар вспоминал, как весной в Ташкенте цветут персиковые деревья. Они сидели на каком-то мероприятии на какой-то министерской даче и пили зелёный чай. Ещё — тайком разливали гранатовое вино. И вот это тайком тогда казалось настоящим, а чай — бутфорским. В том 39-м году. Отсюда, из соляного подземелья 42-го, персиковые цветы и жасминовый чай виделись настоящими, а вино — клюквой.

Как я убивал зелёного немца

Война и мир как волна и частица.

Если действительно Гитлер — волна, а мир — частицы света, то этот дуализм порождён единой общей непонятной природой.

В зависимости от внешних условий нечто, скрытое от нашего понимания, проявляет себя либо как волна, либо как частица, либо как война, либо как мир.

И что такое это нечто?

Впрочем, лучше бы эту волну выплеснуть вместе с ребёнком.

* * *

Группа шла через болота, растянувшись гуськом. Ночью прихватил морозец, и стало проше.

Местная природа не очень заботилась о русских. Польский берёзовый лес был трухлявым и скользким.

Но холода, идущие от самой Сибири, делали своё дело.

— Чего мы пустую-то бочку назад волокём? — недоумевал Калатозов.

Отец Кирилл подождал на кочке:

— Дай пособлю.

— Обойдусь. Нести наше дело. Твоё, святой человек, — гундеть за нас. Только вот — нафига мы её тащим?

— Она из просолённого кедра. В ней можно вечность хранить, — улыбнулся православный батюшка.

Медленно продвигались.

Калатозов под тяжестью ноши вспоминал, как его обокрали в финале на всесоюзных соревнованиях по новому тогда виду единоборств — самообороне без оружия (самбо). Он выигрывал схватку по очкам, когда за полминуты до конца соперник взял его на болевой. Поначалу Калатозов не отдавал руку в плотный захват, но опытный противник обвил кисть двумя руками, положил на бедро и стал выгибать дугой. Боль страшная, сустав захрустел. Так можно остаться без руки, но Калатозов решил терпеть: ну сломают, ну полечусь — зато чемпион СССР. До конца секунд десять. В глазах темно. И тут рефери останавливает схватку и поднимает руку соперника. «Я не стучал, — кричит Калатоз, — сдачи не было, а значит, приём не доведён!» И всё-таки рефери сохранил ему тогда руку. Кто знает, как бы сложилось дальше. Так до сих пор и не решил наш вояка — злиться ему на судью или благодарить.

Громкий визг мины распорол воздух. Ухнуло слева.

— Засада.

Бойцы вжались в моховую заиндеветшую землю. Но почему их не расстреляли сразу? Ясно почему. Взять хотят. А это — маленький шанс.

Не будь пулей — лети в улей

Холодный летный денёк.

Пуля с хлопком врзается в человека. Человеку становится плохо. Пуля замирает от резкой остановки. Не на такое оба рассчитывали.

И теперь уже жизнь ответственна за пулю. По принципу: мы в ответственности за тех, кого приручили. То есть пуля, попавшая в человека, становится ему присущей. И пуля может передать эту свою двойственность — другим, ещё не вылетевшим пулям.

Миллионы пуль попали в людей. Чем больше длится война, тем более человечными становятся пули.

* * *

Бой приподнялся над землёй, как шаолиньский монах.

Мы видим людей немного сверху. Точно висим над плечом каждого.

Антон — помните, нечистый? — мечется по поляне, пытаясь дезориентировать немцев. Это ж надо — пристрастился к партизанской войне и пускает эшелоны под откос. Впрочем, он и раньше любил, когда всё катится по наклонной.

Анвар — смертельно раненый ниже пояса — прижимает к животу тетрадь. Тетрадь пропитывается кровью.

Корешев подползает его осмотреть. Неловко шутит:

— Прямо — Пушкин! — в попытке приободрить, но дело — дрянь.

— Эх, жаль через линию меня не дотащить. Там бы я на поправку, — гримаса боли. — На, Василий, бери тетрадку. Там... иероглифы с мумии. Они помогают. Только не мне уже...

Под проливным огнём много не наговоришь. Анвар так и истёк своими глиняными слезами напрямик в землю.

А что же ангелы? Хранители?

Они были рядом. Они промахивались пулями, сколько могли. Но, во-первых, слабоверующим можно оказать только посильную первую помощь. А во-вторых, то, что немцам нужно было взять диверсантов живыми, тоже оказывало эффект выживания группы. А надоумил тех кто?

Иван Елагин обернулся скошенным перегретым ртом:

— Бочка, Мухина, бочка!

Корешев увидел брошенную ими бочку, — идеальная огневая точка.

— Лиса! Лиса! — орали наперебой.

Но девушки с ними не было.

Тогда в огневую бочку полез Калатоз.

Другой эпизод скоротечного боя

Прыжок Елагина, и смуглый здоровяк падает замертво. Офицер не успевает дотянуться до кобуры. Командир делает кувырок и оказывается на расстоянии удара. Чего вполне достаточно.

Но югенд — югенд успел. Зелёный немчик выхватил вальтер и спустил курок. Один выстрел, прежде чем Корешев с ножом оказался в чужом теле.

Вот что удалось прочесть об этом случае в дневниках военкора:

Я воткнул нож ему в горло и держал. Глаза его побелели. И тут я понял, почему больше никогда не смогу убить никого, даже дикого зверя. На меня смотрел я сам. В его глазах была моя смерть. Я убил самого себя и поменялся с ним местами. Василий Корешев оказался костенеющим трупом, а во мне нашлось место этому зелёному немчику, который даже думать стал на чужом языке. Ужас, пронзивший меня/не меня, был каким-то немецким словом — ругательным или сакральным. Убивая, мы меняемся местами с убитым — донеслись до меня мысли ещё-Корешева, уже быющего в пене агонии. Афродита вышла из такой вот пены. В это мне верится.

Я держал нож двумя руками и глядел, не отрываясь, в удаляющуюся пустоту глаз. И эти глаза видели то, что было высоко наверху.

Лес в это мгновение вспыхнул птичьими голосами и загорелся на уровне крон каким-то траурным воем. Светила проявились в дневном небе и посыпались вроде игрушек с завалившейся ёлки. Воздух встал дыбом, как шерсть на испуганном звере.

Умер. Теперь в моём теле другой человек. Я умер там, а здесь за меня живёт немец. Вот он — культурный обмен. Половина современной Германии — русские, половина СССР — немцы, итальянцы, румыны, финны. Так выходит.

Последний побег

Жаль ребят.

Погибли Анвар, Калатозов, Елагин, Вор. Лучшие бойцы. Причём получилось, Елагин прикрыл Антона — закрыл телом нечисть, ибо у того не было своего.

Калиса исчезла — никто не видел её гибели.

А Калатозова так и погребут местные — сидящим в соляной бочке.

* * *

Впрочем, Вор погиб не сразу.

Вот он продирает закрывшиеся от побоев глаза. Не впервой, но от этого не легче. Офицер и два автоматчика. Один сносно говорит по-русски. С польским акцентом.

— Господин офицер видит, судя по наколкам, ты не совсем солдат Красной армии. Не очень уж доблестный командир.

Вор ухмыляется. Рот снова рвётся.

— Расскажи ваше задание, и больше не будешь в тюрьме. Немецкое командование пожалует тебе жизнь, и тёплую вещь на тебе, и уютный домик в село.

— Какое задание? Мы грибники. Заблудились.

Удар сапогом в живот. Успел заблокировать. Второй сапог по рёбрам со спины.

— Зачем упираешься. Ты что, коммунист?

— Ну, теперь уже да. После всего.

«Коммунист» прозвучало в польском лесу, как «вор в законе». Бедный законник вновь включил отрицалово. Ему было тупо противно сотрудничать вот с этими.

— Последний раз. Что ваша группа делала в лесничестве на территории Третьего Рейха?

Офицерская цепочка вывалилась из-под расстёгнутой рубахи.

— Дак маслята же пошли, — ухмыляется. — Встали и пошли. Им плевать, какой там у вас рейх. Третий или нулёвый.

Вор потерял сознание. Вне сознания вспомнилось всё подряд. Детство. Влюблённость. Почему-то учитель физики, зашуганный уже набирающими силы малолетками, но не переставший что-то своё в них вдалбливать — этикие закладки.

И этот долдон говорил странные вещи:

«Любовь как форма человеческого существования довольно разнообразна. И всё-таки, как белковую жизнь породила череда удивительных совпадений — от массы планеты, состава её атмосферы до расстояния до Солнца и так далее, — так и любовь сложилась здесь, на Земле, потому и имеет под собой вполне конкретные основания, где смерть введена как константа, сокращающаяся в конце».

Когда Вора расстреливали, стрелять, в общем-то, было практически некуда. Несколько пуль пролетело сквозь отбитое мясо и раздробленные кости беспрепятственно.

— Суки... — последний выдох.

И вдруг это измученное тело сделало кошачий прыжок в сторону.

Зек бежал по заснеженному перелеску огромными толчками крови, как последняя её капля на земле. Сравнение с оленем было бы старому сидельцу неприятно, но он действительно был гибок и грациозен. Что пули, подбившие его через какие-то триста метров? Что грязные сапоги запыхавшихся злобных карателей? Он рванул — и в этом был полёт невиданной красоты. Даже немцы после оценят и в рапорте о происшествии напишут — «мчался быстрее ветра».

Вору словно нужен был этот акт неповиновения, чтобы последнее слово осталось за ним.

Цепочку же, неуловимо снятую с толстой шеи немца, Вор выбросил в ручей, когда перемахивал его в один прыжок.

Лицевые кости сломаны полностью, и сквозь кожу проступает что-то симфоническое.

О подвиге крепкого смоленского уркана Корешев узнает только много лет спустя. Так же как и его честное имя — Семён Альхимович.

Глава 4

Голубиное ниига

— Понимаешь, Лёва, вот ты человек точной душевной статистики... Не случалось ли тебе замечать одну деталь во время привала или обеда, когда товарищи наши начинают обсуждать недавний не остывший ещё бой?

— Какую, дорогой?

— А вот какую: как мы наткнулись на немцев в лесу помнишь?

— Ещё бы.

— А вот что ты именно помнишь? Погоди, не отвечай. Потому как давеча за столом ты на всё ответил уже. Как и батёк, как и я. Знаешь, что ты говорил? Ты описывал, чего не мог видеть. Ты был за скалой, тебя накрыли огнём, а вспомнил ты, как Калатозыч рванул к бочке и отрезал их со своего ППШ. А батёк говорил, как ты ободрался на камнях, когда ящерицей полз в обход. И этого он не видел. Зато я видел Дядю, как бы с высоты нескольких метров, шмаляющего короткими очередями. Видел немца, которому он разворотил грудь, а я вообще внизу находился в это время. А вот что делал сам — я не помню. Что делал ты, ты не помнил. Мы все как бы поменялись телами, что ли. Или оказались над схваткой, а сами действовали рефлекторно, автоматически. То есть картину боя мы восстанавливаем, но каждый прилепляет заплату другого.

Рубин достал полешко и закинул в буржуйку, которая тут же довольно заурчала.

— А знаешь, Вась, что я тебе скажу? Ты прав. Более того. Это можно сказать и вообще за человеческую жизнь. Грубо: индивид вообще в жизни себя не помнит, не контролирует, а действует как личность только с помощью окружения.

На том и порешили. Помнить хотя бы за других.

* * *

Прошло несколько месяцев после выполненного задания. Рубин вернулся в полковую разведку. Отца Кирилла (Ноздрина) назначили в Ташкент восстанавливать приходскую жизнь эвакуированных. Дядя где-то воевал.

Василий же получил весточку об отце. Два года он безуспешно пытался выяснить судьбу пропавшего без вести майора Корешева. И вот, оказалось, жив. Впрочем, странным образом связи с ним не дали. Сказали, не время. И то — слава богу.

Василий сразу отписал матери.

Дорогая мамочка!

Садись на стул и не падай. Папа жив. Он у нас ещё тот тихушник! Сведения обрывочны, но достоверны. Служит кем-то вроде коменданта в секретной части. Как узнаю что конкретное — брошусь на розыски.

Расскажу тебе про запахи. Помнишь, как мне нравился в детстве аромат свежей булки? Представь себе — и он воюет на нашей стороне.

Разведка докладывает, как целой немецкой дивизии — всему их личному составу — стал чудиться запах выпечки. Глаз не могли сомкнуть, так их фашистскому обонянию надоел недоодеженный калач. Неделю так промучились, пока наши не избавили их от наваждения, захватив врасплох и взяв без боя вместе со всей техникой. Что интересно — тут же всё как рукой сняло, и они перестали слышать запахи вообще! Представляешь?

* * *

А между тем Сталинградская битва развернула ход войны на Запад. Как и надеялся Лёва Рубин, гитлеровский рассол стал насыщенным и не мог вобрать в себя больше Русских земель. Самое обидное для фюрера, что обломал зубы он на земле воображаемых предков. Ибо считал Приволжские степи родиной ариев.

— Титаномахия Гитлера, — говорил зловещим голосом Лёва, — заключается в том, что он стремится поработить землю — пусть и вымышленных, — но патриархов. Получается, как бы восстание на отцов. А это, как известно, добром не кончается.

Василий кивал.

Военный быт шёл своим смертным чередом.

Как-то военкор заметил, что за ним увязалась кошка. Раз, другой. Так и стала ходить в туалет регулярно в одно с Коршевым время. Он по-маленькому, — и она, он посерьёзнее, и эта — сядет рядом и закапывает потом. Хоть и мешала обоим хлопающая дверца сортира, — что ни делай, ветер всё одно распахивает.

Диву давался Василий поначалу, а потом смекнул проследить за дикаркой.

В лесу кошка превращалась в автомат неизвестной конструкции. Военспецы тестировали его в насыпи-мишени. Так вот — пули потом превращались в мышей. А пороховые газы — в голубей.

Историю этого патрона калибра 7,62 (или 762 мм ртутного столба) Коршев узнает позднее. А пока он вдыхает сильными ноздрями летучие пороховые перья и осознаёт происходящее не с ним.

Не раз за время войны военкору приходилось слышать то тут то там, как видели птицу, летящую на спине. Или вовсе хвостом вперёд. Чаще всего после такого знамения происходило успешное наступление или контрнаступление наших частей. Лётчики замечали целые журавлиные клинья, идущие в обратном походном порядке.

Голубь Фрол был приземистым начитанным старовером. Головорезы ему не нравились, и он поначалу хотел перелететь со скворцами в Турцию, да призадумался. На кого оставить голубятню? Ведь только людям может казаться, что это деревянные кубы с верёвочной сеткой. На деле — это место силовых линий, эдаких антисилков, в которых только за честь запутаться, ибо всю жизнь будешь славить голубиною бога за щедрость распущенных клубков. Голэбушки и голубки. Вот что такое голубятня.

Пролёт над городом на высоте птичьего счастья, этого верхнего «до»! Обладание таким вкусом и слухом, что помёт звучит по ночам и выкладывается по земле картой звёздного неба!

Голубь Лёша был нарисован детской рукой и потому производил ошибочное впечатление недотёпы. На самом деле, это был довольно проворный и сообразительный малый.

Пороховые газы обычно уходят назад. Их голуби летали, кувыркаясь.

В любом человеческом сообществе вершин иерархических лестниц достигают не самые умные или талантливые. А самые сметливые, ловкие, пронырливые, приспособляющиеся. Мир животных намного сложнее людского. Просто те же черепахи или киты не вкладываются в собственное продвижение. Их интеллект работает на внутренний мир, а внешний им мало интересен. Но голуби. Голуби служили человеку на протяжении сотен лет только из любви к этому отсталому виду. Жадному, одинокому и несчастному. Голуби строили из себя глупых куриц, чтобы человеку не было так тоскливо в мире превосходящих его в развитии существ. Голуби были добряками и жизнелюбами. Примитивный народ немножечко рос над собой, приручая собак и кошек, держа голубей. Эти жертвенные животные шли на плаху в надежде на чудо перерождения человеческой природы.

* * *

Голубятню отперли, и стая фыркнула в небо.

Знаете, в начале века детей в городах Америки вывешивали в клетках за окном, чтобы те дышали свежим воздухом.

Одним из аспектов оборонной деятельности голубей была бомбардировка офицерского состава помётом. Не подумайте, что подобная акция несла в себе просто эстетическую позицию. Загаженный мундир надо стирать. А хозяйственное мыло на основе берёзового дёгтя очищало не только ткань, но и — опосредованно через носителей — делало после помытия и помыслы чище.

Однако наши герои были птицами высокого полёта. Голуби Фрол и Лёша отделились от стаи и направились к линии фронта.

Основной кропотливой работой военнообязанных голубей было глушение: на высоте своего полёта птицы попадали в сеть магнитных полей Земли. Путаясь, пернатые тащили её за собой. Таким образом можно было накрыть плотной завесой целую танковую дивизию, где резко ухудшалась связь с реальностью.

Этим запутыванием, наматыванием, обволакиванием и занимались боевые спарки под руководством опытных инструкторов.

Обратно летели над дорогой. Неожиданно на опушке у леса увидели копошение. Снизались.

Пернатые наблюдали схватку Корешева с зелёным немцем. Голубь Фрол и голубь Лёша оценили по достоинству работу Калатозова. Потом почувствовали, как тряхануло лес от человеческой агонии, подхватили её волну и перенесли на своих крыльях в укромное место.

Пороховые газы обладают сильной самоотдачей, — запишет Корешев.

Покою великий субботства таинственного

Оказалось, он сильно переживает из-за Лисы.

Ночь не спал, и звёзды хлопали в горле.

Лиса закопала в нём нору и затихла, укрывшись листьями лиц.

Пробовал забыться на передовой, но ярость — не солнце, яркости не добавляет.

Корешев захотел со всей грустью заговорить о важном. В лесу влажно. Деревья затонули, и чтобы поднять их со дна земли, нужны какие-то ходули, но и ходули ходят внутри деревьев. Корешев идёт по лесу как по воде. Брезент не держит влаги, но держит вес человека. Корешев знает, что земная кора не столь тверда, как кажется. Что составляет её основу, если соль выходит из-под земли целыми куполами? Конечно, слёзы.

«Слёзы человеческие, кровь и сперма — основа земной коры», — так думал Корешев и заблуждался. Заблудившись окончательно, пошёл на лай и вышел к жилью.

На завалинке сидел отец и точил косу. Отец никогда не точил кос и не косил трав.

Корешев понял, что это сон, потому спокойно спросил отца, не знает ли он, где Калиса Мухина?

Отец не знал, но стал рассказывать про одnogорбых и двугорбых верблюдов.

— Дромадеры, — говорил старший, — хорошо плавают, потому в аду им будет спокойнее.

— Они же в пустыне.

— В аду везде вода. Приехали из подразделения, заливают пламя слезами.

«А лисички взяли спички, — вдруг думает во сне младший. — На что же ты, батя, намекаешь?»

— Если уж адовы врата поджечь, никакими слезами не зальёшь. Там ведь газ везде.

И военкор проснулся.

Свет лежал на всём ровном пространстве степи, ветер втёр его в щели, и не было ни деревца, за что можно было бы зацепиться сдуваемым взглядом.

— За что гибнут люди? — спросил себя Корешев и пошёл греть чай. Горячий чай содержал в себе ответ — человек это чувствовал и, не осознавая, просто прихлёбывал его из алюминиевой кружки.

Тоска — это то, что есть, а радость — то, куда она стремится. Наша реальность — сетчатая. Она отсеет тяжёлое и оставит лёгкое, мелкое важное. Потому как важное — никогда не бывает крупным. Оно не больше человеческого зрачка. Это мера.

* * *

Вскрыл треугольник — письмо одного из друзей-корреспондентов. Всё что удалось выяснить — у старшего Корешева было тяжёлое ранение. Но он в строю и даже принимает участие в важных операциях.

Младший вспоминал детство — как его носили на плечах, а он засыпал всякий раз, когда шли из гостей.

«Называл меня “господин 420”, пел “Тачанку” со смешными перевёртышами “все коле-четыре-са”».

А мог ещё говорить непонятные, но волшебные слова в различном сочетании:

«Есть быстрые, но долгие вещи. Например, грузовые поезда. Есть короткие, но быстрые. Например, светлячок. А есть быстрые, короткие, но долгие. Это измены».

«Посмотри, сына, лучшие печи составлены из сверчков. Стены — из тараканов. Крыши — из голубей. Все вещи куммулятивны за счёт концентрации жизни в заданном направлении. Аналог конической выемки снаряда — оберегающая своего детёныша мать».

Известие об отце позволило строить планы, но Война не давала отвлекаться. Василий написал ещё пару безответных запросов. Попробовал выяснить что-то через

свои журналистские круги. Безрезультатно. В общем, прошла весна, а тут и Курская битва подоспела.

Там-то и обрёл военкор своего таинственно знаменитого отца.

То, что потом назовут самым грандиозным танковым сражением, — не совсем таковое.

То, что открылось Василию, назвать иначе как Великая Курская Оратория — не получается.

Впрочем, обо всём по порядку.

Летом корреспондент был направлен в действующие части для составления ежедневных колонок о героическом подвиге русского солдата.

Американский виллис лихо вёз Корешева к линии фронта, когда водитель учуял неладное с автомобилем. Остановились в ближайшем селении, где пассажиру было объявлено, что на устранение понадобится несколько часов, так что заночевать, скорее всего, придётся в деревне, уютно притулившейся на вершине холма, с обрыва которого открывался удивительный вид на русское поле экспериментов.

— Чёрте что, Игнат. Завтра может наступление пойти, а мы здесь застряли, как последнее...

— Ничего, Василий Макарыч. Кабы наступление, так неплохо, — без нас справятся. А вот ежели контрнаступление — нам отсюда легче сориентироваться будет. Может, оно и к лучшему тогда.

— Слышал бы ты себя. Это же саботаж и упаднические настроения в чистом виде.

— Так не я торможу. Обстоятельства. Шкворень треснул. Стало быть, не я, а промысел. Пойду кузню поищу.

— Шкворень, кузню...

Корешев понимал, хоть и выказывал недовольство. Ему самому с одной стороны не терпелось, а с другой — кости ныли от многочасовой езды, и развалиться на сеновале — мечта, осуществляемая благодаря капризам капиталистической техники.

— Ладно. Поторапливайся тогда.

— Пойду по местным пошукаю. Может, найду чего.

Вкратце заночевали.

Звёзды всю ночь стояли над землёй, вглядываясь в расположение тёмных скоплений человеческих точек.

Утром Василий решил искупаться. Взял одежду и, раздетым по пояс, поднялся по склону на вершину холма. Вид, открывшийся ему, изумил, поразил, лишил дара речи и осмысления.

Показалось, что поднялась и двинулась вся махина Русской земли. А впрочем, не показалось.

Вот что происходило в то летнее утро 43-го года — в понимании более сведущего, так сказать, наблюдателя, каким он станет чуть погодя.

В семь часов десять минут утра началось наступление.

И наступление это с самого начала было наиболее всесторонним из всех, что случались когда-либо. Особенность его — во всеобщем единении сущего. Так теория всего оказывается изредка практикой всего.

Пошли. Танки не только срываются с места и в едином тысячном порыве накатывают на открытое перед ними пространство. Танки поднимаются в воздух. И подобно тяжёлым майским жукам низко летят на бреющем, шевеля тяжеленными гусеницами. Говорил же Лёва что-то такое.

Всё — живое и неживое, светлое и тёмное — всё, что можно назвать Своим, — действует, кусает, грызёт, дует, светит, горит, несётся.

Черви подкапывают грунт под немецкими панцирями, и те увязают в земле. Холмы стоят так, что закрывают обзор только врагу. Солнце — русское солнце — блещет прямо в глаза вражеским наводчикам. Пули, снаряды, бомбы могут уже более не проявлять своё ангельское терпение и с необыкновенной приткостью летят в нужную сторону.

Монахи снуют среди военных, никем не замечаемые. И творят, и творят полковые молитвы на разборных невидимых глазу алтарях.

Красные звёзды с могильных стел превращаются в истребители, надгробные плиты срываются прямо с кладбищ и медленно набирают высоту тяжёлыми бомбардировщиками.

Грибы пошли.

В который раз подумалось Корешеву: чем больше враг убил советских людей, тем более всего убитого поднялось в живом эквиваленте обратной волной. Не буди лихо.

Огромная волна, оттолкнувшись от высокого уральского берега, пошла в обратную сторону.

Часа два обалдевший корреспондент не верит своим глазам, после чего возвращается в деревню, чтобы прийти в себя.

— Ну что ты всё копаешься?

— Решил можжевельником заживить. Часа три подождать.

Тогда Корешев, чтобы не стоять над душой, решил прогуляться. Битва за холмом ещё доносит гром канонады, но уже ушла далеко вперёд. Пройтись через деревню — убить время. У последнего дома любопытный военкор приметил рощицу, светящуюся невдалеке. Из рощи что-то торчало, точно обмокнутая в ведро швабра.

Корешев идёт к роще, по дороге пиная камушки и слушая высоко забравшегося жаворонка. Подходит ближе...

...И видит человека, парящего на голубятне на высоте нескольких метров над землёй.

Механика небесных тел

Ноги — это и минное поле, и приподнятость над землёй. Такое поле растёт жизнью вглубь. Безногий же человек парит в невесомости безземелья.

Почему Корешев-старший стал невидим для Земли?

Потому что Корешева-старшего сделали инвалидом по пояс. Ноги ушли ходить сами, а ему осталось сидеть на скрипичных колёсиках.

Судьба вжала его в себя, как медаль первой степени, и никуда не отпустила.

— Папа?

Василий Макарыч смотрел на Макара Сергеича снизу вверх, хотя того и оставалась только половина. Голубятня была добротной, двухэтажной, светлой. В первом этаже копилась какая-то техника. На втором белели и крылатились птицы кругом воспарившего человека. Вся этажерка была опутана бесчисленными верёвками и проводами, уходящими вверх, в стороны и теряющимися в синеве.

— Чтoб меня! Вася? Сынок!

* * *

Василий поднялся к отцу наверх и сразу вымазался в густом, пахнущем ладаном и мёдом птичьим помёте. Помёт этот применялся также и в лечебных целях, но в основном фосфоресцировал по ночам.

— Папка! Ты как здесь? Какими судьбами? — младший старался не смотреть себе под ноги. Снизу его положение было предпочтительней. На одном горизонте с отцом он не чувствовал равновесия, зато ощущал неловкость.

Присел на топчан. Закурили. Руки. Руки отца были похожи на два будильника. И на них Василий мог спокойно остановить взгляд. Более того, мог видеть время и слышать ход заведённых пружин.

Дюжины и дюжины верёвочек, ленточек, пеньковых канатцев и суровых нитей шли от отцовского кресла наружу — в небо, в лес, как бахрома распушённой действительности. Клетка была похожа на приют сумасшедшего ткача.

— Правда, что ты в такой глуши делаешь?

— Как тебе сказать...

Наследственностью Василия Корешева была способность притягивать жизненные силы.

Отец его мог управлять ими.

Оказалось, что организовать все силы — ангельские, нечистые, природные и даже неорганические сподобился один безногий человек. Точно какую-то компенсацию за инвалидность получил в виде — нет, конечно, не божественных — способностей, но координаторских, что ли, на самых тонких уровнях.

Корешев-старший круглый день проводил на голубятне. Это был его штаб. Оттуда он связывался одним ему известным способом со всеми стихиями.

Отец разоткровенничался. В его деятельности настал редкий перерыв — лавина катилась пока без его участия. И никто её не мог бы остановить. Потому Макар Сергеевич, то резко обнимая, то трепля за шею, то хлопая сына по колену, увлечённо рассказывал свою удивительную историю.

— На Руси всё не слава богу: польёшь водой каменный уголь — он и возгорится! А если подумать — так и слава богу!

Коли взять орден Красной Звезды погибшего лейтенанта и приложить его к дереву, появятся жуки-пожарники. Если приложить к земле — выйдут черви. Очень уважают они знаки боевого отличия.

Чтобы попросить лёд замёрзнуть и закрыть залив раньше времени, нужно в морскую воду уронить детскую слезу.

А чтобы ураган разметал вражескую авиацию, можно петь народные песни в чистом поле. Лучше всего убаюкивают убаюдков колыбельные. А вот «Марш авиаторов» — вообще не работает, возможно, по причине фашистского плагиата.

Сдвинуть гору тоже вполне реально. Нужно насыпать щепотку горчицы. Удивительно, но в это библейское выражение, в эту демонстрацию веры никто почему-то не верит. И никто, соответственно, не проверял. А я сподобился.

Отец, казалось, восстал над окружающим. Визуально стал выше, вытянулся, как язык пламени. Его магия была очевидна.

— Жуковский ошибся в расчётах, или, скорее, Чаплыгин. Сами по себе железяки не избегают вверх по уплотняющемуся от скорости воздуху. Любой летательный аппарат требует усилия бесплотных существ — сил и престолов. Мы их всех называем ангелами.

Теперь отец сидел на плывущей в воздухе дощечке, устланной цветами.

— Снежный человек — отпочкование от наших конечностей. Те ощущения, что возникают, когда рука затекает. Или фантомные боли отрезанных ног. Или сводит пальцы. Всё это как-то формирует это квази-существо. Существо, сотканное из оторванных и отрезанных конечностей.

Бабочки — самые сильные. Бабочки и муравьи. Своей нежностью они успешно противодействуют броне. Жаль, ты не застал... У нас битва пошла такая, что...

— Видел краем глаза.

— Краем. Забить в каменные трещины колышки и намочить — треснет. Так и мы, используя тонкие взаимодействия, разрушаем грубую силу противника.

Личные вещи убитых имеют очень большое значение.

Можно набрать ушной серы и пробивать ею броню «Тигров», но проще сделать, как сделал твой друг Рубин. Замурчать их.

— Ты знаешь Лёву?

— Он достаточно известен в узких кругах. Это не он темперировал клавир по принципу шоколада? А, впрочем, не сейчас. Ты сюда посмотри, — отец указал рукой в сторону поля с белыми одуванчиками. — Внимательно смотри.

Старший принялся извлекать звуки из допотопного механизма, напоминающего то ли оторванную клавиатуру рояля, то ли школьную откидную парту. Гул нарастал, и поле стало быстро наполняться туманом.

— Видишь? — Оборвав мелодию: — В земле образовались мехи из-за огромного количества пустот.

— Пустот?

— Захоронений. Смерть выдыхает себя через одуванчики, а те, добавляя клоунской солнечности, используют свои соломки для изготовления мыльных пузырей. Когда головки разрастаются до немыслимых размеров и начинают переливаться всеми цветами радуги, раздаётся хлопок, и весь этот пух складывается в точку. Так возникает туман. Мы можем напустить туману на вражеские войска, охладить его до атмосферных осадков в виде дождя или снега и даже превратить в ледяную стену при должном исполнительском мастерстве.

Вернулись голуби. Сделали несколько ниспадающих кругов, словно спускаясь в открытый карьер, и просочились внутрь клетки в поисках вымокшего зерна. Птицы выглядели уставшими, а в крыльях посверкивали электрические разряды.

— Как ты уже догадываешься, смерть — самый мощный источник жизни. И сейчас её фундамент — та база, на которой строится будущая победа. Помнишь в сказке? — сперва мёртвой водой, чтобы срослось. Вот уже и срослось всё. А теперь из неё жизнь поплёрла. Да какая! Вещи убитых цветут исподними папоротниками. Тропинки в лесу путаются под ногами. Воздух, оставшийся после отравляющих веществ, — дышит сам.

— Папа! — Младший сглотнул важное слово, но снова достал: — А где тут Бог?

— Так везде! Это же Его смерть на кресте и двигает сейчас нами. Мы в Субботе, сынок!

Голуби ели тепло с глубинным урчанием. Зерно, перебранное словом.

— Пойдём и мы перекусим. Война войной, а обед — по расписанию.

И старший запросто сгинул вниз на руках, скользнув по поручням.

* * *

— Пап, тебе ничего не известно о лейтенанте Калисе Мухиной? — набив рот тушёнкой. — Или, может, ты мог бы узнать из своих источников? — справился Василий как-то между делом, сам не будучи готов к ответу.

— Нет, сынок. Не в этой жизни. Прости, дорогой. Ускорение вращения Земли является следствием активности населения. Бульшую часть импульса дают несвоевременные шаги. Потому не дёргайся лишнего. Посиди со мной.

Посидели.

— И ты один управляешься со всем?

— Как тебе объяснить... Я ведь не один. Я только сдвинул пласт, который никто не решался тронуть. Ещё до войны мне пришла в голову одна идея. Решил проверить.

К примеру, мой сынок Васятка родился 5-го апреля, а вот зачат был на девять месяцев и два дня раньше на высоте семи метров шестидесяти двух сантиметров от земли. Этот факт является чрезвычайно важным моментом в биографии человека. Земля, как известно, имеет электрический заряд в один кельвин. Человек также существо электрическое, если учесть, что миокард — генератор микроразрядов. Получается, разность потенциалов играет какую-то роль в жизни индивида. Но вот интересно, какую?

Человечек — как электрон. Всем ясно, что он находится на своей орбите, а как начинаешь выяснять, точность понимания пропадает.

Случайно ли наш Спаситель был распят на кресте? Высота его смерти от земли равнялась разнице потенциалов. Четыре гвоздя в цепи обеспечивали напряжение. Это первая и единственная на данное время машина времени, прости Господи.

Старший замолчал и, казалось, погрузился в свои прочные мысли.

— И вот — наше время. Начало войны — столкновение двух небывалых по ёмкости сил. Мириады частиц, без толку толпившиеся у земной поверхности, выстроились в две равносильные противодействующие стороны, появились минус и плюс, каких до этого не существовало.

Но — к сути, что имеет непосредственно прикладное значение. Ты видишь, в чём между нами разница?

— Ты умнее.

— Нет, сынок. Эта разница — разница потенциалов. Ты стоишь на земле, тогда как я благодаря своему увечью, почитай, что парю.

— Не переживай, мы попробуем...

— Напротив, это — дар. Мой заряд чуть увеличился, и я стал в состоянии проникнуть в суть тонких полей. Попросту — видеть духовный мир. Но не это главное. Кто я такой, чтобы в одиночку на что-то влиять? С начала войны безногих солдат накопилось уже, почитай, более миллиона. И вот тут начинается метафизика.

Для осуществления обычного фазового перехода жизнь-смерть достаточно зарядов плюс-минус. Для перехода смерть-жизнь необходимо дважды отрицание или дважды утверждение. Отрицание себя, как сделал Спаситель, не есть отрицание самоубийцы. В этом случае самоотречение накладывается на отрицающий мир. У самоубийц имеется отрицание себя при содействующем окружении. Минус на плюс. И фазовый переход банален. Вот два плюса — это уже сложнее. Казалось бы, не должно возникнуть отторжения и, соответственно, перехода, но...

Как я тебе и говорил, мы — в Субботе! Смерть Спасителя на кресте и двигает сейчас мирами. Но до Воскресения недалеко. А даже если и далеко — это не имеет никакого значения. Потому что Пятницы уже не будет никогда!

Калека откинулся в кресле и закрыл глаза.

* * *

Передохнув, отец отправился наверх, наказав Василию обязательно его дожидаться. Но младший знал уже, что они больше не потеряются и, оставив внизу записку со своими координатами, тихо вышел из сарая, бросил взгляд наверх, где старший

увлечённо колдовал, и двинул в обратный путь, не попрощавшись. На войне главное — обеспечение действующих частей. Отец был сейчас на передовой, и простой корреспондент не имел права его отвлекать.

По дороге мысли прыгали с ветки на ветку. Отец — его батя — ворочает такими вещами! В голове не укладывается. А как же диалектический материализм? Да и интернационал выходил не совсем коммунистическим, а каким-то вселенским, что ли. Василий вспомнил слово «кафолическим».

И всё равно — нельзя окончательно подпадать под власть идеи. Даже самой великой и светлой! Корешев видел это в своих товарищах. Он видел это во врагах. Обыкновенные недалёкие умные талантливые добрые сердечные люди превращались в атомоходы. Эта же сумасшедшинка была и в чудесным образом обрётённом отце.

Жаль, что война закончилась

Ни одно существо не способно понять внутренних мотивов войны, ибо суть её — неографика. Мегалитические подвижки и материковые стоны. Война — следствие тектонических напряжений. Напишет Корешев, сидя на ступенях поверженного рейхстага.

Да. И любой конфликт — это разрядка тектонических напрягов. Не случись войны — последствия могли бы быть гораздо более катастрофическими — как это ни жутко звучит среди десятков миллионов могил.

Допишет гораздо позже.

* * *

Рубин, Дядя и Корешев пересеклись ещё один только раз вскоре после окончания войны. А нашёл и собрал их — кто бы вы думали? — отец Кирилл.

Московский дворик с детским садом и библиотекой, укрытый от глаз Высокопетровской стеной. Комната общежития — любезно предоставленная братом священника. Из окна видны литейный цех и ремонтная мастерская. Только располагаются они в храмах — соответственно, Боголюбской иконы Божьей матери и Святителя Петра, как объяснил отец Кирилл.

Пост, но батюшка не может обидеть однополчан и поднимает чарку, и заедает горечь салом, и знает, что сейчас можно.

По подоконнику ползёт улитка. Держа путь напрямиком к наполовину полным стаканам. Улитка здоровенная. Мокрое тело стремится вдоль, тогда как твёрдый панцирь клубится над ним грозovým облаком, а никак не домом.

Пластинка Руслановой.

Выпили — закусили.

— А она выступала однажды у нас. Вместе со всей фронтовой бригадой. В жизни гораздо ярче... — Дядя расчувствовался. — ...Чем на обложке.

— Из старOVERов.

— Лев, меня не оставляет один вопрос. По какому принципу нас отобрали тогда?

— Ха. Вопрос, конечно, интересный. Вы опять будете смеяться. По принципу музыкальной гармонии. Когда операцию утвердили, я подал заявку в Первый отдел и в Отдел кадров с определёнными техническими условиями на специалистов.

И мне выдали по десять кандидатур. Но я же музыкант. Взял ФИО, даты рождения, переложил их на ноты, ведь все ноты имеют цифровое и буквенное выражение, и сыграл. Ваши звучали лучше других. Без фальши, хотя не без сучка.

— То есть пальцем в небо!

— Единственно верное решение, между прочим! — батёк разлил по доньшкам.

Помянули погибших. Все воевали до и после операции, но вспоминают, понятное дело, то, что объединяло. И как повлияла их диверсия на ход дальнейших событий.

— Лёва, ну скажи честно, совпадение же? — Дядя вспотел и захмелел.

— Честно? Не знаю.

После того, что Корешев видел на Прохоровском поле, он не сомневался ни в чём.

— Вот почему ты, Дядя, сам себе не веришь?

— Я, кстати, обратно Семён. Как контузия прошла, стал откликаться на имя собственное.

— Прости, дядь Семён.

— Нормально. Как это — сам себе?

— Ну, ты же с верой вырезал Богоматерь из солевого столба? Ведь иначе бессмысленно всё было. Отчего ж сейчас усомнился?

— Честно, Вась? Я выполнял приказ. Я больше нашей партии и командованию верил, чем себе.

— Ну и верь, — Лёва обиделся.

На жаре всех малость подразвезло. Один батюшка сохранял некое благообразие.

— Вера, она в любом изводе чудеса творит. Моя позиция неизменна. Споспешествование нашему делу всего собора святых, просиявших в земле русской. Сподвижничество Матушки и Сына Человеческого. Без них любое дело пусто. А в том, что Лёва верно всё нахимичил на уровне материи, — его заслуга, но и роли ангела-хранителя нельзя умалять.

— От! — слабенький Лёва поднял указательный палец. — Вот уже и духовная власть меня признала! А из инженерных войск попёрли. Сказали — не наш профиль.

— Ну, профиль, Лёва, у тебя и в самом деле не наш! — ласково поддел Корешев, и все засмеялись.

— Эх, хорошо, — закурили в комнате. Дым слоями качался в солнечных пятнах.

— Ребята, а я вам так скажу: жаль, что война закончилась.

— Ну, даёшь!

— Нет, Дядя... Семён в чём-то прав. Война объединяет, мир разъединяет. Война выявляет главные качества человека. Он либо трус, либо умеет преодолевать страх. Либо спасёт товарища, либо предаст. За всю жизнь можно так ни разу и не узнать такого про себя. — Лёва клевал носом, но не терял нити.

— Нельзя столько счастья одному народу. Больше двух в одни руки не отпускают. А тут целая охапка, — Корешев потел.

— Война — обычное состояние мира, — батюшка затушил вонючую Лёвину папиросу. — Ангельские воины ведут непрестанную битву. Кто поверг сатану? А духовная брань святых отцов? Это дело повседневное. Скажу страшнее — человек и рад бы вернуться в это чистое и ясное состояние из мути повседневной жизни. На войне есть правда смерти. Да и враг — перед тобой. В мирной жизни всё гораздо запутаннее. Человек иной раз и не догадывается, что он сам себе враг. Главное только — не искать войны. Не искушаться. Она и так нас найдёт. Меня вон, матушка ждёт в Ташкенте, — тепло улыбнулся.

— Ну что ж, стало быть, ещё повоюем.

Корния цвета сени

Может ли пламя возникнуть из своего антипода — воды? До войны приходилось наблюдать, как во время дождя отвалы каменного угля у котельной самовозгораются. Так и мы — мы должны были предложить врагу что-то парадоксальное, — и мы предложили свою смерть. Но от этой смерти, как от воды, — пошла химическая реакция, и зажеглась жизнь по всей русской земле.

К 43-му году, наконец, набралось (как это ни бесчеловечно звучит) необходимое и достаточное количество жертв для искупления 37-го. И пошли воскресение, и весна, и Сталинград, и Курская дуга, и Пасха. И Гендальф Серый стал Гендальфом Белым.

* * *

Госпиталь располагается в школе ближайшего Подмосковья. Высокие потолки — светлые большие окна. Лето вламывается в палаты с самого утра — классы выходят на солнечную сторону.

Лиза Солнцева плачет: сегодня привезли тяжелобольного, в котором она узнала своего бывшего одноклассника.

Кто-то из сестёр подметил, что чем больше умирало раненых, тем светлее становилось постельное бельё, которое после них стирали.

И теперь Лёва Рубин лежит один в палате, и бельё под ним просто светится.

Музыка, находящаяся в нём с момента подземной встречи с клезмерами, начала искать выхода. Но долго не могла найти себе подходящего инструмента. Потому звучала внутрь сосудов, увеличивая сердечное давление.

Лиза плачет в подвале рядом с кучей грязного белья.

Лизе страшно за далёкого близкого человека. Это правда — она может представить Лёву как далёким, так и близким. Годы сражений унесли ту, довоенную, жизнь. Но вот он здесь и сейчас — возмужавший и закопчённый — олицетворяет собой пробившийся через весь ужас росток того выпуска — 21 июня 1941 года. Лёва Рубин прорубил собой окно из довоенного — в послевоенное, вобрав в себя четыре страшных года. С него война для Лизы началась, на нём и закончилась.

— Посмотри, есть дыхание? Да не нагибайся так, — зеркальцем. — Но Лизе самой хотелось услышать жизнь в однокласснике.

Толстая фельдшерица надулась.

Когда Лиза склонилась над Рубиным, Лёва приоткрыл разрозненные глаза — фокус Лизы выпал из линзы, словно нателный крестик, и зацепился за тянущийся к свету фокус бойца. Так они и остались — спутанными и перевёрнутыми на всю жизнь. Чечевицы восстановили своё опаздывающее зрение, а взгляды теперь навсегда были одинаковыми.

На самом деле Рубина зацепило ещё тогда, в соляной шахте. Когда Гитлер как водная форма жизни пошёл насыщаться русской каменной солью, Лёва вошёл с ним в резонанс и начал истощаться.

Ни один врач не смог поставить диагноз. Больного перевозили из госпиталя в госпиталь, смотрели светила вначале в Восточной Европе, потом в Москве и, как бы по нисходящей уже, разместили в посёлке Стаханово в области, куда вызвали специалиста из Рязани, славящейся своим пивом.

Но и тот только развёл пустыми руками, в которые прямо просилась кружка, а ценный специалист угасал на глазах.

Рубина положили в отдельной палате, назначили консилиум на через неделю и оставили умирать.

Вот Лиза Солнцева и оплакивала его живого. Сначала она уходила в подсобку, чтобы никто не видел. Красные глаза стала прятать за зелёными очками.

Лёве становилось хуже — ей зеленее. Она вдруг поняла, что не сможет его потерять во второй раз, хотя что между ними и было-то? Неумелые поцелуи? Десять лет детских воспоминаний? Два года за одной партой, из которых только в последний она вдруг разглядела в худюшем музыканте интересного крепкого парня? А потом заворожилась. Музыка, что он играл, вещи, о которых рассуждал, руки, когда ножом, точно смычком, резал хлеб.

И ещё его военные письма. В сорок третьем она получила первое и ответила. Завязалась переписка, которая оборвалась в сорок четвёртом. Рубин слишком часто воевал.

Прошло двое суток, и Лиза заплакала в голос. Её рыдания не были истерикой, но сотрясали всё тело с высокой магнитудой.

А потом она перестала всхлипывать, и слёзы уже просто вытекали из молчаливых глаз ровным потоком. Порою пол в палате был залатан мелкими каплями дождя, и приходилось брать половую тряпку.

* * *

Как потом осознает майор Рубин, Лиза своим плачем просто восстановила солевой баланс в его организме.

И ещё одно понял тогда Лёва.

Если фрески — это наложение краски поверх мокрой штукатурки, то и красоту надо наносить на плачущего человека.

Дело пошло на поправку. Персонал только диву давался. На третий день Лёва уже сидел в кровати, самостоятельно лопал паштет и решительно затребовал свой планшет. Добравшись до содержимого, раздобыл бумагу и карандаш и что-то второй час усиленно кропает. Уж не стихи ли?

Впрочем, нет.

НО ПРИШЁЛ СОЛДАТ И ЗАСЛОНИЛ СОБОЙ УЯЗВИМОЕ РУССКОЕ СОЛНЦЕ

(Война как центральная точка поворота колеса Страдания.

Футуристические предсказания Льва Соломоновича Рубина)

1937—1941 — (4 года) со страшного прокажённого 37-го, когда Страна униженно стояла на коленях перед своими насильниками и молила сильнее наказать её.

1945—1949 (4 года) — год, когда — верю — появится искусственное солнце — ядерная энергия, и человечество перестанет зависеть от природы. Искусственные солнца решат естественные потребности.

1929 (12 лет до войны) — массовое закрытие храмов, разрушение монастырской жизни, физическое уничтожение священников и церквей.

1957 год (12 лет после) — возможно, либо прободение земной коры до преисподней, либо запуск первого искусственного спутника. Пробивание небесной тверди и полёт к Богу.

1917—1941 — 24 года после революции, которая раздавила класс дворянства.

1945—1969 — (24 года после Победы) — появление новых людей — внутреннего дворянства.

(На деле, Лёва окажется прав и в последнем пункте — до снятия фильма «Жил певчий дрозд» остаётся чуть менее 25 лет.)

Упоминание ослика

Всю неделю Рубин не помнил себя — то ли от слабости, то ли от счастья. Если кого и отвязали от пространства, так это Лёвушку.

В подвале располагалась прачечная. Груды грязного тряпья, которое сортировала Лиза Солнцева. И Рубин стал помогать — и чувствовать тепло людей, доходящее неприятным запахом и отталкивающим видом. Однако же это и была чистота. Словно одежда брала на себя что-то смертное в людях-победителях, а человек оставался в той рубашке, в которой родился. Физическая грязь была в те дни тождественна душевной красоте очистившихся и очистивших свою землю от тяжёлой болезни бойцов. Словно простыни ошпарили солнцем.

Статистика. В последние годы войны количество переросло в качество. И вот теперь качество как бы гостило на земле последние месяцы, чтобы, обойдя все закоулки родины, покинуть её, вернувшись снова в количество — в обыкновенные статистические показатели безвозвратной убыли населения. Но пока эта убыль играла главную скрипку в душевном подъёме страны.

* * *

В июле не выпало ни дождинки. Солнце выложило на прилавки весь свой урожай.

Плакат при входе в парк гласил: «Когда бронебойщик стоит на пути, фашистскому танку нигде не пройти!»

Бледные лица малышей. Ручеёк с изменённым сознанием. Солнечная система ценностей. Всё говорило, нет, кричало — отстояли!

«Отстояли. Всем миром. Вот, нашёл», — подумал Лёва и где-то записал спецкор Василий Корешев. Люди, дэхи, дух(?), чёрт возьми, флора и фауна, климат и ландшафт — всё собралось в единое целое. Всем миром победили войну.

Бывает яйцо, приготовленное всмятку, бывает — вкрутую. А есть ни то ни сё, но то, что любит большинство, — в мешочек. Вот сейчас было такое время — в мешочек. И любовь у Рубина с Лизой была в самый раз — в мешочек.

По улицам города шёл Заболоцкий.

* * *

— Представить только, сколько народу жило на Земле за весь период, ну допустим, как люди стали давать друг другу имена.

Влюблённые сидели на подоконнике третьего этажа. Шла пересменка, и Лиза могла побездельничать.

— Много, наверное.

— Десятки миллиардов. А ведь с момента, как появилась письменность, многие упомянуты в городских книгах записи гражданского состояния, в церковных метриках, в письмах. Есть идея: во-первых, нанести имена всех когда-либо упомянутых на таблички. А во-вторых, запустить запись поминальной молитвы, в непрерывном режиме перечисляющей всех поимённо.

— Коммунистической?

— Молитвы? Вроде того. — Лёва не уставал удивляться светлости и наивности дорогого ему человека: — Это будет самая грандиозная стройка со времён египетских пирамид.

— Но как будут заносить новые имена, ведь в мире каждую секунду умирает несколько человек?

— Что-нибудь придумаем. Скоро машины за нас думать будут. А у них, знаешь, какое быстроедействие возможно!

— Это потому, что их не будут отвлекать эмоции, — Лиза неосознанно придвинулась к Лёве.

— Видел я как-то фильм про строительство ГЭС. Там одна высота плотины десятки метров. Миллионы кубометров воды дают миллионы киловатт энергии. Я хочу сделать такую же духовную электростанцию. Упомянутые — со своей стороны — смогут помогать нам жить здесь, в этом неорошаемом мире. Миллионы кубометров любви.

— Но ведь там перекрыли реку, чтобы её использовать, а как ты извлекать энергию собираешься?

— Это самое интересное. Никто извлекать не собирается. При произнесении имени покойного происходит падение камешка в Лету. Миллиарды тонн перекроют реку забвения и создадут энергию памятования.

— Никто не забыт, ничто не забыто!

Лиза вскинула правую руку в пионерском приветствии и радостно прыгнула с каменного подоконника.

* * *

Крик. Шум. Грохот опрокинутого ведра.

Санитарка клялась, что стоявшее взаперти оружие при её появлении рассыпалось вдруг дюжиной котов и разбежалось по этажам с весёлым мяуканьем. В общем, недосчитались десяти единиц.

И вот добровольцы из ходящих и выздоравливающих разбрелись вместе с личным составом по госпиталю в поисках недостающих то ли котов, то ли боекомплектов.

Рубин весело инструктирует Лизу на случай встречи:

— Они же домашние, а стало быть, при виде человека не боятся, а, напротив, играют. К животному бежать бесполезно. Улизнёт. Бежать надо от — тогда оно начнёт тебя преследовать. Автоматическое оружие, кстати, тоже любит догонять убегающих. Пошли вниз, они предпочитают чердаки и подвалы.

* * *

В цоколе тишина, прохлада и груды чистого белья, возвращённого прачечной.

Двое целуются в утробе школы. Метлахская плитка смутно отражает силуэты, матово скрадывая, скрывая таинство от чужих глаз.

Для зачатия важно, чтоб рядышком было непременно дегтярное мыло.

Ещё мыши. Да, мыши также важны. Они обосновывают собою быт. Являются живым наполнением базиса. Шныряют в фундаменте и говорят о том, что есть в этом всём какое-то зерно.

Потому, когда мимо влюблённых юркнула серая тень, Лиза обняла Лёву крепче.

А вот коты совсем необязательны. И даже распугивают мышей. Потому о них забыли, как только спустились вниз.

Впоследствии выловили то ли трёх, то ли восьмерых.

Наказывать за халатность никого не стали: Победа!

* * *

Но если для рождения необходимо зачатие, то по смерти должно быть отдание.

От зачатия до рождения мать вынашивает плод. От смерти до отдания тьма снашивает его обратно. Мать-тьма. Время полного исчезновения не менее важно, чем

момент зачатия. Акт отдания есть разрыв связей между двумя людьми. Расставание соответствует отдаванию чьей-то жизни. Во внешней видимой реальности эти события никак не связаны. Но в общей судьбе человечества тесно переплетены. Чем реже люди расстаются, тем меньше смертей.

И тем больше рождений.

Если будущий человек может быть любой тональностью, пусть он будет тональностью фа-минор, потому что «она довольно сурова, на полпути между сложной и простой, между прямой и страстной, между серой и очень яркой...»

Засыпая, подумал Лёва, спутав чьи-то слова с собственными мыслями.

Знаю только что

Утро обычного послевоенного дня. Сирень сильнее воздуха. Просторная квартира Корешевых утопает в оттенках фиолетового спектра.

Инвалид копается под кроватью.

— Ты куда-то собираешься, папа?

— Нет, сынок... хотя, да. — Отъезжает с фанерным, обитым светлой клеёнкой чемоданом. — Не говори пока матери...

Старший ловко запрыгивает на пружинистую кровать на руках.

— Послушай... — закуривает и с шумом выдыхает дым в окно. — Я должен быть при деле. Иначе сойду с ума.

— Но ты же ещё не отдохнул совсем. Врач говорит — нервное истощение. Надо восстановиться. А путёвка в Минводы с мамой? Санаторий.

— Вот. В том-то и дело — с мамой. Ты что, не понимаешь, какая я для неё обуза? Да я не в том смысле, я понимаю, она меня любит, а не жалеет. Но и меня пойми: ну не могу я так — половинкой при ней болтаться.

— Папка-папка. Глупый. Она умрёт без тебя.

— Я всё продумал. Санаторий будет, да ещё какой! Да что мы перескочили с главного-то? Я, ты, мама. Мы и так есть. Я страну придумал новую...

— Подожди, папа, родной, думаю, можно вернуть твои ноги!

— Эх-хе. А надо ли? Вот вопрос.

Но Василий таки уломал отца попробовать. Ради матери. Протопоп Аввакум писал, что у истинно верующих вырванные языки вырастали обратно, и те уже могли понемногу гутнить.

Тщательно перенесли иероглифы из тетради Анвара на подоткнутые галифе калеки.

— Не верю я.

— В своё язычество веришь, а в древнюю магию нет?

— Потому и не верю, что чужое.

Впрочем, ноги вроде бы стали даже по чуть-чуть отрастать, но тут больной начал терять зрение. И сказал «стоп»: «Видеть мир лучше, чем его топтать! Уйди, сынок».

* * *

Смеркается. Рабочий люд расходится по домам с городских производств. Корешев вернулся из редакции, где пообещали напечатать его большую статью о злоупотреблениях служебным положением на местах. Это серьёзный прорыв и волнение.

Отец сидит в сумерках прихожей, парадно одетый, всклокоченный. Новенькие генеральские погоны и начищенные ордена не скрывают его переживаний.

Тяжёлые руки вновь заведены и громко тикают. Увидев сына, спешит предварить возникающие вопросы:

- Собрался вот! В санаторий, сынок! В санаторий на казённые харчи!
- Не бережёшь ты нас. — Василий присел на обувной ящик.
- Да погоди ты. Это я неверно выразился. Вот, сынок, ты же не упрекал меня, когда я с фронта вам не писал, осуществляя при этом своё невеликое командование?
- Не осуждал. Знаю, что не мог иначе.
- А чего же за новую миссию меня попрекаешь? Ведь размах её — всесоюзный, если не сказать всесторонний. Выслушай сначала, потом уж суди.

Василий знает отца и видит, что решение его окончательное. Потому и дождался его, оттого же и раньше прихода матери хочет свалить.

— Давеча я тебе как-то начал было рассказывать, да ты меня ногами сбил. Вот теперь заново слушай. Сказал я тогда, что целую страну новую выдумал. Ну да. По масштабам и географии — наверное. А по сути... — он понизил голос, — что-то вроде тайного ордена.

И озорно откинулся на спинку. Мол — каково?!

— К делу. Что мы имеем? Сотни тысяч людей с ограниченными возможностями, без рук и ног, заброшенных и попрошайничающих на вокзалах, на улицах и в других местах. Так ведь? Такую картину видят простые люди из окон своих коммунальных квартир. А ведь кто это на самом деле? Ты сам видел всё своими глазами там, на Дуге. Это люди с неограниченными возможностями! Это солнечные батареи! Это фильтры бытовой и производственной атмосферы!

Советские люди — преумножают богатство нашего государства, обеспечивают, как говорится, материальное благо. Но есть иное благо, забытое, отставленное до времени всеобщего обустройства. Возможно, пришло время задобрить почву. Приготовить пути для идущих следом.

— Ты о чём, папа? — за окном стоял жаркий летний вечер, но у младшего ооченели ноги. Он поискал глазами шкаф с шерстяными носками.

— Такие, как я, здесь не нужны. Мы тут не при деле материального строительства. Физически мы не в состоянии помочь вам созидать счастливое будущее. Но энергетически, потенциально — калеки ещё востребованы. Я переговорил с товарищами. Там, на самом верху. Честно говоря, до конца свой план им не раскрыл. Но это — чтобы не пугать поначалу. У нас же много перестраховщиков.

— Так в чём твой план, папа?

— Мы заселим монастыри по всей нашей необъятной родине. Полгода я обивал пороги (в прямом смысле, заметь!), и вот — лёд тронулся. Вышло распоряжение. Из ведения главного управления лагерей многое сейчас передают в фонды Минздрава. Оборудуем поначалу санатории, будем лечить... Прикрой-ка окошко.

Василий встал, убрал с подоконника вазу с салютующей сиренью и со скрежетом закрыл двустворчатое окно.

— Одному тебе говорю, сынок. Возможно, мы существуем в двух реальностях, наложенных одна на другую, — волновой и корпускулярной. Пространственно-временная и энергетически-импульсная картины, написанные одна поверх другой. Но это не суть. Инвалиды войны — это предтечи. Что-то вроде монашеского ордена, только начальной ступени. Орден Отечественной войны третьей степени.

Поначалу откроем специализированные санатории для инвалидов, тайная миссия которых — подготовка духовной почвы для возрождения монастырей! Если хочешь, что-то вроде кварцевания воздуха. Очищения, оздоровления. Физические страдания

миллионов калек — это, я тебе скажу, штука повольтовее Курской Дуги будет. А потом и твой друг, коли жив останется, подключится.

- Какой друг?
- Отец Кирилл. Он к тому времени в митрополиты, глядишь, выйдет...
- Всех-то он знает.
- Служба такая.

Эпилог

Когда с улиц советских городов почти моментально исчезли пьяные безногие инвалиды, Василий Корешев один знал, куда они подевались.

Конечно, он ещё не раз будет навещать отца. Конечно, мать того простит, хотя так до конца и не поймёт. Конечно, это всё тяжело и очень по-людски.

В конце своего пути Макар Сергеевич Корешев, уже постриженный в монахи под именем Варфоломея, призовет сына с внуками и обнимет их на прощание до встречи.

- Орден-то уже второй степени, — шепнёт непослушными смешливыми губами.
- Какой орден, папа?
- Как? Ты забыл, как мы шутили? Орден Отечественной войны.
- Ах, да. Твой Тайный орден... — младшему было тяжело вот так прощаться со старшим.

— Да, просто шутили... Как Лёва твой поживает?

— О, у него всё хорошо. Дирижирует. Ван Клиберну ассистировал недавно. Четверо детей у них с Лизой.

День догорал. День становился пеплом, но не исчезал окончательно, а преобразовывался во что-то полезное. Им можно посыпать осенние розы, и зимой никакой мороз не страшен. Его можно добавить в питьё и выпить при отравлении. Или просто с нежностью пересыпать из ладони в ладонь прах чего-то большего.

— Папа, — помявшись, приблизился вплотную Василий. — Я тут книгу пишу о войне. Хотел спросить. Что, Гитлер действительно был какой-то волной? Вроде водной формы жизни? Вы же с Лёвкой как-то это всё формулировали тогда.

— Знаю только, что Гитлер умер в Антарктиде от обезвоживания, — улыбнётся седой благообразный старичок. — А, впрочем, глупости это.

Ната Сучкова

Весь мир — открытье

* * *

В высоком небе — самолёт,
в иголках — ёлка.
Спускаюсь на лёд,
где вся река теперь в наколках.

Мальчишки с краской —
что с них взять! —
вся жизнь — открытье,
тут можно много написать
таких граффити.

Весь мир, как чистая тетрадь,
Снег — промокашка.
Весь мир — открытье, в душу мать,
дай открывашку!

Пусть дед удит в свою дуду,
и две русалки
над синей надписью на льду
катают санки.

* * *

Если что-то происходит, это что-то неспроста:
поезда от нас не ходят, не летают поезда.

Это нам придумал кто-то — попади под хвост вожжа! —
не садятся самолёты, только с птицами кружат.

Вот, стоим посередине самой матушки России:
Слева — снег, а справа — мох.

Это — мёрзлое болото, это — ссыльная икота.
Хорошо придумал кто-то: мы на лыжах, с нами Бог.

Ната Сучкова (Сучкова Наталья Александровна) — поэт, издатель. Родилась в Вологде в 1976 году. Окончила Литинститут им.А.М.Горького в 2006 году. Автор книг стихов «Лирический герой» (М., 2010), «Деревенская проза» (М., 2011), «Ход вещей» (М., 2014), «Страна» (2022). Лауреат премии «Московский счёт» (2011) и др. Живёт в Вологде.

* * *

Окуня окуни, окая «ок-они!»
 Мелкие рыбёшки, мокрые зверёшки.
 Как на Вологде-реке
 Удят рыбу рыбаки.
 Нет с тебя навару —
 отдают задаром!
 Вы пишите нам вотсап,
 Продаём вотсап живца.
 Вёдрами, ушатом —
 Но не окушата.
 Никаких с тебя деньжат,
 Кверху брюхами лежат,
 Разве что воронам —
 Часовым затона.
 Ухи у шенят дрожат —
 Больно жалко окушат,
 Эх, смотрите в оба —
 Некому вас лопать.
 Окуня окуни, в реку-Вологду верни,
 Он вернётся прежде
 Щукою из Лежи,
 Запечённым судаком али рыбника куском,
 Хитрый полосатый — булькает вотсапом!

* * *

Людмиле Егоровой

Я хожу по набережной каменной
 и с англичанами знакомыми раскланиваюсь.
 Занавес. За занавесом — зарево:
 лето, уползающее в пасть ему.
 Смотрим в воду, точно в телевизоре,
 где показывают — высоко ли, низко —
 то, что в облаках тебе написано
 почерком кудрявым по-английски.
 Тянется расхристанная музыка
 вслед за теплоходиком двужилым.
 Мужики красивые и русские
 закусон нехитрый разложили.
 Дайте нам краюшку и довесочек,
 остальное мы допишем сами.
 Бог забыл задёрнуть занавесочку —
 мы за занавесочку заглянем.

* * *

Батюшков лежит под вязом,
 Вяземский лежит на лавре,
 с вологодского иныза —
 туча. Родины отравы.
 Птичка-Батюшков нам свистнет,
 всё ли так, как им хотелось?
 Прилетайте к нам слависты,
 нашу детку — вам на милость!

Туча взмокнет, вяз провиснет,
 бородой худой трясти.
 Веселей свисти, слависты!
 Крошка-Батюшков, прости!
 Приезжайте, бога ради,
 вот своим ключом открыта
 Вологда в её оградке,
 с Батюшковым на открытке.

Александр Киров

Рассказы

Амур Амурыч

И, по причине умножения беззакония,
во многих охладает любовь.
Претерпевший же до конца спасётся.

Евангелие от Матфея 24:12—13

Мы едем в лес, в наше любимое место.

Раньше мы туда ходили, а теперь едем. Помнишь, Амур Амурыч?

Но обо всём по порядку.

Лет пятнадцать тому появился у меня друг, а вернее, подруга.

На редкость паршивая полоса была тогда в жизни. Мать онкологией заболела. Долго болела. Я за это время с женой развёлся. Потом мать померла. Я запил. Потерял работу. Дошёл до самого дна. Потом меня как будто вытолкнуло на поверхность. Но уже не то дело. Мосты сожжены. У людей ко мне доверия нет. Одиночество, словом.

Живу один. С одной стороны, спокойно. С другой — такая тоска. Зимой повеситься надумал. Но решил сначала снег разрыть. Снегу тогда нападало. Рою-рою, вдруг вижу, собака на двор ко мне забрела. Хотел за калитку выгнать, а она смотрит на меня такими глазами жалостными. Человечьими! Уж на что я ко всякой хреновой мистике с юмором отношусь, но про переселение душ вспомнил. Не выдержал. Сходил в дом, хлеба взял. Кинул ей. Она хлеб схватила и бежать. Сделал доброе дело, вроде и вешаться решил чуток повременить. Вернулся в дом, поужинал. Лёг спать. А утро вечера мудренее. Солнышко выглянуло. Жить захотелось. Через неделю опять ко мне гостя пожаловала. Я так понял, что она собачка совестливая была и ко мне приходила только когда уж совсем нужда задавит. А у меня кости от супа остались, выкинуть не успел. Дал ей. Она грызёт и на меня смотрит. Вижу, побаивается. Обижали, значит, её когда-то. И на морде ранки такие, как будто ей человеческие твари сигареты в морду тушили. Ну, я хлеба положил и ушёл в дом. Не стал нервировать. Так она ко мне и похаживала время от времени. Узнал я, чья собака. Хозяин, видишь, у неё злой был. Как трезвый — ничего. А по пьяной лавочке мог и прибить. Она и убежала из дому, как он запьёт.

Киров Александр Юрьевич — прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1978 году в Каргополе Архангельской области. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя» и др. Автор книг повестей и рассказов, в том числе «Митина ноша» (2009), «Последний из миннезингеров» (2011), «Полночь во льдах» (2012), книги литературоведческих эссе «Русские капрично Бориса Евсеева» (2011). Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Каргополе. В «ДН» публикуется впервые.

И вот как-то по весне вижу, тот самый сосед идёт, пошатывается. Меня увидел, заулыбался.

— У меня Марго родила, — говорит.

Забыл сказать, собаку ту Марго звали, а я так и Риткой кликал, ничего, отзывалась.

— Поздравляю! — это я хозяину-то.

А он мне:

— Так она у тебя в старом хлеву родила.

У меня хлев от деда остался. Деда я не помню, умер давно. Когда-то корова у него была, поэтому и стоял на подворье хлев. Но превратился он в сарай, сгнил, просел, покосился. Был заброшен и глух. Поэтому и выбран Риткой для таинства рождения.

— А чё делать? — спрашиваю.

Он ничего не ответил. Только посмотрел на меня многозначительно, руками развёл и пошёл дальше.

Иду я, а навстречу Петровна. Помнишь Петровну, Амурка?

— Ты чего невесёлый?

Я — так, мол, и так.

Петровна задумалась.

— Собака к тебе неслучайно рожать пришла. Одного щенка ты должен себе оставить! — важно, почти пророчески изрекла Петровна и подняла указующий перст, кривой от времени и раздутый в суставе от артрита.

На следующий день сходил я к Риткиному хозяину. И по сходной цене, за бутылку, он порешил всех твоих братиков и сестричек, а тебя оставил, выбрав по каким-то одному ему, заядлому собачнику, известным приметам. А может, ты просто был самым шустрым. Так и появился ты у меня.

Ритка была хорошей матерью. И носила тебе куски заплесневелого хлеба, какие-то корки, а однажды принесла большую кость и зарыла у будки, которую я сделал.

Потом твоя мамка загуляла, у неё появились новые щенки, и она забыла про тебя. Риткины кавалеры вытоптали грядки у того мужика, её хозяина. И он со злости застрелил твою мамку из охотничьего ружья.

Ты был маленьким пузатеньким щеночком. Таким толстожопым, что, когда утром, дождавшись моего появления на дворе, бежал ко мне, тебя заносило на бок. Что-что, а покушать ты любил. Тебя, бедного жиртреста, все подкармливали. Особенно Петровна. Через своё обжорство ты едва не погиб, хватанув однажды между обедом и ужином опилок. Я тогда как раз дрова пилил. И вот примечаю я за тобой странность. Бегаешь ты, бегаешь, как обычно, потом вдруг присядешь, как человек, которого по-большому в поле припёрло, побряхтишь. Дальше бегаешь. Через минуту опять приседаешь... И так день, другой. Пузо твоё, и без того немалое, разбухло, того и гляди лопнет. Потом стал ты себя под хвостом кусать. Тут я догадался посмотреть. А тебе, бедолаге, щепка поперёк заднего прохода встала. Ты её через пищевод как-то пропустил и почти вытолкнул, но в последний момент она плотно засела и механически жопу твою закупорила. Я недолго думая жёнин шкафчик в ванной открыл... Помнишь, я тут подженился, когда тебе два месяца исполнилось? Нашёл маникюрные щипчики. На двор вернулся. Хвост тебе задрал и щепку выдернул. Наклонился посмотреть... Вот это я зря сделал. Чуть не в нос мне брызнуло. И вздохнул ты по-человечьи, прямо как мамка твоя во время нашего знакомства, но только по другому поводу.

Тут начался у тебя в другую сторону сбой. Сделаешь ты по двору три шага и присядешь. Но только уже не с тщетными потугами, а по существу. Весь двор засрал.

Но это ладно. Понос-то у тебя, смотрю, всё не прекращается. И уже с кровью прёт. Я давай охотнику знакомому звонить. Так, мол, и так, у собаки понос зверский. Тот сначала говорит «Смекты» дай. Сгонял я в аптеку, напичкал тебя порошком. Не подействовало. Я опять звоню. Охотник задумался.

— Ты, говорит, возьми яйцо и водку. Разбей яйцо в чашку. Убери желток. И сколько белка останется, столько водки налей. Перемешай всё обязательно. Ну и как-нибудь ему залей...

«Легко сказать: залей, — ворчал я, взбалтывая яично-водочный коктейль. — Живого пса водкой попробуй напоить...»

Но знаешь, поить тебя водкой не пришлось. Я тебе гремучую смесь в мисочку вылил. Думаю, чем чёрт не шутит. Так вот, ты коктейль этот с треском вылакал. Ещё и блюдце вылизал.

А понос прекратился.

И было ещё кое-что. Я-то на работу ушёл. Петровна видела. Дождь начался, а ты стоишь у будки и всё в неё не залазаешь. Потом сел на попу и голову свою хмельную собачью то уронишь, то по-мужицки тяжело поднимешь. А Петровна, когда тебе следующий раз пожрать принесла, язвительно осведомилась:

— Может, стопочку налить?

Любила она тебя, любила. И поверх еды летом нет-нет да и насыпала горсть малинки.

Когда она померла, ты уже подростком был. Вытянулся, лаять громко научился. Борзел, кусаться даже пытался. Но парень ты добрый, не живоглот, природу не обманешь. Думаю, Петровна доброту в тебе чувствовала. За неё и любила. А потому что сама такая была. Ничто не окрысило. Ни лесозаготовки, ни война.

— Я, — говорит, — как помру, ты Амурке обязательно с поминок поесть принеси.

Я и принёс. В пакет объедков наскидывал. Повариха в кафе покосилась:

— Собаке, что ли?

— Ну, — смутился я. — Собаке, вроде как от бабушки...

Повариха, с виду баба довольно злобная, неожиданно поддержала:

— Возьми-возьми, они тоже знакомых людей поминают. Я вот киселя ещё налью, осталось немного...

Ты тогда неспешно и важно так поел. Как взрослый. Будто, и правда, понимал, что к чему. Тогда-то я тебя и стал называть не просто Амурка, но Амур Амурыч. А ты окончательно перестал кусаться.

Тогда-то мы и начали с тобой наши прогулки. Женился-то я опять, прямо скажем, не очень удачно. Что ж, место мужика и пса на дворе. Вот и скорешились мы с тобой. Помню, повёл я тебя гулять первый раз. С женой разругался... Тогда мы ругались ещё. Потом всё молчали, но это хуже ругани. Так вот. Разругался и пошёл. А уже смеркалось. Мужики мостки через дорогу тюкали.

— Куда? — спрашивают.

— В лесок, — отвечаю.

Они головой покачали:

— Смотри, до темноты возвращайся.

Господи! Как ты обрадовался лесу. Как будто это была твоя родина, которую ты не видел лет сто — и вот вернулся. Вот как раз, где сейчас проезжаем, вьюном закрутился, затыкал на кого-то, мох начал нюхать, землю рыть. А уж сколько раз лапу задрал. Это я и со счёту сбился. С кем же это, с каким потомственным охотником и следопытом Ритуля тебя нагуляла?

Обратно я тебя на поводке тащил. Не хотел ты из леса уходить. И уже темнота на пятки наступает. Надо поспешать. А ты упираешься, пыхтишь.

Вдруг! Ты как учуял что-то! Как заскулил! Как под ноги мне забился! Мать-перемать. А у меня с собой ничего, даже спичек нет. Я тогда как раз курить бросал. Начал я песни петь. Ору-ору... Вдруг ты зашевелился и дал дёру... Я за тобой не поспевал. Теперь ты уже меня домой тащил. И довольно раздражённо тявкал на своего нерасторопного хозяина, косясь на меня через левое плечо.

Рассказал я об этом случае соседу, тому самому, которому мужики мосточки тюкали. А он, старый охотник, всю жизнь по лесам. Закивал:

— Правильная у тебя собака. Я уж слышал. Лает он хорошо. Грамотно. Был бы я помоложе, взял бы с собой на охоту. Хороший из него охотничий пёс мог бы получиться.

А я так думаю, Амур Амурыч, не повезло тебе с хозяином. Какой другой, и правда, стал бы тебя на охоту таскать. А я... А ты у меня просидел полжизни на цепи. С прирождённой охотничьей хваткой и прекрасным правильным голосом.

Твоему первому водворению на цепь предшествовала история со школой художественного искусства.

Супруга моя вторая была бухгалтером. И очень ты привязался к сей Прекрасной Даме. Она тебя тоже любила по-своему. Косточки какие-то покупала. И ты отвечал ей всей полнотой кобелиного сердца. И ходил за нею по пятам. И дарил ей цветы. Дарил бы, если бы был человеком. Но ты был псом, поэтому за двери художественной школы тебя не пускали. И ты сидел у дверей и терпеливо ждал. Под снегом и дождём. В мороз и жару. Иногда подвывал для порядка. На жену мою за это ворчали, но ей даже льстили подобные рыцарские проявления. Пока в бухгалтерию не вбежала красная и разъярённая директриса и не завопила, что урок истории мировой культуры сорван противным животным.

Давно замечал, Амурыч, что те, которые рисовать умеют, люди спокойные. А вот бездари выкобениваются. Особенно если вообще не художники, а историки искусства и обречены рассказывать о чужих шедевральных творениях. Особенно если сами в оных не очень-то разбираются и постоянно путают Рубенса с Рембрандтом.

Получилось что. На улице холодно было. Ты начал подвывать. Кто-то из сердобольных детишек тебя в школу впустил. На ту беду вахтёрши на месте не оказалось, пошла бабулька языком почесать всё в ту же бухгалтерию. А ты туда не пошёл, хотя прекрасно знал, что Прекрасная Дама там. Соображал умом собачьим, что тебя живо выдворят. А двинул ты по лестнице вверх, в классы. И попал на урок истории мировой культуры. Что и говорить, парень ты со вкусом. И чутьём. А из класса того, где культура шла, печеньками пахло. Детки, видишь, не рисовали. А слушали. А поскольку слушать было особенно нечего, перекусывали, а перекусив, скучали. И к твоему появлению отнеслись с восторгом. Ты тихонько бродил по проходам, а тебе печеньки с конфетками бросали. Ты их самозабвенно лопал. И в какой-то момент обвёл мутноватым от пьяной сытости и собачьего умиления глазом милых маленьких людей и троекратно громогласно выразил им свою идущую из недр широкой пёсией души благодарность. Училка, которая по воле злого рока оказалась ещё и директрисой, завизжала, детки заржали, как жеребчики. Желая успокоить трепещущую женщину, ты подошёл к ней и, встав на задние лапы, положил передние на плечи кричащей, а потом размашисто, с отяжкой лизнул её не очень вкусное от помады, пудры и французских духов лицо. Дескать, чего орёшь ты, махонькая, дурында малохолдная?

Увы, следом за краткими культурными взлётами так часто идёт падение и прозябание.

Вечером того же дня сидел ты на цепи.

Ты, Амурище, счёл это игрой, к которой поначалу отнёсся с восторгом. Той же ночью оборвал цепь и сбежал. Но вновь был водворён на место. И цепь была уже основательной. И тогда ты понял. И завыл. И выл трое суток. А потом я не выдержал. Вышел во двор и троекратно тебе приложил. Прости меня, дружище. В этот момент что-то надломилось в тебе впервые от рождения. Ты замолчал и понуро полез в конуру.

Вскоре мера пресечения сменилась на более мягкую. Раз в неделю я начал отпускать тебя с цепи. Ночью. Утром ты прибегал обратно и снова водворялся на цепь. Не стало прежней вольной кобелиной жизни. И Прекрасная Дама перестала являться тебе.

Однако это были ещё цветочки.

Чёрная кошка пробежала между вами однажды в прямом смысле этого слова. Жене моей мало было пса, захотела она взять котёнка. Вот тебе и вторая часть пословицы: место мужику и псу на дворе, женщине и кошке — в доме. Детей у нас не было. И нянчила она чёрного котёнка, будто младенца. Не зря другая пословица гласит: не могла ты родить ребёнка, так нянчи серого котёнка. В данном случае чёрного, но не суть. Я к этому тварёнышу равнодушен был. Надо покормить — покормлю. Надо наказать — накажу. Он тоже со мной находился в отношениях деловых. А ты, Амур Амурыч, Веню невзлюбил. Да и Веня к тебе не питал тёплых чувств. Довольно скоро он понял, что чудо-юдо сидит на цепи. А то, что оно громко лает, так это его право. Плебейское. Неспешной походкой Веня подходил к тому месту, до которого не пускало тебя, Амур Амурыч, натяжение цепи, блаженно вытягивался и с понимающей улыбкой смотрел в собачью пасть, оскаленную в нескольких сантиметрах от себя.

Однако в одном Веня ошибся. Чудо-юдо сидело на цепи всю его, Венину, жизнь, однако не всё время. И однажды, Амурище, я забыл утром тебя пристегнуть. Ты блаженно дрых в будке после ночных походов. На дворе стояла зима. Морозило. Да ещё и подсыпало снега. И когда занялась заря, Венечка, выпавшись и позавтракав, пришёл выбесить несчастную сидящую на цепи чудо-юду. Чудо-юдо выскочило из будки, Веня начал уже было вытягиваться, но спасительным шестым чувством — не иначе — уловил отсутствие золотой цепи на дубе том. Дальше была погоня. Ты, Амурище, наверное, уже заматерел и потерял юношескую грациозность. Да и в снег проваливался. Поэтому Вене удалось минут пять уходить от смерти. А потом он был зажат в угол. У носа опять клацнули челюсти. И Веня, за неимением лучшего, вскарабкался на белую берёзу. И через несколько часов сидения на верхушке оной тоже, вместе с берёзой, принакрылся серебром. И мяукал уже не звонко, требовательно и капризно, а хрипло и отчаянно.

Ты, Амурище, сидел у берёзки и терпеливо ждал. Твои охотничьи гены подсказывали, что незачем бегать и лаять, если добыча вот-вот сама рухнет к ногам.

— Твой дегенерат убьёт Веню! — бросила мне жена, когда я вернулся с работы (доски грузить устроился на пилораму).

Я трезво оценил ситуацию, достал из сарая шестиметровое телескопическое удилище, не без труда сбил Веню с берёзы. Тут, Амурка, ты дал маху. Но я тебя за это не виню. Я и сам такого не видал ни до ни после. Веня, рухнув с шестиметровой высоты в сугроб, нырнул под снег и бежал под пушистым белым одеялом метров двадцать, потом вынырнул из сугроба у крыльца — и опрометью бросился в дом.

Жена лежала на кровати и рыдала. Веня запрыгнул к ней в постель. Не дав себя обнять, залез под одеяло и опростал переполненный многочасовым ожиданием мочевого пузыря.

После этого, Амурьян, на цепь тебя посадили на год.

Потом я снова стал тебя отпускать, но появилась в тебе одна странность. Ты по-прежнему возвращался домой, но при этом не подпускал меня к себе, сразу отбегал. Хотел быть рядом, но не хотел сидеть на цепи. Хотел честно дружить, а не вынужденно служить. Так я понимаю, Амур Амурыч? Ну хоть поворчи, что ли, старый хрыч. До чего доходило. Супружница новая... мы тогда уже разводились, но пока ещё вместе жили... на работу пойдёт. Ты за ней. Я за тобой. Она тебя отвлечёт. Я подкрадусь — и прыгну на тебя, как чупакабра. Прохожие шарахаются. Собаки заливаются из пёсёй солидарности. Я тебя за ошейник домой тащу. А ты изображаешь конвульсии и судороги. Я поначалу хотел тебя задобрить и фуфаечку старую в будку постелил, да ты фуфаечку эту вытащил и в клочья изодрал.

А потом пришла полоса уныния и отупения. У тебя и у меня. Я вновь остался один. Работа, правда, на этот раз была, но тупая и тяжёлая. Приносящая не радость и умиротворение, а забвение и усталость — не больше. По привычке я держал тебя в домашней тюрьме. Ты сидел на цепи, запаршивел, схватил конъюнктивит и ушных клещей. Я, конечно, пытался их вывести, но если человек... то есть пёс... месяцами сидит в своём дерьме, витаминки из зоомагазина не очень-то помогают.

Но были проблески, были. К тебе начала похаживать шустрая белая болончка. Зачем куда-то бегать, если сучки сами приходят? А я третий раз женился. Родился у меня ребёнок, мальчик. Жена эта была хорошая женщина, работающая. Только без образования особенного. То техничкой где, то чиповщицей, а то и дома сидит. Парень шустрый рос. Приходит как-то со двора:

— Я герой, — говорит.

— Это почему? — спрашиваю.

— Я Амур Амурыча не боюсь... Я его сейчас палкой бил...

— А он?

— А он ничего. Горбился.

Ох и всыпал я ему за тебя. Но любил он тебя, любил. И сейчас любит, хоть и вырос почти. Шутка ли? Тринадцать лет. Подросток.

А я тебя тогда снова стал отпускать. В художественную школу ты больше не ходил. А прибежишь за мной на пилораму, ничего. Мужики то погладят, то шуганут.

И всё было бы хорошо, если бы не эти прогулки в детский сад. Я ведь тогда безлошадный был. Сына в садик то на коляске, то на санках, то на курах. А ты, ясное дело, следом. Как же без тебя такое важное дело — прогулка с маленьким хозяином. Сначала ты вёл себя прилично. Ждал у калитки, когда я через игровую площадку протопаю, в садик войду, чадо отдам или заберу. Но однажды вышел конфуз. Дело вечером было. Возвращались мы с тобой с работы. Подходим к садику. И ты от меня отстал. Нам навстречу собачья стая попалась, и ты за ней увязался. Просто из любопытства. До угла сбегать, посмотреть, чем собачий народ занят. Потом до другого угла. Спихватился, вернулся... А я в тот день скорей-скорей. Дома насос сломался, мастера ждал. Каждая минута на счету. Ну, мы с мелким по-быстрому оделись, за калитку вышли. Тут знакомый едет. Остановился, подвёз. А ты, Амурыч, вернулся... Ждал-ждал. Нет нас. Стал следы нюхать, потерял. И тут тебе в голову пришла гениальная мысль, будто мы с мальцом спрятались в садике и не выходим. Вдобавок люди по площадке ходить перестали. Калитку какой-то хмурый мужик перед самым

твоим носом закрыл. На лицо заговор. Ты через калитку перепрыгнул и сел у тяжёлых дверей. Ждал до темноты. Потом обиделся, стал подвывать. Ещё через час в полную силу заскулил. А посреди ночи силы твои собачьи закончились, терпежу не стало, ты встал на задние лапы и стал царапать железную дверь. Утром сторож, он же дворник, проспал, не разрыл снег, не открыл ворота. Свалил всё на тебя. Нас наругали. Ты два дня дома не показывался, чуя неладное. Потом всё же пришёл и снова сел на цепь.

А потом про тебя забыли. То есть забыли не про тебя, а про то, что тебя нужно отпускать. Кормили, поили. Два раза в год мыли с шампунем. И по весне лопатами бросали в прицеп с мусором твоё дерьмо. И ты как-то сразу постарел и опустился. Даже лапу задирать перестал.

— Ссыт как девка, — критически заметил сосед, перегнувшийся как-то через забор почесать языком. — Смотри, и глаза в гное. Ты это... собачку не хочешь поменять?

Я подумал, что с удовольствием поменял бы соседа, но вслух не сказал, а только покачал головой.

Самого меня заела совесть. Я купил поводок и пробовал выгуливать тебя у дома. То ещё занятие. Ты это считал наказанием, и как только оказывался с поводком на улице, высовывал язык и строил из себя жертву удушения при последнем издыхании. Однажды я плюнул с досады и отпустил тебя без поводка. Через неделю случайно встретил в центре города. У тебя полбашки было в кровище. И — о редкий случай — ты великодушно дал взять себя за ошейник и привести домой. По дороге не пытался удавиться, а добродушно сопел. Чувствовалось, что променад удался.

— Папа! — позвал меня как-то сын.

Я вышел во двор. Егорка играл с тобой, Амур Амурыч. Он частенько к тебе наведывался, а иногда и в будку залезал.

— Знаешь, как с ним клёво спать? Он большой, тёплый, громко дышит и бегают во сне!

Но на этот раз сынок был чем-то озадачен.

— Па, я его зову, а он головы не поворачивает.

Я стал присматриваться к тебе, Амур Амурыч. Как только ты видел меня, начиналось веселье. Ты кидался на меня. Обнимался, толкался, пихался, лизался. Но стоило мне войти во двор с другой стороны дома, зайти к тебе за спину, как ты переставал замечать меня.

— А что ты хочешь? — пожал плечами знакомый ветеринар. — Амурыч твой постарел. Сколько ему? Восемь? Эх, брат, короток собачий век. Только привыкнешь к ним, а уж... Ладно. Не будем о грустном. Пока не будем.

Но мы-то с тобой плевать хотели на эти рассказы. И дружили по-старому. Ты на цепи, и я, в общем, тоже. С появившейся машиной, двумя кредитами, основной работой и двумя халтурами. А то, что ты оглох... Так ведь ты меня, Амурыч, не от воров охранял, а от другого. И то, другое, пострашней воришек будет. Уныние посреди праздников, одиночество в семье, отчаяние во времена всеобщего нездорового оптимизма. И по мелочам. От понимания того, что семейная жизнь опять не удалась. И уже, наверное, не удастся. И бог его знает, от чего ещё ты меня охранял.

У меня родилась дочь. Появилась ещё одна маленькая душа. Сначала она тебя боялась, но когда чуть подросла, до одури полюбила. Дочка моя росла хозяйкой, и ей надо было, чтобы рядом кто-то присутствовал, и чтобы можно было им командовать и давать советы, даже если он не слышит, не понимает человеческого языка, да и вообще не очень-то человек.

И я стал отпускать тебя бегать по двору. Заделал все дыры в заборе. Запирал калитку. И отпускал играть с дочкой. Однажды ты перемахнул через забор и был таков.

Пару дней я не беспокоился. Мало ли дел накопилось у глухаря? На третий стал поглядывать. Дольше трёх дней ты никогда не пропадал. На четвёртый в голове моей образовалась безжалостная мысль. Мало ли добрых людей на свете. Да и глухой ты, любая машина сбить могла. Кстати, именно эта мысль и оказалась материальна. Однако, к счастью, не в такой степени, как я боялся. На восьмой день, когда я уже начал смиряться с фактом твоего вечного упокоения, в социальной сети появилось объявление о том, что старый глухой пёс, который сильно хромает, потому что его шибанула машина, ждёт своего хозяина по такому-то адресу.

Тем же вечером вышагивали мы из дома на окраине города, у леса. Каким лешим тебя туда занесло? Я так и не понял. То ли ты к стае собак прибил, а они тебя прогнали, то ли помирать в лес пошёл, но по дороге на кладбище помереть забыл или передумал. Мужик нормальный попался. Кормил тебя. Полёживал ты на поролоне, как царь. Преклонных лет государь. Но домой бежал бодро, как полагается со-баке со-боку. И одышка прошла, и суицидальные наклонности на старости лет испарились. Остановились мы только у самого дома.

— Ну, шагай, заброда, — сказал я, стоя у калитки.

Ты кивнул, шагнул вперёд и треснулся головой в забор. Тогда-то я понял, что ты, дружище, не только оглох, ты ещё и ослеп.

А что тут сказать: «Но было уже поздно?» Но было в самый раз. Для четырнадцати собачьих лет.

С тех пор у меня на заднем дворе, на цепи, поселилось некое существо. Амур. Это по латыни. А по-русски — любовь. Большое, доброе, ласковое. Ты узнавал меня и детей по нашим запахам и начинал вилять хвостиком. Хозяйку ты узнавал по запаху еды. И, приветствуя пищу, даже слегка попрыгивал. Человек для собаки как Бог. Он умеет доставать еду неведомо откуда. Вот только сделать молодым своего четвероногого товарища не в силах. И в твоей внешности появилось что-то от древнего бога, когда богов представляли в образе животных. Голова твоя стала большой, кудлатой. Незрячие глаза темнели провалами на морде, которая была неподвижна, и только когда она изредка колыхалась, можно было понять, что она жива. Что ты ещё жив.

Я думал, что ты не переживёшь эту страшную зиму. Морозы стояли под сорок. Сначала неделю, потом после короткой оттепели — ещё две. И, чтобы мало не показалось, ещё десять дней. Но ты выжил. С трудом выбирался из конуры. С аппетитом ел. Однажды запутался в цепи, но догадался жалобно заскулить, я выскочил на мороз и высвободил тебя. Когда мы с сыном сидели на карантине по случаю новомодного заболевания, которое меня слегка укутало, ты, Амурыч, бегал по снежному огороду. Мы строили крепость, а ты... А ты просто был с нами. Не видя, не слыша и не особо понимая, чем мы занимаемся, ты радовался, потому что все мы были вместе. Вся банда.

Весной у тебя стали отниматься задние лапы.

Я-то думал, ты обрадуешься, когда я отцеплю тебя. А ты еле-еле потащился по мосткам, споткнулся, грохнулся, с трудом поднялся и пошёл дальше. Полчаса похромал по двору, рухнул на середине всё того же огорода, но только уже не снежного, а чёрного, и замер.

— Амурка-то помер, — деловито сообщил мне Егор.

Мы с дочкой выскочили на улицу. Побежали к тебе. Сердце ухало в груди. Когда до тебя оставалось пара метров, Анютка крикнула:

— Амурка! Проснись!

Ты как будто с того света вернулся, почувствовав, что остро нужен кому-то здесь. Поднял голову, чихнул и провалился в сон. Через пару недель расхотелся и лишь слегка хромал. Но началась посевная, и пришлось снова усадить тебя на цепь, чтобы ты сослепу не вытоптал грядки.

А потом пришла жара.

Такой жары я не помню последние лет десять. В мае отчаянные подростки ухались с пристани в кипящую речку во всей одежде. В начале июня горожане были такими загорелыми, как будто приехали с юга. К июлю все просто изнывали от жары. Не хотели ни загорать, ни купаться. Мечтали о дожде и хотя бы одном прохладном дне.

Два раза в день я обливал тебя водой. Ты охал и благодарно смотрел в мою сторону незрячими глазами. Линька, которая началась в мае, всё не проходила. Ты страдал. Задние лапы опять стали отниматься, но ты храбрился и таскал себя на передних. От жары уходил в тень. Смещалась она, и смещался ты, словно вы с тенью следовали друг за другом.

Ты уходил в сторону тени, Амурище. Быстро и так неумолимо. Я не успевал замечать перемены, которые происходили в тебе. Ты почти перестал есть. И даже свежие рыбы головы и хвосты, которые перед жарой ты с азартом грыз (ещё недавно ты словно на спор после моей удачной рыбалки слопал тринадцать штук), сейчас воспринимал равнодушно. Я укладывал их в твою миску ранним утром, когда приезжал с рыбалки. Ложился спать. А проснувшись, находил эти головы там же, облепленные чёртовыми мухами.

Приезжал брат с семьёй. Тяжёлая была встреча. Меня всё расспрашивали о разводе, на который подала третья жена. Несколько раз мы с братом съездили в лес. Потом они уехали. Укатил на юг сын. Отдыхать в летний лагерь. Новость о разводе мы оставили ему на осень. Ушла жить на съёмную квартиру жена с ничего не понимающей (да на самом деле всё прекрасно понимающей) дочкой. Никто не выдерживал моего дома, хозяйства и меня любимого. Мужчину средних лет и без вредных привычек.

Потом ты стал лаять. Лаял неделю. Просто: «Гав-гав...» Один раз я не выдержал, вышел во двор и снова хорошенько тебе приложил. Ты рухнул от удара и остался лежать на земле. До сих пор стыдно. Замолчал минут на десять, а потом опять залаял. Я думал, что ты отвечаешь какому-то псу с соседней улицы, и ещё одному, с другой стороны дороги. Но как ты мог отвечать им, если не слышал? Это они отвечали тебе. А почему лаял ты? Мне этого не понять. Пока не понять. Ты стал старше, значительно старше меня.

Однажды вместо лая раздался какой-то писк. Я вышел посмотреть. Ты хотел выбраться из конуры и не мог. Отнялись передние лапы, как будто кто-то переломил их в суставах. Я вытащил тебя на воздух. Ты подполз к миске и долго, шумно лакал воду. Пробовал почесаться и совсем не мог поднять заднюю лапу. Лежал на траве и дышал через раз. Была ночь. И было прохладно. Я присел на корточки и погладил тебя по голове. Но ты не понимал, кто это. Кто гладит тебя? Пытался вспомнить и не мог. Я вздохнул и ушёл в дом.

Проснулся утром от тишины. И сразу понял, что сегодня до обеда у меня будет дело. Тяжёлое невесёлое дело. Открыл теплицы. Было девять утра и уже жарко, очень жарко. Вдохнул и пошёл к твоей конуре. Я думал, ты лежишь на траве. Но ты

каким-то чудом умудрился опять заползти в свой домик. Лежал на правом боку, как обычно. И спал. Только вот грудь, твоя широкая грудь, почему-то не двигалась.

Вот и всё.

Я позвонил в ветлечебницу:

— Такое дело, собака у меня умерла. Вы можете её похоронить?

— Нет, — отвечают, — крематорий сейчас не работает.

— Значит, самому?

— Да, самому.

Прицеп стоял тут же, в двух метрах от будки. Я застелил дно старыми мешками. С трудом вытащил тебя за цепь из конуры. Ты умер только что. Буквально за час до моего появления. И не успел закоченеть. Лапы гнулись, как у живого. Но ты сразу стал тяжёлым. Я с трудом оторвал тебя от земли. Положил в прицеп. Вставил в борта дуги. Закрыв тебя сверху брезентом. Взял лопату, лом. Положил их в машину. И мы поехали. Я недолго думал, куда тебя отвезу. В лесок, где ты, как мне кажется, был счастлив, тогда, в начале нашей истории.

Вот мы и приехали. Сейчас, подожди, дружище, выкопаю тебе ямку поглубже, чтобы не добрались до тебя чуткие лесные жители. На штык взял, копаю ещё. Помнишь, как Егорка маленьким на тебе катался? А как он из твоей миски хлебнул, а потом блевал с мосточков? Два штыка. Ладно, Амурыч, ты там Петровне привет передай, она, наверное, тебя уже у ворот дожидается. Три штыка. Пожалуй, хватит. Сейчас, Амурка, сейчас. Ты уже закоченел. И мухи тут как тут. Ташу тебя через кусты. Не влезаешь ты в ямку, надо расширить и удлинить, лежи ещё на травке. Побудь минуточку со мной. Ну вот, готово. Мешками тебя укрою... С головой. Прощай, дружище. Веточек ещё натаскать, чтобы не догадались. Мало ли... Всё.

Подожди, Амурка, постою с тобой ещё минуту — и уйду, не буду больше тебя беспокоить. Отдыхай, родной. Приеду, Егорке скажу... Хотя какому Егорке... Уехал Егорка. Приедет, скажу. Ох, поревёт. Он ведь родился и жил при тебе. Я ему другую собаку предложу, но нет, Егорка идейный. Скажет что-нибудь вроде: «Подожди, папа. Пока со смертью Амура не смирюсь, даже не говори мне про другую собаку». А дочка... Дочка во всё светлую сторону найдёт. Скажет: «Амурка не умер. Он просто ушёл к своей маме». Ну да. Верно ведь, если разобраться.

Знаешь что, Амурка, а брось ты всё это, вставай и пошли домой. Всех обратно позовём, вернём всё как было... Что... Понимаю. Понимаю, дружище. Нельзя. Уже нельзя. Всего несколько часов прошло, но «шабаш, батюшко наш», как Петровна говаривала.

Ну скажи мне что ли, чтобы я уже валил. Скажи: «Надоел ты, урод! При жизни от тебя покоя не было и после смерти нет...» Даже этого не скажешь. Ладно. Пойду. Поеду. Надо жить дальше. Старым, слепым, глухим. Не нужным и на расстоянии. Потому что надо же, чтобы кто-то их всех любил.

Да.

Ну что.

Я сейчас метров триста дальше в лес проеду. До развилки. Развернуться надо с прицепом. А обратно поеду — посигналю, когда с тобой поравняюсь. Я всегда буду здесь останавливаться и сигналить.

Так что ты не бойся, что я ушёл, я быстро. Я сейчас.

Жди меня здесь, мой Амур.

Четыреста метров

Мы с пацанами любим на стадионе в футбол гонять. Всё бы хорошо, но площадка минифутбольная у нас нарасхват. Утром там у школьников уроки. Днём секции. Вечером мужики приходят мяч пинать. Остаётся нашего времени с девяти до десяти. Это официально. А так — пока духу хватит. Фонари у нас не на всём стадионе, а только вокруг площадки. Вот и бегаешь на свету. А кругом темнотища! И родители из темноты появляются у тех, которые мобильники поотключали, чтобы родители мозг не выносили, не мешали играть. Родители ещё ладно. Но если дедка с бабушкой беглеца забирают, это жесть. Вопли, крики, как в фильме ужасов. Седые растрёпанные покойники тащат во мрак невинное дитя.

А нам с Коляном играть никто не мешает. У Коляна предки бухают, а дедка с бабушкой померли. У меня мама считает, что я должен пройти первичную социализацию в суровой среде хулиганов маленького города. Колян — это и есть моя среда. То есть Колян брошен социально, а я философски. И оба не от большого ума наших близких.

Часам к одиннадцати вечера мы с Коляном остаёмся на площадке вдвоём. И гоняем футбол до полуночи. Потом уже спать идём. Всякие там ночью по стадиону бродят, особенно летом, в белые ночи. Но мы с Коляном знаем, с кем поговорить можно, а от кого надо ноги делать. Чуйка у нас. И так мы уже три года лето проводим. Коляна на юг не возят, потому что бухают, а меня в воспитательных целях.

И вот в это лето появился на стадионе кроме нас ещё один странный тип.

А дело было так. В конце мая в сумерки пинаем мы Коляном мяч. А глаза уже закрываются, и собираемся мы по домам, как вдруг Колян мне шепчет:

— Зы!

Смотрю я, а вокруг поля что-то белое шелестит. Еле-еле. Едва-едва. Мы, конечно, думали — привидение. И как раз к нам приближается. Мы сразу же за щит спрятались, который у поля стоит, а на нём круги нарисованы вроде мишени, меткость плевков вырабатывать, то есть ударов, так вот, присели и присматриваемся. Белое пятно к нам приближается. Медленно так... Поравнялось. Смотрим, а это старикан. Еле живой. Бежит на трясущихся ногах. Самого мотает из стороны в сторону. Как пьяный. Мы с Коляном сначала подумали, может, тронутый. Но нет, бежит вроде осмысленно. Мимо нас прошелестел и в темноте растворился. Мы ждали-ждали, когда он на второй круг пойдёт, да так и не дождались. У нас со стадиона второй выход есть. Наверное, старикан туда вышел. Круга не пробежал, получается. На четыреста метров дедка не хватило. Бывает...

— Не вынесла душа поэта... — сказал Колян.

Это Пушкин, если что. Но Колян не знает, что это Пушкин. Колян боксом занимается, и у них тренер эту фразу повторяет, когда кто-то из новичков не выдерживает и на секцию ходить перестаёт.

А играть нам в тот вечер расхотелось, и пошли мы по домам спать.

Следующим вечером история повторилась. Призрак наш появился сразу после десяти, как только мы с Коляном остались на площадке вдвоём.

— Смотри, наш прошелестел, — заметил Колян.

И мы приготовились вернуться к игре, потому что для подростков всё, что повторяется больше одного раза, не интересно, даже призраки. Но тут появилось нечто новое. Призрак показался у минифутбольного поля второй раз за вечер. И на этот раз мы рассмотрели его. Просто менты на стадион зарулили. Они время

от времени наведываются, смотрят, чтобы беспредела не было и чтобы дети в темноте не бегали. Но мы-то с Коляном разве дети? И вот фары ментовской буханки на минуту выхватили из темноты бегущего.

Мы с Коляном посмотрели — дед. Дряхловатый, конечно, однако, если круг пробежал и на второй пошёл, жить будет, а может быть, даже любить. Шутка, конечно. Лицо у деда было усталое, блёклое. Выделялись на нём глаза. Они были неподвижные. Но не как у зомби, а как у человека, который видит перед собой цель, а больше ничего не видит. Всё остальное ему как бы по фигу.

Потом товарищи начальники посветили на нас. Колян им показал футбольный мяч, а я махнул рукой. Они нам пипикнули, не задерживайтесь, мол, до утра. Дали задний ход и погнались дальше, а через пару минут уже врубили сирену.

Когда мы шли домой, Колян был задумчив.

— Ты чего, подонок? — заботливо спросил я его.

— Да батя задрал. Месяц не просыхает. Сегодня утром смотрит на меня, а разговаривает с каким-то Серёгой.

— Синий?

— Да не фиг там синий. Глоток портвейна из бутылки допил. С катушек уже летит, блин.

Я промолчал. А что тут скажешь?

Мама не спала. Поила чаем с оладушками, заботливо расспрашивала о Коляне и пару раз что-то черкнула в блокноте, с которым не расставалась.

На третий вечер старик был тут как тут. Ровно в десять вечера мимо поля прошелестел призрак, а потом протопал усталый дед.

— На третий круг зайдёт, — предположил Колян.

И был прав.

Рядом с площадкой появился пожилой мужчина. Не сутулый, как показалось вчера, а крепкий, он бежал, чуть наклоняясь вперёд, медленно, как спортсмен, который восстанавливается после травмы. Поравнявшись с площадкой, он повернул голову и посмотрел на нас.

— Привет! — не сговариваясь, брякнули мы с Коляном.

А Колян ещё и показал два пальца вверх, дескать, Виктория, Победа!

Вместо ответного приветствия мужчина улыбнулся и слегка помахал нам рукой. У него была улыбка сильного, уверенного в себе человека.

И снова Колян задумался, когда мы шагали под фонарями домой.

— Вот, блин, дела. Как? Ка-ак? Дед ведь. Держит себя в форме. Не то что не бухает или колёса не жрёт, а здорового мужика заткнёт за пояс. Вот ты кого знаешь из мужиков, которые пришли бы ночью на стадион бегать?

Я пожал плечами.

— Точно уж не мой батя, — горько резюмировал Колян.

— Не чудит больше? — сочувственно поинтересовался я.

— Нет, с белочкой увезли. Утром в детской песочнице от немцев прятался.

Мы помолчали. Показался обшарпанный Колянов дом. У подъезда стояли два каких-то мутных типа и пинали ногой закрытую дверь.

— Давай, я, это, с тобой, — робко предложил я.

Колян хмыкнул и хлопнул меня по плечу.

— Свои дятлы, не бойсь.

Но я не поверил.

Колян подошёл к пацанам, что-то сказал им. Они закивали и ушли в ночь. Я понял, к кому они приходили. Колянов отец перепродавал малолеткам спирт, разбавляя его водой.

Мама сидела за ноутбуком.

Я перегнулся через её плечо и прочитал: «Мальчик К., 16 лет. Отец алкоголик, наблюдающийся в наркодиспансере. Мать алкоголичка и наркоманка. Сестра проститутка. Мальчик увлечён спортом или, скорее, делает вид, что увлечён, слишком уж...»

Мне стало противно, и я ушёл спать.

Следующим вечером было тепло, даже душно. По причине лета комендантский час нашей банде продлили до одиннадцати. Мы зарубились в футбол. В конце второго тайма я со всей дури влепил по воротам, попал в перекладину, мяч крутанулся в воздухе и перелетел через ограждение.

По негласному правилу я сам пошёл его искать в темноте. Мяч лежал неподалёку на беговой дорожке. А тут как раз из темноты показался наш бегун. Поравнявшись с мячом, он легонько пнул его в мою сторону.

— Спасибо, — сказал я.

— Привет, — ответил он невпопад хрипловатым голосом.

И пробежал мимо.

Сегодня даже мама пришла за нас поболеть. Я рассказал, что у Коляна дома совсем не алё, и мама разрешила корешу переночевать сегодня у нас:

— Учти, только одну ночь.

Она была сторонницей активного гуманизма, но без фанатизма.

Мы-то с Коляном собирались футбол по телику смотреть, у меня в комнате телик стоит, но Колян как-то весь обмяк и вырубился минуте на пятнадцатой первого тайма. Да и меня хватило минуты до сороковой.

Ночью я проснулся оттого, что кто-то разговаривает в моей комнате.

— Всё, всё, хорош, хорош, я говорю, — повторял Колян во сне.

В комнату заглянула мама, тихонько наклонилась к Коляну и погладила его по голове. Колян протяжно вздохнул и умолк.

«Интересно, запишет?» — нехорошо подумал я.

Хотя с чего бы это? Ведь пустила мать в дом чужого парня. Накормила, напоила, спать уложила. Добрая она. Но добрая как-то не так.

Эх, почему в этой жизни люди — твари бессердечные, а если добрые, то не от сердца, а от ума?

Следующим вечером мы с Коляном подрались.

Он первый начал. На тренику опоздал. Заявился в полдесятого, когда все уже расходиться стали. Я ему рукой махнул, а он мне в ответ fuck off показал. Думал, он шутит, а хрен там. Только народ рассосался, он ко мне подлетает и в нос — бамм. У меня кровища, даже ответить как следует не смог.

— Будешь знать, как со своей мамашей у меня за спиной пакости делать.

Тут я извернулся и ногой ему в грудак — хрясь. И справа-слева: бум-бум. Он как мешок с говном обмяк и упал, но и меня за собой потащил. Дитя улицы, что сказать, умирая, тебя тоже убьёт. Сиж у на нём, фигачу:

— Говори, падла, что случилось.

Тут он снизу меня зацепил. Пока я в чувство приходил, вывернулся и меня опрокинул. Орёт:

— Вы, суки, сами меня пригрели, а сами с утра в полицию, да?

И в ухо мне как даст.

— Да не знаю я ни про какую полицию! — ору я, а сам себя не слышу, только звон колокольный в ушах.

Потом тишина. И тихий-тихий Колянов голос:

— Как не знаешь?

— Да так...

Мы замерли, думая о том, поговорить ли или вмазать друг другу ещё по разу, как вдруг из темноты чей-то голос отчётливо произнёс:

— Хорош давай, друганы-грибаны.

Мы с Коляном заорали с перепугу и повернулись на голос, но увидели только исчезающую в темноте крепкую, широкую, хотя и чуть сутулую спину, какая часто бывает у борцов.

С Коляном мы так и не помирились, разошлись в разные стороны, да и с маманей разговор не заладился. Я с ходу назвал её предательницей. Заорал, что она не имеет права соваться в чужую семью. Сбившись на фальцет, провизжал, что люди могут жить так, как им хочется, если их это устраивает. Наконец, выразил мнение, что так поступают только тётки, которые два раза чихнут, а потом два дня про это пишут в свой дурацкий блокнот.

— Я тебе не тётка, я кандидат психологических наук и скоро буду доктором, — резко пошла на старт мама. — И уж лучше всяких сопляков знаю, куда мне вмешиваться, а куда не вмешиваться...

Ругались мы полчаса, потом мама, как истинный психолог, заплакала, а я устал.

— Просто не хочу, чтобы ты попал к своему другу на похороны, — всхлипнула мама, заглядывая ко мне в комнату.

Это она так извинилась по ходу. Но я, толстокожая скотина, захлопнул у неё перед носом дверь.

Утром обида на Коляна не прошла и, будучи отправлен в магазин за хлебом, я отомстил другу, вырезав гвоздём на стене подъезда номер его мобильного телефона.

Вечером Колян был на поле, бодр и весел, нижняя губа распухла, под левым глазом фонарь. Для сравнения: у меня распухла верхняя губа, и фонарь горел под правым глазом. Ругань руганью, а играть-то в связке надо. Вот, пока мы стучали им по штангам, а они нам по ногам, мы с Коляном и помирились. К десяти всех опять ветром сдуло. В прямом смысле. Погода в тот вечер была не лётная. А нам с Коляном больше всех надо. Пинаем себе мяч да пинаем. Хотя, если так разобраться, а чего мы его пинаем? Не понимаем, что ли, что нам из нашего Мухосранска не пробиться дальше Зажопинска? Ах да. Главное — не победа. Главное — участие. А один ещё сказал, когда ленточку на минифутбольном поле резал: «Главное — борьба». И уехал на «гелике». Пинаем и пинаем. Как два долбодума. Смотрю на Коляна, у него те же думки в глазах, только ещё горше. У меня-то худо-бедно мамка есть, квартира спокойная, а у него что? Предки — из ужасиков. Сестра — из порнухи. Дома — трэш. Лепота.

Встали мы и стоим. Ветер дует. Дождь льёт. Дядька наш бежит. Поравнялся с нами, словно нехотя бросил:

— Чего приуныли, орлы? Надо делать всё, что можешь. И будь что будет.

Слова и слова. Тоже, поди, сдул у кого-то. А нас с Коляном фраза эта так торкнула, что мы до полпервого потом по полю носились. Мне уж мать названивать стала.

— Блин, расходиться неохота, — пробурчал Колян.

— Да ладно, день мигом пролетит.

— Дай пять.

Я сунул Колян у краба, он, как и положено, добавил:

— Будешь вонять.

Потом мы всё-таки хлопнули по рукам.

Через тридцать метров я оглянулся. Колян всё стоял у стадиона и смотрел мне вслед.

Больше я не видел его никогда.

Утром меня разбудила мать:

— Андрюша, куда вчера Коля после стадиона пошёл?

— Домой, — буркнул я спросонья.

И хотел уже снова провалиться в сон, однако родительница начала меня трясти и орать, что Колян не ночевал дома. Мать у него как раз в завязке была, вовремя спохватилась и сразу ринулась по знакомым.

Кряхтя как старик и брюзжа как старая бабка, я сел на кровати. Мать гнала меня на поиски Коляна. Но я, честно, понятия не имел, где его искать. Мы никогда не общались с корешем за пределами стадика. Пинали футбол до первого снега, потом без лишних слёз расставались до следующей весны. В апреле встречались на грязном поле. Тоже без пылких объятий. Зато уж последующие полгода общались плотно, каждый вечер без выходных, запоев и больничных.

Учились мы в разных школах. Общих друзей у нас не было. Один раз Колян у меня ночевал, но об этом я уже рассказывал. Это мама специально организовала, чтобы почиркать в блокноте. А сейчас мама в блокноте не чиркала, а истерила по полной программе.

И хотя я и понятия не имел, где искать Коляна, однако же пошёл его искать. Бродил по городу, заглядывал во все парки, коих у нас четыре. На игровые площадки у многоквартирных домов. На пляж сходил. Даже съездил на кой-то ляд на автобусе в заречье.

Как вы понимаете, Коляна я не нашёл. Да его уже всю искала полиция. Мама им позвонила, они вспомнили про недавний сигнал, трёх суток ждать не стали, рванули на поиски... И тоже Коляна найти не смогли.

Вечером я тихо собрался и отправился на стадион. Я почему-то был уверен на все сто, на двести процентов, что увижу там долговязую сутуловатую фигуру. И когда не увидел, испытал устойчивое ощущение, что Колян на подходе. С ним не могло ничего случиться. С парнем, у которого такая чуйка на людей, который может запросто подойти и поговорить с гопниками, вышибающими дверь, не может случиться ничего. И с тем, кто с ним ходит, «шастает», как ворчит мама, по ночам, тоже ничего не может случиться. Я ждал до часу ночи. Вырубил мобильник. Сидел на освещённом поле, которое тьма сдавила со всех сторон, и ждал, просто ждал. А потом захлюпал носом. Я тоже, как мама, понял, что случилось что-то страшное, непоправимое что-то случилось. Вот она это сразу поняла, а я только сейчас.

— Не реви, он не придёт. Иди домой, не расстраивай мать, — раздалось из темноты.

Я кивнул, вытер слёзы, встал и побрёл домой.

Мама не ругалась. Посмотрела на меня внимательно. Я покачал головой. И подумал о том, что мама обязательно защитит докторскую диссертацию по психологии. Может быть, это, конечно, нехорошо, что я подумал об этом в ночь после того, как пропал Колян.

Самое подлое, что он тоже пропал. Не Колян — бегун. Я же следующим вечером опять на стадион пошёл. Матери наврал, что гулять. Оделся получше, джинсы с футболкой натянул. Но она, думаю, всё прекрасно понимала. Я ждал, пока в полвторого мама не стала мне названивать и, забыв про горечь моей утраты и свою учёную степень, орать в трубку, что я дебил и что она на меня потратила лучшие годы своей жизни. Зря потратила. И орала зря. Что уж делать, если потратила. Выругался я и пошёл домой. А утром меня разбудил следователь. Я испугался. Мне как раз под утро приснился Колян. Ничего особенного, в футбол пинаем на площадке, как обычно, тук да тук. А это в дверь тихонько стучались. Молодой совсем следак. Или, может, просто за собой следит.

— Ты извини, что я рано, совсем замотался с другом твоим, Николаем Бастрыкиным. Вот ты мне скажи, куда он мог пропасть, не знаешь?

Мама пекла оладьи и тонко улыбалась. Дескать, да-да. Я всё понимаю. Психологический приём. Прийти утром. Домой прийти, а не вызывать абы куда. Всё посмотреть. А может, проболтается поросёночек, розовенький со сна? Оладьи мамины были невкусные, толстые и сухие, но следак хвалил. А мама опять тонко улыбалась. Но я видел, что, кроме всего прочего, ей приятно, хоть он и врёт, сукин сын. А следак, молодой, но неприметно цепкий, всё вёл и вёл свою линию.

— Может, какие-то знакомые у вас появились новые?

— Да никаких...

И вдруг я подскочил на табурете.

— Что? — спросили они меня хором.

— Бегун, — зорал я. — Дед какой-то бегал уже больше недели поздно вечером, пока мы играли.

Следак быстро попрощался и был таков.

Мама гладила меня по голове. Я всхлипывал:

— Ну как же так. Ну как же так. Нормальный ведь дед. Разговаривал с нами. Я и не подумал...

Дедом оказался мастер спорта по самбо.

Он жил в деревянной двухэтажке рядом со стадионом. Жил одиноко. Семейная жизнь у него не сложилась ещё на заре туманной юности. Спорт, частые травмы, победы, звания, потом поражения. Потом травма, после которой проставляются и уходят насовсем. Работал тренером. В девяностые запил. Турнули с работы. Всё равно пил. Посадил сердце, и так надорванное борьбой. Все ждали, что он повесится, а он начал бегать. Так и жил. От приступа до приступа. Врачи не верили, что он тянет уже третий десяток после серьёзного знакомства с кардиологом. А он тянул. И каждый раз... Четыреста метров. Восемьсот. Тысяча двести... Десять тысяч... Приступ. И снова четыреста... А просто длина круга на стадионе четыреста метров. Мне историю этого деда рассказал тот самый ушлый следак. После нашего знакомства он вообще к нам чтой-то зачастил, а мама купила новую джинсовую юбку.

Дед не мог быть причастен к исчезновению Коляна. Дело в том, что он умер от сердечного приступа как раз в то время, когда мы с Коляном прощались у стадиона.

— Блин. А как же он меня домой отправил через сутки? — не поверил я.

— А ты как думаешь? — поинтересовался следак.

— Это Колян со мной попрощаться приходил?

Мама грустно положила следаку добавки.

— Так что расти большой, не будь лапшой, — сказал следователь, уплетая за обе щеки мамино угощение.

А я подумал, что на Коляна ему, в сущности, наплевать.

Этой ночью мне снились странные сны, один страшнее другого.

В первом: я играю в футбол с Коляном, но Колян всё время в тени. А когда выбегает на свет, выясняется, что он — это я. Во втором — на месте Коляна по полю бегала мама. В третьем — следак и мама шептались на кухне, как они ловко всё подстроили, чтобы Коляна больше не было. Причём, когда следак говорил «Коляна», он выразительно подмигивал маме, а она размашисто кивала и писала в блокноте: «Раздвоение личности. Alter ego...»

Утром выяснилось, что я заболел и у меня жар.

Провалился в постели две недели. И поправился аккурат 31 августа, чтобы успеть остро пожалеть об ещё одном лете упущенных возможностей.

А на следующий день всё изменилось. Потекли учебные будни. Я сделался невыспавшимся и злым. К октябрю уже заработал несколько запусков по предметам. В ноябре стал ходить к репетитору. Обычная такая, в общем, бодяга.

А я всё ждал весны. Ждал, что приду на грязное поле, на котором не везде ещё сошёл снег, приду, а на площадке долговязый нескладный чувак чеканит мяч и говорит такой: «Ну вот, подонок, из-за тебя с рекорда сбился...»

Под Новый год мама сделалась какая-то странная. И 14 января (чувствовалось, что она специально оттягивала этот разговор, но что ей не терпелось, чтобы он скорее состоялся) сказала, что выходит замуж. Думаю, вы уже догадались, за кого. И что скоро у меня будет маленький братик (вообще, конечно, это оказалась сестричка). И что мы переезжаем в другой город, куда дядю Пашу (у них, оказывается, даже имена есть) переводят служить.

Тут я, признаться, всплакнул.

Мама сказала, что понимает меня, что для неё главный человек — это я и что если я против её замужества, то...

— Что ты, мама, — ответил я, — для меня главное, чтобы у тебя всё было в порядке. А уж я как-нибудь приспособлюсь.

Мама погладила меня по голове:

— Чего же тогда ты плакал?

— От радости, — соврал я. — Всегда мечтал о таком отце, как дядя Паша.

Мама не поверила, но легче было сделать вид, что поверила. Она внимательно посмотрела на меня. Я улыбнулся. Душу грела мысль о том, что до окончания школы остаётся всего полгода. Потом я свалю из дома в армию, в институт, на заработки в Москву, в Питер или к чёртовой бабушке, и пусть на моём месте живёт хоть весь следственный комитет.

А почему же я плакал? Потому что не приду я весной на это дурацкое поле. И Коляна не увижу. Причём я понимал, что шансов его увидеть у меня и так не было, только зря себе душу растравил бы. Просто с надеждой расстаться пришлось чуть раньше. Резать по живому.

Вечером я долго не мог заснуть. Давила темнота и безнадёга. Тогда я сделал странную вещь. Подошёл к окошку, открыл его, высунул голову в морозную ночь и крикнул:

— Колян, я вернусь! Обещаю, что вернусь! Обещающую!

Я вернулся через десять с половиной лет. В августе. Часа два побродил по городу. Этого хватило для того, чтобы понять: в жизни мало что изменилось в лучшую сторону. А и было не то чтобы очень.

Вечерело. Я зашёл на стадион. Похоже, какие-то люди отчаянно пытались сохранить видимость деловой жизни. Трава скошена, однако скошена только на маленьком пятачке. Площадка сохранилась, но на ней стало меньше на один фонарь. И опять на ней пинают мяч двое пацанов. Один был таким же долговязым, как Колян. Другой мелким. Брательник младший, наверное. На трибуне заряжалась пивком шпана, которая всегда тёрлась рядом со стадиом, сколько я себя помню.

— Э, длинный... — крикнул один из гопников старшему футболисту.

Долговязый ссутулился. Братва заржала:

— Валите домой, педики сраные... — подгавкивали шестёрки.

— Сами вы педики, — негромко, но внятно парировал долговязый.

— Чё сказал?

И волки вразвалочку пошли рвать загнанных зайцев.

Я задумался. Ненадолго. Пошёл по гаревой дорожке, а потом перешёл на бег. Метрах в пятнадцати от площадки обогнал гопоту. Шедший первым вздрогнул, когда я выскочил из темноты.

— А, мля, — взвизгнул он. — Ты чё, отец?

— Я тебе не отец, я твой п...ц, — бодро ответил я.

А тут ещё в воротах стадиона появился крепкий мужичок, который потопал на турник. За ним потянулась тройка уже разогретых по пути на стадион немолодых боксёров: двое в перчатках, один с лапой.

Пахан буркнул что-то мне в спину. Махнул рукой. Шестёрки нестройным хором пропустили по матери весь белый свет и пошли со стадиона. Не насовсем. Но разве в этой жизни бывает что-нибудь насовсем?

Я скользнул мимо площадки. Долговязый на секунду поднял глаза и прошелестел: «Спасибо, дяденька».

Я махнул ему рукой и растворился в темноте.

Весенний ветер

У Андрюхи Позднякова в среду вечером умерла жена.

Ещё неделю назад помогла мне в «Магните». Она продавщицей там работала, Ленкой её звали. Я с этими пакетами не могу. Разделить их для меня проблема. Пальчики-то не музыкальные. Поэтому приходится по старинке: маску в сторону, палец послунывить и пакет раскрыть. Самоубийство для человека, который ещё ничем таким не болел. Вот я и стою. А она с товаром ходит. Подошла, улыбнулась. Пакет у меня взяла и раскрыла. Та швабра на кассе её только глазами стриганула, дескать, какие мы. А Ленка повернулась и пошла дальше работать.

На следующий день она заболела.

Сначала голову заломило. Потом температура поднялась. Пока то да сё, пока народными способами лечили — сознание стала терять. Рванули в районную больницу. Там ничего сделать не смогли. Вызвали санрейс. В область отправили. Но уже поздно было. Вот в среду вечером и померла, значит.

Хоронили в закрытом гробу. Слишком страшна была. Пожелтела, осунулась. Ужас просто. Мать её попросила: закройте, не показывайте никому.

Андрюха не знал всего этого. В рейсе был. Уехал, когда Ленка прибалывать начинала. Звонили — связи нет. Поймали только в день похорон.

— Ты где? — отец спрашивает.

— На полпути.

Так мол и так.

Нет бы промолчать, да побоялись, что люди всё равно позвонят.

Андрюха и улетел с дороги.

Сам ни царапины, да и машине ничего такого. А на похороны не успел.

Прихрамал на поминки. Глаза шальные. Что? Как? Понять ничего не может. И самое главное, не знает, как себя вести.

Они познакомились... Он из армии пришёл, появился на дискотеку. А Ленка как раз педучилище заканчивала. Если подумать, не было у Андрюхи Позднякова шанса пройти мимо. Ленка такая... Не то чтобы несказанно красивая или фигуристая, но глазами кого хочешь удержать могла. А тут он. Отличник боевой и политической, как сказали бы раньше. Да просто дембель, солдат бравый. Как увидел её, подошёл на танец пригласить, так больше от себя и не отпустил. Или она его не отпустила... Тут уж кто как поймёт. Через полгода поженились. Через полтора года дочку родили. Быстро время полетело. Жили небогато, но дружно, счастливо жили. Только виделись теперь редко. Андрюха всё в рейс да в рейс. Ленка тоже из декрета вышла, за любую работу бралась. Дочка подрастала. А тут такое.

Напился Андрюха на поминках крепко. За столом и уснул.

Наутро опять на кладбище родственники пришли. Андрюха у могилы мялся-мялся. Не она там. Не Ленка. Быть этого не может. А где ж она? Оглянулся Андрюха. Нету Ленки. Подошёл Серёга, друг детства.

— Поехали, на машине покатаемся.

— Да я и так катаюсь, жену вот проездил.

— Поехали, говорю.

А день был такой! Яркий, солнечный, но не жаркий день. Птицы пели. Листочки на деревьях проклюнулись. Трава показалась. Весна...

Ездил Андрюха с Серёгой по городу. Хотел опять напиться, да настроения не было. Банку пива и ту не допил. Ополовинил, открыл окно, выкинул на ходу. Закрывать не стал. Тут ветер подул. Андрюха в окно сначала руку высунул, потом голову. Улыбнулся впервые за эти страшные сутки. «Ты нормально?» — спросил Серёга. «Теперь да», — ответил Андрюха. Но объяснять не стал. Да и как объяснишь такое... Как внезапно обрёл то, что искал, в тёплом весеннем ветре.

Пять литров

По моим скромным подсчётам, должно хватить.

Осталось где-то около литра. И лет десять ещё... Может, пятнадцать, если повезёт.

Помню, как всё это началось. Я был розовощёким и пузатым. Хохотал, бегал, жрал сколько влезет и спал без просыпа. Один раз во время игры меня окликнули. К железному забору прижался лицом какой-то сгорбленный пожилой человек.

— Здравствуйте, — вежливо сказал я. — А вы кто?

— Я твой отец, — сказал. — Видишь мой горб? Его я нажил, работая для того, чтобы ты стал таким поросёночком.

— М-м, — удивился я.

Если честно, мне хотелось как можно скорее вернуться к игре.

— Да, так, — проговорил он. — А сейчас я ухожу.

— До свидания, — вежливо сказал я. — Приятно было познакомиться.

И уже собрался пойти на другую сторону двора, как старик выговорил:

— Подойди, я должен с тобой попрощаться и взять у тебя кое-что.

Я, естественно, подошёл.

— Протяни руку сквозь ограду, — приказал старик.

Я послушался.

Тогда он укусил меня возле локтя и стал пить кровь. Пил с удовольствием, но осторожно, как пьёт вино больной человек, который знает, что ему много нельзя, или путник, который экономит воду в долгом пути.

(Тогда я не знал, что это и есть любовь в форме заботы о том, чью кровь ты пьёшь так, чтобы он после этого остался жив и чтобы его крови хватило другим.)

Вечером мама всё присматривалась ко мне.

— Ты здоров? — поинтересовалась она заботливо.

Вместе с тем в её голосе я уловил отзвук незнакомого и неприятного беспокойства, похожего на жадность. (Откуда мне было знать о том, что такое ревность: это когда у тебя подозрение на то, что кто-то пьёт кровь, предназначенную для тебя, а тот, чья это кровь, здесь ни при чём, его ты любишь чистой материнской любовью.)

— Конечно, мамочка! Конечно, я здоров.

Поцеловав маменьку в подставленную морщинистую щёку, я побежал гулять дальше. И скоро забыл о неприятных происшествиях дня, чтобы вспомнить о них через несколько лет.

Я был крепким высоким юношей. Учился в колледже. Играл в футбол. У меня была красивая породистая подруга метр восемьдесят три ростом, ноги от ушей — и всё при ней. Оценки мои были тоже неплохие, но жил я всё же лучше, чем учился.

Неожиданно меня вызвали прямо с урока в учебную часть. Завуч огорчённым голосом сказала, что полчаса назад позвонили из дома, что мама моя чувствует себя очень плохо и поэтому мне нужно немедленно ехать домой.

— Может, успеешь, — осторожно выговорила она.

Чувствовалось, что завуч не знает, как разговаривать со мной, ибо телом я был велик и тучен, а разум у меня был ещё наполовину детский.

Я успел к последнему издыханию маменьки.

— Иди ко мне, родной, — сказала она. — Только желание увидеть тебя держит меня здесь. Передо мной уже открыты врата в иной, лучший мир.

С рыданиями припал я головой к груди её.

Маменька была уже слишком слаба, чтобы рыдать.

Она уронила пару слезинок и впилась зубами мне в шею. А напившись крови, вышла в те самые врата, о которых говорила в последние минуты своего земного бытия.

Тут я вспомнил про старика у ворот и впервые в жизни почувствовал лёгкое недомогание, но счёл, что это прямое следствие горя, обрушившегося на меня, и постепенно вернулся к нормальной жизни.

Подруга моя закончила колледж в один день со мной, а на следующий день стала моей законной женой. Мы жили дружно и счастливо пять лет, а потом развелись.

— Спасибо тебе, — сказала она во время прощального ужина, когда все формальности были улажены. — Ты дал мне почувствовать себя женщиной. Я этого никогда не забуду. И вот ещё кое-что.

Осторожно, чтобы не оставить следов, она прокусила мне плечо и с лёгким постаныванием впилась в мою плоть.

— Кончено, — возвестила она, вытирая губы надушенным носовым платком. — Теперь ты мне ничего не должен.

Я лежал пластом неделю. Друзья и знакомые сочувственно кивали: депрессия. Развод всегда сопровождается депрессией. На восьмой день я пришёл в чувство и с головой ушёл в работу.

Службе своей я отдал двадцать пять лет. Работал без особенного рвения, но честно. Дважды мне давали грамоты и один раз премию. На двадцать шестой год я пришёл к директору и сказал, что ухожу на пенсию.

Директор, мужчина средних лет и неприметной наружности (увидел бы во время прогулки, не обернулся), но наделённый властью, тяжело кивнул.

— Что ж, имеете право.

Он протянул мне руку, я дал ему свою.

Вместо рукопожатия, он неожиданно наклонился и впился зубами в то место, где считают пульс. (И в этот момент я окончательно выполнил свой гражданский и социальный долг.) В моих глазах потемнело. Очнулся я в больнице. Врач сказал, что на пенсию нужно было уйти на годик раньше. Я ответил, что этого не могло произойти, что я и так по теперешним меркам молодой пенсионер. Врач кивнул и успокоил. Сказал, что ничего страшного со мной не произошло, просто очень сильное переутомление. И через месяц-другой я восстановлюсь.

— Марафон бежать не советую, но бег трусцой будет вам вполне по силам.

Я слабо улыбнулся и заснул.

Потом потянулись скучные дни сидения дома, гуляния в парке, редких встреч с однокашниками. Незаметно для себя я постарел. И уже послеобеденный сон ввёл в свой дневной распорядок. Однажды после блаженной послеобеденной дремы меня разбудил звонок домофона, установленного на садовую калитку. С недовольным кряхтением я поплёлся открывать. У входа стояла очень красивая и улыбчивая девушка. Такая же, как...

— Я ваша дочь, — сказала она.

Мы обнялись. Я впустил её в дом. Мы попили чаю. Она коротко рассказала про обстоятельства нашей невестри. Бывшая супруга не знала, что ждёт ребёнка. Затем гордость помешала ей сообщить мне о зародившейся новой жизни. А поскольку экс-жена переехала в другой город, у меня просто не было шанса что-нибудь услышать про неё или столкнуться с ней нос к носу. А общаться после развода — мы не общались. Совсем. Уходя уходи.

И вот теперь я впервые об этом пожалел. Мимо меня прошли радости отцовства и та жизнь, которая имела бы место быть, если бы мы передумали и остались вместе.

— Впрочем, не всё ещё потеряно, — сказала красавица-дочь.

Выдернула из волос заколку, проткнула кожу мне на виске, стащила из бокала с мартини соломинку и вкусно зачавкала красным. (Ох уж мне эти маленькие сладкоежки.) Так я восполнил недостающий опыт отцовства и частично загладил вину перед своей почти взрослой дочкой.

Литр крови ещё остался. И я всё думаю, когда сижу в кресле и любуюсь закатом, а этот литр булькает во мне, что жизнь прошла не зря.

P.S. Может показаться смешным... Стал играть в шахматы. В парке летними вечерами за столиками сидят такие же одинокие старики. Сначала посматривал на них свысока, потом стал приглядываться. Теперь сам вовсю играю. Соперник мой перворазрядник. Научил меня на свою голову. Вчера он первый раз продел. А я, кажется, первый раз с кем-то по-настоящему подружился...

(На этом месте рукопись обрывается.)

В гостях у сказки

Лето — пора унылая. Ты всё ждёшь, ждёшь отпуска. Думаешь: «Вот выйду в отпуск и... Да я... Да я...» Неделю ходишь сам не свой. Когда можно спать до обеда, непременно проснёшься в восемь. В крайнем случае в полдевятого. И что-нибудь такое вспомнишь, что вообще уже больше не заснёшь.

Находишь предлог, чтобы наведаться на работу. Кофе попить. Поболтать за жизнь. А там запарка. А там тебе и не рады. А там на тебя смотрят или как на полоумного, или подозрительно. Чего ходит? Чего вынюхивает?

В конце концов начинаешь со сжатыми зубами какое-то домашнее дело. И пока книги переставляешь или забор чинишь, поймёшь, что в отпуске. И так хорошо тебе станет.

А потом ты поймёшь, что Чехова перечитывать не будешь. Что сериал, который ты собирался смотреть со вкусом и оттяжкой, — глупый. Даже для тебя, маргинала. У детей свои игры, в которые ты не вписываешься. У жены другие планы на отпуск.

Эх.

И так тебе тоскливо станет, словно это не начало отпуска, а эскизы будущей пенсии.

И так хорошо, так радостно среди этого летнего блаженного уныния встретить старинного друга! Впадаешь при этом в странную эйфорию, выбалтываешь ему все секреты. Потом и сам не рад. И друг туда же. Такие истории про тёщу рассказывает, закачаешься. Или про жену, если другу не очень повезло. Или про директора. И обязательно вспомнишь на пару с другом молодые годы, когда и мы были рысакими. И поругаешь молодёжь, сначала играя в своих некогда сварливых старших родственников и даже иронизируя по этому поводу или хотя бы вставляя фразы типа: «Не хочу показаться сварливой бабушкой», — но чем дальше, тем сильнее влезая в эту шкуру.

А друг ведь, как правило, ненадолго заходит. Ему всегда некогда. Он торопится. И, разбередив прошлое, поспешно уходит, обещая написать в скором будущем. Он действительно напишет следующим утром что-нибудь совершенно дежурное: «Добрался нормально. Привет семье». И уже после этого исчезнет навсегда.

А когда он только ещё ушёл, ты сидишь как дурак и в себя прийти не можешь. Тут как тут детки, жёнушка, которые смиренно ждали, пока вы наговоритесь (подслушивали под дверью). Ты пытаешься им рассказать, что это за человек, как вы с ним раньше в атаку ходили (хотя бы на местный пивбар). А они тебя слушают, улыбаются, вежливо кивают... И ни хрена им это не интересно. А ты сидишь в среднем мире. Ты ещё там, с другом. Но друг ушёл. И ты тут, с ними. Но там тебе интересно, а здесь нет. Времени три часа пополудни и целый день ещё впереди. Дочка тянет гулять в детский парк, а жена напоминает, что ты уже неделю обещаешь прикрутить доску или какой-нибудь ещё болт. И ты кряхтишь, вздыхаешь, идёшь, крутишь, качаешь. И украдкой улыбаешься, потому что в мыслях-то... В мыслях ты всё ещё идёшь в атаку. На девочку Таню, которая гуляет с настоящим блатарём. Таня станет твоей первой женщиной и зачем-то расскажет об этом старшему товарищу. Он пырнёт тебя ножом, а ты потом будешь врать жене, что это шрам от аппендицита.

Но блатарь уже сгинул лет десять как. У Татьяны угрюмое пропитое лицо старой бабы и пятеро детей от разных отцов. А друган, который спас тебе жизнь, повиснув на руке блатара и заработав за это великолепный сабельный шрам на левой щеке, только что уехал. И есть такое ощущение, что насовсем.

Утром я обнаружил два пропущенных звонка. Один без пяти три ночи, второй — в восемь утра. Номера были разные. Я не придавал этому значения. На незнакомые номера не отзваниваюсь. Кому надо, тот найдёт. Попил кофе. Заглянул в сети. Социальные. Поймал одно сообщение. В нём фото. Мужик какой-то стоит у моего забора и показывает мне fuck off. Ёпт, да это Олежа. О-ле-жа! О-ле-жа! Чего же ты, мать твою... И я ринулся звонить по номерам. Оба оказались его.

— Я тебе первый раз позвонил, когда из Архангельска выезжал и стоял в пробке на грёбаном мосту. А второй раз — когда в твой чудный город въехал. Но ты дрых как чёрт. Ладно, не бзди, не обиделся. Ставь чайник, через полчаса буду.

Выпроводив жену и детей с кухни, я собрал ароматное пацанское кофепитие, состоящее из кофе и прошлогоднего шоколада, который никто не мог сожрать, даже я, такой он был горький.

На улице уже бибикали. Олежа стал шире в плечах и мужественнее. Тому были предпосылки: двадцать лет, которые мы не виделись. Сидел, пил кофе. По-взрослому рассказывал мне о тонкостях ипотеки. Это было скучно, и шоколад я всё-таки сожрал. Олежа поймал волну, и теперь его трудно было остановить. Он был менеджером в управляющей компании. Когда не ездил по ушам, чувствовал себя не в своей тарелке. А я сидел и вспоминал, каким он был клёвым диджеем. Эмси с микрофоном, Андрюха, заводил толпу, а Олежа лихорадочно переставлял кассеты (на последнем курсе появился первый бумбокс, и он уже перекидывал диски). До сих пор Олежа присылал мне сборки собственного сочинения. Я гонял по городу с приоткрытым окном, врубив музыку на всю катушку, и девчонки, которые годились мне в ранние дочери, оборачивались вслед.

Именно этот потаённый Олежа, не менеджер, а диджей, показался мне в конце разговора.

— Хэй, учитель, а ты what about зависнуть today в «Диснейленде»?

Забыл сказать, я имел неосторожность преподавать у этого джентльмена социологию. И мои пространные рассуждения о горизонтальной и вертикальной мобильности, чувствовалось, не прошли даром. Кроме того, по молодости я постоянно дежурил на дискачах. Так что утром Олежа учился у меня, а вечером я учился у Олежи, ибо продвинутый диджей приехал в наш медвежий угол из более-менее крупного города и всерьёз взялся всех здесь очеловечить. Двадцать лет назад. Но у него ничего не получилось. Медвежий угол остался медвежьим углом.

Туда-то и приглашал меня Олежа. «Диснейлендом» называли местный экологический парк «Медвежий угол». На самом деле это был развлекательный центр с деревянной скульптурой, горками и аттракционами.

— А там разве бухать можно? — не поверил я.

— Вообще нет, — сказал Олежа, допивая кофе. — Но у Шутика же дядька там рулит.

И действительно, владельцем «Медвежьего угла» был родственник Алексея Шутикова.

— Так что с восьми вечера до восьми утра «Диснейленд» в нашем распоряжении, — резюмировал Олежа.

Тут я вспомнил, что в восемь у меня по скайпу занятие на полтора часа.

— А можно я приду в десять? — спросил я.

— Так даже лучше, — сказал Олежа. — Мы уже нажрёмся и не будем тебя стесняться.

Если честно, то на вечерину я изначально решил не ходить. Прекрасно понимал, что меня в Олежиной группе помнят далеко не все. И через час застолья обо мне

благополучно забудут. А через два не узнают, даже если я возьму и заявлюсь. Но всё же на вечерину я пошёл. Пошёл самым неожиданным даже для самого себя образом.

За семейным ужином я вскользь упомянул о том, что, мол, дескать, выпускники празднуют сегодня встречу в «Диснейленде». Но на эту встречу я, естественно, не пойду. Тут пятилетняя дочка Леночка протяжно по-женски вздохнула и сказала, что милый папочка так и не сводил её в этом году в «Медвежий Угол». А десятилетний Петенька добавил: «Во-во». На что я резонно заметил, что десять вечера — время не детское.

Тут в разговор осторожно вмешалась супруга и пространно сказала, что, мол, было бы желание, а если его нет, то нет. И заметила, что в Новый год дети зависают и до четырёх утра. Я бы благополучно замял тему, но Леночка, уловив зерно образа, громко заплакала, а Пётр часто-часто заморгал моргалами. Я был сломлен. И в десять вечера подруливал к «Медвежьему Углу». Надо сказать, что Пётр в последний момент вырубился в героической позе человека, которому только предательский сон помешал одолеть Эверест. Я тихо надеялся, что и Леночка тоже спала, но Леночка не спала, а выбирала наряды.

В воротах «Медвежьего угла» нас встретила Маска, строго спросила, почему это мы без костюмов. Выдала мне костюм медведя, а Леночке за неимением реквизита дала красную шапочку и сказала, что она Маша. Леночка радостно закивала и взяла меня за руку.

Я-то думал, что посреди парка стоит огромный стол, который ломится от закуски, и что за этим столом сидит весь выпуск физмата двухтысячного года. Однако никакого стола не было и в помине.

— А где все? — спросил я у Маски, которая шла следом за нами.

Маска не ответила, но довольно крепко ущипнула меня, скажем так, за спину.

— Где надо, — ответила она и пошла прочь, покачивая бёдрами.

— Дура, — сказала Маша ей вслед и показала язык.

Для начала мы направились к декоративной, однако немаленькой мельнице, рядом с которой начинали бушевать нешуточные страсти.

— Счастье, — орал Серый Волк на Лису.

— Богатство, — орала Лиса на Волка.

Мы с Машей подошли к ним вплотную.

— Какая меленка, Мишка! — без труда влетев в свою роль, завопила Машенька.

Я хотел что-то сказать, но, вспомнив, что Медведь из мультика не говорит, только прорывал:

— У-у.

— Правильно, учитель, — оскалился Серый Волк. — Молчи-молчи, наслушались мы от тебя всякой херни.

— Хватит, натерпелись! — тявкнула Лиса.

Тем временем Машенька подскочила к мельнице и крутанула деревянное крыло. Оно совершило несколько оборотов и остановилось на вертикально расположенном игровом поле прямо напротив слова: «Здоровье».

«Слава Богу», — подумал я.

Волк следом за Машенькой крутанул мельницу, и через несколько секунд спор начал бушевать с новой силой.

А мы тем временем подходили к лабиринту.

Он представлял собой деревянный загон с хитро устроенными перегородками. В лабиринте были и уловки, и подсказки. Я решил позабавить дочку и специально повернул не туда. Из-за поворота нам навстречу выскочил кролик в цилиндре.

— Здорово, учитель! — самым беспардонным образом буркнул он мне, вытаскивая внушительных размеров карманные часы. — Ты опоздал. А это кто?

И он уставился на Леночку.

— Машенька, — сказала Леночка.

— Ты совсем уже, учитель, деток социологией мучаешь, — пробубнил Кролик и помчался дальше по лабиринту.

А я показал-таки своей обаятельной спутнице подсказку на стене.

— Я же читать-то не умею, — пожала плечами дочка.

Из-за нашей спины снова выскочил Кролик.

— Гос-споди, — тоскливо буркнул он. — Там написано: «Налево пойдёшь, счастье не найдёшь», — процитировал Кролик. — И давно социология стала устным народным творчеством?

Я пожал плечами.

Кролик передразнил меня и повернул налево.

А мы с Машенькой, подумав, двинулись направо и через пару минут выбрались из лабиринта и пошли в лес по тропинке.

В самом деле — в лес. «Медвежий Угол» — это ведь не парк. А потому что он расположен в лесу. И набрали мы с Машенькой на Медведь-камень. И следом за нами ступил на него Медведь. Ну, этого-то увальня я живо узнал. Он единственный из нашего колледжа завалил изложение на переводном экзамене в университет. Там экзамен такой был, смешной. Сдавали его прямо у нас по окончании третьего курса, то есть в самом конце. Диктовали им это изложение по буквам. А укурок этот сидел и смотрел на меня тупыми глазами. Давил. И добавил до билета в родное село Медвежьеугольского района. Дело хозяйское. Высшее образование за минувшие двадцать лет он, чувствовалось даже по внешнему виду, который не скрыть было карнавальным костюмом, не получил.

— Разрешите представиться: капитан Медведь, — сказал он Машеньке и протянул лапу.

Потом он довольно злобно посмотрел на меня.

— Мишка тоже Медведь, — сказала Машенька.

— Да я вижу, — злобно протянул капитан Медведь.

— Только говорить не может, — не унималась Маша.

— А это ничего, — сказал капитан Медведь. — Он в прошлой жизни наговорился. Да, коллега?

Я укрادкой показал ему средний палец левой лапы.

— Чего?! — взревел капитан Медведь и кинулся на меня.

«Пьяный человек — смешной человек, — рассказывал мне тренер по дзюдо тридцать лет назад. — Не спеши с ним схватываться. Отступи на пару шагов и посмотри. Может, сам упадёт. Если не упадёт, тогда помоги ему, только легонько. Он же слаб как ребёнок».

Я всего лишь отбежал на край огромного камня. Капитан Медведь второй раз бросился на меня и захохотал вниз, потому что я на полшага отступил в сторону.

Из-под камня слышалась возня и проклятия, но капитан Медведь больше не появлялся.

— Мишка! — крикнула Машенька, которая воспринимала происшедшее как игру — не более того. — Смотри! Страна невыученных уроков!

За партами под упомянутой вывеской сидели Незнайка и Буратино.

Над ними на стене я заметил два портрета. Пушкина и Некрасова. Причём под Пушкиным были годы жизни Некрасова, а под Некрасовым — судьбоносные даты

Пушкина. Пушкин был, как положено, Александром Сергеевичем, а вот Некрасова из Николая Алексеевича чья-то добрая душа переименовала в Николая Александровича. Памятуя неприязненные отношения отца революции к своему батюшке, рискну предположить, что Некрасов вряд ли сильно обиделся бы на эту опечатку.

— Вы тоже заметили? — спросил меня Незнайка постаревшим голосом первой ученицы.

— Школа будущего, — удручённо поддержал Незнайку Буратино голосом второй ученицы. — Безграмотны не дети и даже не учителя, а составители учебников.

Оскалив зубы, в класс (на самом деле это были две парты в ряд под небольшим навесом) вошла Плотоядная Корова.

— Красная Пашечка, я тебя съем, — сказала она Маше голосом физорга физмата.

— Ай, боюсь! — игриво взвизгнула Машенька и вмиг оказалась в моих лапах.

«Скажи ей, что коровы не едят детей, что они не плотоядные, а травоядные», — прошептал я Машеньке.

— Коровы травоядные! — выпалила Машенька.

— Слава Богу, — замычала Плотоядная Корова. — А не то учитель чегой-то стал суховат.

«Скажи Незнайке и Буратино, что я согласен с их педагогическим пессимизмом», — шепнул я Маше.

— Мишка согласен с демагогическим оптимизмом, — сказала Машенька.

Незнайка и Буратино укоризненно посмотрели на меня.

Я провёл большим пальцем по горлу, но Машенька не дала мне закончить оптимистическую пантомиму и потащила дальше.

— Там круто, — говорила она, — там пирамида.

Пирамида была действительно пирамидой, обитой чем-то вроде фольги. Внутри пирамиды разливался синий свет и танцевала Шамаханская Царица.

— Привет, Солнце Глаз Моих, — сразу узнала она меня.

Да и я её узнал. Такой клёвой родинки чуть ниже и левее пупка я больше никогда и ни у кого не видел.

И Медведь приветствовал Шамаханскую Царицу двумя пальцами вверх.

— Йахху, свобода! — завопила она и задвигалась в танце.

Машенька попыталась повторить её движения, но я так зверски дёрнул свою маленькую спутницу за руку, что она оттопырила нижнюю губу.

— Я даже хотела заплакать, но сдержалась, — призналась она мне на улице.

И тут на нашем пути возник колодец.

— Колодец-колодец, дай воды напиться! — завопила Машенька и распахнула крышку.

— Ку-ку, — сказал утопленник, воровато глядя на свет божий.

— Сам ты — ку-ку! — обиделась Маша. — Пугать ещё вздумал, дурак такой.

Утопленник довольно захихикал и закрыл крышку обратно, а я подумал, что он очень уж мне напоминает не выпускника физмата, а ныне действующего учителя информатики.

— Отдать швартовы! — вдруг проорал кто-то у меня над ухом.

Я стоял у корабля, а Машенька летела вверх по трапу.

— Лево руля! — кричала она, крутя взаправдашний штурвал. — Право руля!

Мишка, полный вперёд!

Тут на мостике появился капитан. В нём я узнал директора заповедника.

— Здорово, брат! — сказал мне директор.

Я махнул рукой.

— На абордаж! — закричала Машенька, увидев за кормой воображаемых пиратов, и побежала к пушке.

Последним у нас на пути было ледяное царство.

В большом холодильнике, входя в который нужно было обязательно накинуть тёплые куртки, висевшие у входа, стояли ледяные скульптуры. Кай, Герда, Снежная Королева... Был там и Кашей Бессмертный. Но он выглядел в Ледяном Царстве как тело инородное, тихонько храпел и уютно дышал покидающим его во сне хмельным зельем.

Я потряс его за плечо. Он открыл один глаз:

— О, учитель, — вяло констатировал Кашей.

— Не спи, замёрзнешь, — сказала Машенька. — Замёрзнешь и умрёшь.

— Да я и так мёртвый, — пожал плечами Кашей. — Вернее, бессмертный.

На всякий случай я всё-таки укрыл Бессмертного фольгированной курткой.

По узеньким деревянным мосткам мы с Машей шагали к той самой мельнице, от которой начали путь. Прямо под ногами росла черника. Я показал ягоды Машеньке, и она незамедлительно набила ими рот, отчего губы малютки стали зловеще-чёрными.

Маска сидела на скамейке у калитки, бойко заложив ногу за ногу и сбросив с той ноги, которая была сверху, туфлю, курила.

— Уходишь, учитель, — печально сказала она. — Жалко, что ты тогда на мне не женился.

Я снял маску медведя, вытер пот со лба, и хотя мне уже можно было говорить, ничего не ответил Маске. Машенька сняла красную шапочку и стала Леночкой.

— Папа на тебе не женился, потому что он женился на маме, — сказала она Маске.

— Базару нет, — удручённо согласилась та. — Пока, чувиха.

Леночка ещё раз показала ей язык, взяла меня за руку, и мы зашагали к машине.

В небе занимался рассвет.

Черноплодка

Говорят, что, когда нам по-настоящему плохо, мы вспоминаем маму. Что ж, не спорю. Только я в такие минуты чаще вспоминаю отца. А мама приходит ко мне сама, во сне. Приходит или даёт знать о своём присутствии только мне одному известными знаками извне. С отцом сложнее. За этим разгильдяем всегда нужно было гоняться. Даже теперь, когда его уже давным-давно нет в живых. И вот хоть ты тресни, но какая-то малозначительная сценка семейной жизни... И не то чтобы пастораль, а вообще... Странная безделушка из прошлого! Кажется важнее всего на свете.

Странно. Почему в холодильнике только полбутылки водки? Утром была целая. И отец какой-то подозрительный. Небритый, серый. До обеда провалился у телевизора. Сейчас собирается куда-то. Если бы он был пьяницей, я бы ещё понял. Запой это называется. Но он ведь не пьяница. И запоев у него не было, нет и не будет. Просто у него плохое настроение. Вот уже несколько лет у папы очень плохое настроение. Но он в этом не признаётся никому, даже самому себе. Насвистывает песенки. Пошучивает с тётками. Посмеивается над мужиками. И не занимается детьми, то есть мной.

В том, что папа мной не занимается, чувствуется свой подход. Отец удивительно хорошо умеет читать вслух книги. Прозу. Стихи он тоже читает, но стихи в его исполнении получаются навроде пародии. Кажется, и читает что-то серьёзное,

а обожаться можно, потому что слушаешь про чудное мгновенье и представляешь при этом совсем не чудное мгновенье, а какой Александр Сергеевич Пушкин был тип. Вернее, уникал. Совсем другое дело — проза. Здесь отец читает и увлекается. Читает в лицах. И лучше всего у него выходит Карлсон, который живёт на крыше. Это потому, что папа сам Карлсон, только взрослый и без пропеллера. И воспитанием ребёнка занимается так, как в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил играл с занудным Малышом. Улетает минут через пять наземной активности.

— Папа, что-то у велика педали плохо крутятся.

— А там инструкция на полке лежит, посмотри, в ней написано...

Пару раз папа решал со мной задачу по математике. Заканчивалось это тем, что он закатывал глаза, напрягал мышцы шеи, потом расслаблял их и вращал головой, приговаривая:

— Ы-ы-ы.

Через минуту я самым волшебным образом оказывался в комнате один.

Помнится, папу заинтересовал однажды мой учебник истории. Я заглянул через плечо, чтобы узнать, на что он так внимательно смотрит сквозь очки в роговой оправе. Это была античная скульптура. Женские образы.

Ещё папа учил меня играть в шахматы. Сначала он так же, как с математикой, страдальчески крутил головой. Потом взял себя в руки и стал подсказывать мне ходы (думаю, ему просто нечем было больше заняться). Неожиданно увлёкся игрой. Тут на кухне раздался звонок, а через минуту в комнату заявила мама и сказала, что мой старший братеньник через два квартала поджигает с друзьями сарай. Отец рассеянно кивнул и пообещал разобраться. Через пять минут раздался второй звонок. Мама вбежала в комнату и заорала, что сарай уже подожгли. Отец, который готовился сделать важный ход, поднял указательный палец и крикнул:

— Тихо!

Мама взвыла, схватила картонную шахматную доску, отчего фигуры полетели на пол, и разорвала её пополам.

— Пожар! — крикнула она с искажённым лицом.

Отец с сожалением посмотрел на разметавшиеся фигуры и неспешно пошёл одеваться. Покричал брата у калитки и вернулся обратно.

Мама сердито плакала. Брат пришёл домой через полчаса. От одежды вкусно пахло дымком. Оказалось, что пожара всё-таки не было, хотя сарай с теплицей поджечь и пытались, но доски были сырые, а спичек мало.

А в тот вечер, когда в холодильнике убыло водки, отец оделся в рабочее и спросил:

— Ягоды идёшь собирать?

Брат уже год как уехал учиться в Архангельск, мама уехала в командировку, а заодно и навестить брата, её не было уже неделю. Я скучал и поэтому легко согласился.

На улице оказалось по-осеннему холодно. Воздух был свежим, а небо большим. Деревья жёлтыми, а черноплодка багряной. Ягодросло много. Отец аккуратно срезал кисти ножницами, а я рвал так, горстью, отчего руки мои сразу стали фиолетовыми. Отец неодобрительно покосился на мои руки, но ничего не сказал. Свои руки он берёт, не по манерности, а по производственной необходимости. Отец был врачом, хирургом. Но сейчас он был, скорее, невесёлым мужчиной за сорок, который вышел на приусадебный участок собирать ягоды. Вышел больше для порядка: какое лакомство из черноплодки?

— Стоит рябина неубранная, — ворчал он.

Ягоды мы собирали недолго, меньше часа. Стало темнеть, и мы вернулись в дом.

Поклевали черноплодки, но она вязала рот, застревала в горле, была терпкой — в общем, и захочешь, а много не съешь.

Отец взял со стола телепрограмму с подчёркнутыми карандашом интересными передачами на трёх доступных каналах. Подчёркнутого было мало, одна-две строчки в день, и то не в каждый.

— Футбол через час. Будем смотреть? — спросил он.

Я согласился со скрытым восторгом. Мы поужинали. Я заглянул в холодильник и с изумлением увидел, что бутылка водки и вовсе пропала. Отец завалился на диван. В предвкушении футбола мы болтали. Он рассказал, как «Динамо Тбилиси» выиграл кубок кубков. Потом начался сегодняшний матч. Это был чемпионат СССР. Играли «Спартак» — «Торпедо». «Торпедо» играло плохо. И только семнадцатилетний вратарь Дмитрий Харин раз за разом отчаянно спасал ворота.

— Дима, ты один у нас играешь! — слабым эхом донеслось с трибун.

И только сейчас я понимаю, что по эту сторону экрана мы едва слышали то, что там, на торпедовских трибунах, отчаянно орали.

Ближе к перерыву отец захрапел. И второй тайм я досматривал уже без него.

Фарт у Харина и у «Торпедо» закончился на тридцать второй минуте не без участия спартаковца Родионова. Под занавес второй гол с пенальти забил Фёдор Черенков.

В конце матча отец приоткрыл один глаз, буркнул:

— Играть не умеют, черти...

И снова дал храпака.

Потом и мои глаза заволокло облаком, которое стало ватым и отделило меня от экрана. Сквозь облако вдалеке что-то слабо брэнчало: то ли гитара, то ли телефон.

Я проснулся в четыре утра. Отца не было дома. Я включил телевизор и таранил глаза в пустой экран с пищущей сеткой. Отец вернулся в шестом часу. От него неукусно пахло больницей.

— Нажрут, черти, морды поразбивают, перережут друг дружку, не спи из-за них, — ворчал он. — А ты-то чего не спишь?

— Не могу, — признался я.

— Всё, спи, я пришёл, можешь не бояться.

Я хотел возразить, что я уже большой и ничего не боюсь, но почему-то не стал этого говорить, а послушно лёг в кровать и провалился в сон.

Во-первых, я всё же боялся быть дома один. Во-вторых, хотел спать. А в-третьих, словно бы чувствовал, что больше никогда в жизни не буду спать так крепко и спокойно, как в эту осень, последнюю нашу с отцом осень, когда я спал, а он, угрюмо ворча, спасал жизни каких-то нажравшихся чертей, а потом охранял и мой сон.

Я проснулся в десять, заботливо укрытый, с одеялом, подоткнутым со всех сторон. Я обрадовался, вскочил, думая, что приехала мама, но мамы не было. Да и отца опять не было дома.

Я выглянул в окно и увидел, что на улице пасмурно, моросит нудный осенний дождь. Отец приставил лестницу к рябине и, стоя на шатком трапе, собирал остатки черноплодки.

— Летите! — вдруг крикнул кто-то с дороги.

Это кричала соседская девочка. Кричала с какой-то недетской грустью, надрывом.

Мы с отцом одновременно и посмотрели вверх. Он с лестницы, я из окна. Утиный клин рассекал воздух. Пара молодых птиц выбилась из общего строя, но тут же, на наших глазах, втиснулась в более короткую правую фалангу рвущего воздух плуга.

А вожак уверенно и сильно взмахивал крыльями и, не оглядываясь, тянул караван вперёд.

Роман Рубанов

Координаты мест

Рождество

А. Г.

Ни волхвов, ни звезды... только взгляды безликих ТЦ.
Многочисленный люд едет в пазиках сомнамбулических.
Эту долгую сказку с развязкой счастливой в конце
Город смотрит и ждёт, и безжалостно жжёт электричество.

Снег с дождём будут поочерёдно друг друга сменять,
Словно счёты сводить с человечеством, городом, временем.
В небе звёзды качнутся и медленно засемят
В непроглядном тумане, в промозглой рождественской темени.

И когда будет трудно поверить, что время пришло
Для чудес и добра, то с небесной невидимой лестницы
Бог шагнёт в этот мир, что расколот враждой, как стекло,
И, качнув колыбель, улыбнётся звездой рождественской.

* * *

Н.

Никогда, ты слышишь, никогда
города,
в которых снег на ветках,
сон на веках,
не разлучат нас. Говорит звезда.

Рубанов Роман Владимирович — поэт, актёр, режиссёр. Родился в 1982 году в деревне Стрекалово под Курском. Окончил Курский университет и театральную студию «Ровесник» при Курском театре юного зрителя. Автор книг стихов «Соучастник» (М., 2014), «Стрекалово» (М., 2016) и «Соната № 3» (М., 2020). Участник Всероссийских Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературных премий им. Риммы Казаковой «Начало», «Звёздный билет» и др. Живёт в Курске.

Она горит, ни разом и ни вдруг —
от наших рук,
которые сплетались крепко,
бились в крике,
и в темноте очерчивали круг,

и в тишине смолкали. В тишине.
Твои на мне,
легки и тонки.
И перепонки
прозрачной шторы зябли на окне —

смахни её. Ты видишь эту даль!
Я никогда
твоих рук жарких,
к губам прижатых,
ни времени, ни смерти не отдам.

* * *

Косит старуха осенний бурьян.
Поезд идёт в Москву.
Там, за окном, радость моя,
люди иначе живут:

домики низкие в пару окон,
изгородь клёнов и лип.
Смотришь и думаешь — разве в таком
домике жить могли б

люди?
Живут. И глядят поездам
в окна, и косят бурьян,
воду таскают в ведре по утрам...
Это Россия моя

грустная, нищая, с пеплом дорог,
с пылью газетных статей,
но исходил её, горькую, Бог
и отстрадал на кресте,

вот она, только в окно посмотри.
Где это? Ближе к Орлу?
Пламенем синим горит — не стгорит,
режа и зренье, и слух.

Я её вижу, и больно в груди,
и тяжело на душе.
Пристально эта старуха глядит
с горнего мира уже,

и опадает осенний бурьян,
ходит стальная коса.
Что это значит? Радость моя,
если б я знал это сам.

* * *

Я — зверобой, чабрец, пастушья сумка,
я травы, что растут
из недр земли, с потерянным рассудком,
лбом пробивая грунт.

Я голос трав, во мне бушуют соки
моей земли
на разных языках, и весь я соткан
из их любви.

Я сердце, я истрёпанные крылья,
я шум веков.
Я разорвусь, чтоб этот мир накрыла
Любовь.

* * *

А смерть придёт, закурит, запоёт,
Хлебнёт из фляжки
И скажет: недолёт и перелёт —
Не так уж страшно.

Страшнее быть неузнанным в степи
И нелюбимым.
Все пули в одного, но ты терпи.
А вдруг да мимо.

Котлы горят, и люди говорят.
Да что там люди...
С небес идёт без остановки град
Из всех орудий,

Но ты терпи, курни и не бойсь,
Глаза у страха
Невелики. Пройдёт и эта жизнь.
Мы все из праха.

Она докурит, выпьет и уйдёт
Слова искать.
И будет недолёт и перелёт
Под Иловайском.

И землю собирая пятернёй,
В кровавой каше
Уснёшь. И Бог домой тебя вернёт
К небесным нашим.

* * *

Парень тот, что убит под Стахановом,
Встанет, и жизнь повторится заново:
Средняя школа двадцать восьмая,
Парад на площади на 9-е мая,

Трамвай до Теплогорска — туда и обратно,
Художка, катанье на лодке с братом,
Поджиганье покрышек за гаражами,
Розмовляющие українською горожане...

А потом — воронки, кровавые реки, трупы.
Трубят архангелы в мятые медные трубы.
Полк поредел, но доблести не утратил.
И собираются вместе убитые братья,

Чтоб снова город Стаханов закрыть собою
От украинских снарядов. Стоит собором
Золотоглавым парень вчера убитый,
Он будет стоять, он не сойдёт с орбиты,

Все пули в него одного. Он стоит, как камень.
Сердце перед собой держит двумя руками.
Архангел снимает трубку, там голос Бога:
— Михаил, подмени его, пусть отдохнёт немного.

* * *

Н.

Родник бьёт больно. Пробивая твердь,
Он говорит с землёй.
Он, как и я, торопится успеть.
Бежит, поёт, замрёт.

Он смотрит. Взгляд прозрачен. Смерти нет.
Он снова зажурчал.
Он прорывает пелену теней,
Как дикий зверь, рыча.

Так бьёт любовь из сердца через край,
Не умещаюсь в нём,
Так темнота не в состоянии красть
Свет, сотворённый днём,

Так Бог, любя нас, чёрствых, всё равно
Опять идёт на крест.
Так я к тебе иду, теряя вновь
Координаты мест,

Так ты молчишь и дышишь мне в лицо,
Так жгут обрывки фраз,
Так жизнь змеёй смыкается в кольцо,
В нём замыкая нас.

Алексей Алёхин

Проклятое ремесло¹

«Творчество поэта лирического заключается в сообщении осязаемости мысли...»
(Ап. Григорьев).

Все потуги стиховедов вычленить *объективное*, без учёта намерений автора, определение «стихов» — пустое дело. Это как средствами акустики отделить музыку от не-музыки, соло джазового барабанщика от грохота сгружаемых с машины дров.

Интонационная теория в этом смысле поближе к истине — она сосредоточивается не на *признаках стиха*, а на признаках того, что автор *рассматривает свою речь как стиховую*: заложил в неё стиховую интонацию.

Лиснянская:

— Мне до того не нравится, что я сейчас пишу, что кажется — все пишут лучше. Ну... все, кроме Наймана.

Канон или шаблон?

Затевая журнал, я намеревался печатать в нём букву ё. Но тут мне попала на глаза новомирская публикация «крохотулек» Солженицына, требовавшего, как известно, проставлять все карамзинские буковки. Мало того, что выглядело диковато, — я сразу сообразил, на что похоже.

В советские времена, по книжной бедности, я пополнял свою библиотеку недостающей классикой, покупая книжки в разных союзных республиках, изданные там для местных читателей. Русский им не родной, и потому над всяким словом проставлялось ударение.

И я понял, что русский *литературный* журнал как раз *не должен* печатать ё: его читатель должен различать эту букву сам. Сохраняя, как и ударение, лишь в случае возможных разночтений.

Поэтическое поприще сродни религиозному — оно бессмысленно, если не держать в уме Град Небесный. Для обитателей которого и пишутся стихи.

Редактор должен любить чужие стихи не меньше собственных.

¹ Окончание. Начало см. в «ДН», 2022, № 10. Редакция мнение автора уважает, но разделяет не всегда.

Художественный текст, сочинённый на компьютере, похож на скульптуру из пластмассы. Тоже очень технологично.

Поэтесса А. — писаная торба русской поэзии.

На фестиваль в Грузию собрали со всего света поэтов-русскоязычников. И те без малого неделю только тем и занимались, что пили, ели и переваривали пищу.

На сцену вышел ещё советской закваски поэт С. и гнусавым голосом пропел стихотворение. А мог бы его и станцевать.

Фельдшер филологических наук.

Простая констатация: «Кузьмин выпускает “Воздух”...» — а до чего на слух двусмысленно...

Продвинутые ребята. Прodelали путь от Барто до Барта.

Быковский¹ «Пастернак» — образцовое по пошлости сочинение. В первом, старинном, значении слова: по заурядности мышления. Так обыватель, наслышанный о поэте, берётся за его стихи и не может понять, в чём тут дело. И это непонимание его злит.

Хотя и во втором значении тоже — начиная с первой фразы: «Имя Пастернака — мгновенный укол счастья». Бумага бы не стерпела — сразу видно, строчил на компьютере.

Пастернак — лирик *par excellence*, у него и в эпосе только лирика интересна. Быков к лирике глух и пытается себе объяснить её через какую-то беллетристику. Принимается развинчивать стихотворение — а там ничего, одни гайки. Берётся за дело с другого конца, старательно пересказывает прозой — и опять ерунда.

Он это несоответствие чувствует и лирики касается с неохотой (а когда касается — лучше бы не трогал) — зато радостно хватается за всё, что поддаётся простому пересказу, будь то поэма, роман или неудавшаяся и недописанная пьеса, и тут уж разбирает по косточкам: на препарирование огрызка пьесы пустил аж 20 страниц. Но охотней всего, понятное дело, об отношениях с властями и женщинами.

Вообще-то, по этому толстенному опусу можно было бы изучать не Пастернака, а Быкова, если кому-нибудь интересно. Ну хотя бы его простодушные взгляды на то, каким бывает и каким должен быть роман. Ему всё мнится, что и тот как он сам: ставит задачу, разрабатывает тему, раскладывает фиги по карманам... Всё время как бы примеряет Б.Л. на себя и изнутри разбирает. А внутри и оказывается — Дима Быков.

Местами, если забыть, о ком написано, читать даже занятно: время, лица, события. Но вот поэта-то он из Пастернака — выпотрошил. Остался тщательно пересказанный эдакий пронырливый не то совпис, не то колумнист «Известий», ловко маневрирующий то со Сталиным, то с любовницей, то с женой.

За отсутствием понимания, измышляет схемы, под которые и подгоняет факты. А временами ещё и похлопывает по плечу: вот тут ты молодец, ловко выкрутился. А тут — здорово срезал...

А вообще-то умело обгаживает. Приведёт, якобы для полемики, «мнение недоброжелателей» — и несколько страниц добросовестно подтверждает цитатами

¹ Из дневниковой записи 2007 года по поводу книги: Дмитрий Быков (внесён в РФ в список иноагентов). — Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2006.

и случаями. Как заметил в приватном разговоре задумчивый Василевский, «странное дело — прочтя эту книгу, я стал относиться к Пастернаку хуже». Ещё бы.

Глупости, пошлости и подтасовки (до перевирания пастернаковского текста) могу доказать текстуально, но тогда пришлось бы перелопатить том заново, а мне и раза хватило с лихвой.

Я всё размышлял, он её из подлости написал или по глупости. Скорее, всё ж второе. Щенок, вздумавший заговорить с Б.Л. на равных...

(Правда, сценка с явлением Пастернака в ареопаг теней у него получилась. Хотя в последний миг и дал слабину.)

Язык в поэзии никогда не равен сам себе. Со словами всегда *что-то происходит*.

Именно потому редки удачи перевода. Смещения в значениях и окраске слов зависят от языка, и когда они в переводе тоже присутствуют, то — иные: пропадает точность. А когда отсутствуют — исчезает поэзия.

Экран компьютера не лучшее место для стихов.

Закончив свою поэтическую вечеринку и выпив по жалкой рюмке водки, они гурьбой перебираются на другую, попевая и там к фуршету. Ну, как если б, доев кутю на своих похоронах, заявиться на соседские...

Как говорил Лукиан, лесь — родная сестра клеветы.

Стихи Ахматовой — дамские. Причём дамы, которая хочет казаться бабой.

Между настоящими романами и этими, на магазинной полке, та же разница, как если женщина шьёт себе или дочери, с любовью выбирая всякий шов, — или работница с утра до вечера строчит в мастерской: быстрее, быстрее...

В основе даже самого простенького стихотворения лежит — *озарение*.

«Современников поражает в поэзии прежде всего элемент “новизны”, и поскольку новизна (хотя бы чисто внешняя, даже просто мнимая) соединена с литературной талантливостью, действие её на тех, кому впервые приходится с ней столкнуться, — почти всегда неотразимо» (Георгий Иванов).

К вопросу о поэтических переводах. То, что у Шеймаса Хини — лес, у Кружкова — горпарк.

Не верю в искусство, которое не умеет радоваться жизни.

Изрядная доля тиражируемых ныне поэтических «текстов» как бы написана Смердяковым: из зависти к законнорожденным.

Л.Толстой о Шопенгауэре: «Мне всегда хочется сказать пессимисту: “Если мир не по тебе, не щеголяй своим неудовольствием, покинь его и не мешай другим”» (из письма Э.Роду, 1889).

Меламедовы рифмованные проповеди.

Интернет ведёт к вытеснению профессионалов самодеятельностью. Что-то в этом от задорных лозунгов на заре советской власти с её презрением к «профессорам» и восторженной верой в «энтузиастов».

Есть точные знания. Есть выношенные суждения. И того и другого очень мало. Вроде золотого песка, рассеянного в обыкновенном. Цивилизация выработала механизм, худо-бедно его извлекающий, по крайности, нацеленный на это.

Безбрежный интернет-демократизм производит обратную операцию.

«Ум хорошо, два лучше». Возможно, хотя не всегда. Но сто умов — точно хуже: это как лечиться не у врача, а следовать медицинским советам сидящих в очереди к его кабинету.

В сущности, сейчас повторяют слова арабов, спаливших Александрийскую библиотеку: печатные книги следует уничтожить, ибо если в них говорится то же, что в Интернете, они лишние, а ежели иное, то врут, и значит, вредны.

Я предпочитаю жить старым гутенберговским способом...

В жару тяжело писать, осилишь разве что три-четыре строчки. Не оттого ли в знойных восточных странах процветали краткие формы, вроде рубаи? А Соломон Давидович наверняка сочинял свою «Песнь песней» в зимнюю пору, по холодку. Как и авторы бесконечных махабхарат с рамаями...

У поэтов есть такой обычай:

В круг садясь, премировать друг друга.

Поэты нынче вроде итальянцев: готовы поменять свои лиры на евро...

Раньше писали «Стихи о советском паспорте», теперь — «Стихи о шенгенской визе».

Белинский о природе поэзии (в статье «Разделение поэзии на роды и виды»):

Лирическая поэзия «...заключает в себе глубокую *мысль*, отрешившуюся от слова, бессильного выразить её, и превратившуюся в чувство...»;

«...Лирическая поэзия употребляет образы и картины для выражения безобразного и бесформенного чувства...»;

«...Лирика есть поэзия по преимуществу, есть поэзия поэзии...» (пересказ суждения Жан-Поля Рихтера).

«В лирическом произведении, как и во всяком произведении поэзии, мысль выговаривается словом; но эта мысль скрывается за ощущением и возбуждает в нас созерцание, которое трудно перевести на ясный и определённый язык сознания».

«Поэзия есть высший род искусства».

Эта проклятая привычка пачкать бумагу буквами...

Компьютеры невероятно облегчили интеллектуальный труд. Но точно так же, как механизация и автоматизация физического труда привели к тотальной гиподинамии и, как следствие, к ожирению, — ведут к гиподинамии и ожирению умственным. Куда уж тут читать серьёзную литературу! Прошёл чуть ли не век, пока спохватились и принялись спасаться от телесной тучности бегом трусцой и тренажерами. Может, и к литературе вернуться. Хотя бы в гигиенических целях.

Жестокая муза Слуцкого. Он вывел поэзию за пределы поэтического. И она обосновалась там.

Самое притягательное в стихах Бродского эдак до конца 70-х — их видимая небрежность. Как в мраморах Микеланджело, как в полотнах Хальса. К старости он принялся отделять вещи тщательнее.

Внятная невнятица Мандельштама.

Она выстроена как игра симфонического оркестра, где редко у какого инструмента случится законченное высказывание: так, обрывки, звуки, фразочки — но вместе складывается речь.

Рифмовать легко. Трудно поэтически мыслить.

Стихотворение заводится в сочинителе, как болезнь, и то бросает в жар, то откатывает, оставляя по строчке-другой, пока, через неделю или несколько, на листе не окажется стихотворение. И ты здоров.

В статье «Деятнадцатый век» (1922), размышляя о движении культуры, Мандельштам напоминает: «В живописной композиции существует один вопрос, обуславливающий движение и равновесие красок: где источник света?»

Вплоть до века Просвещения в европейской культуре этим источником был Бог. С его отменой, Бога заменили Человеком.

Но Бог был один, а людей множество. И пока ещё это был гуманистический человек, *мера всех вещей*, — в сущности, некий идеал, выросший из позднего христианства: образ и подобие Божие, — замена (по XIX век включительно) не была катастрофической. Однако с эмансипированным веком XX-м, и особенно XXI-м, с его параноидальными плюрализмом и мультикультурностью, возобладал человек просто как сумма потребностей, а вместе с ним и тот самый «постмодернистский» релятивизм, при котором картина мировой (речь о западноевропейской) культуры утратила равновесие и распалась. Потому что об идеалах добра и красоты можно спорить, но если согласиться, что их вовсе нет, искусство утрачивает главное своё (и по Мандельштаму, и, кстати, по Блоку) предназначение: соединяющего, цементирующего раствора цивилизации.

Песенные тексты Окуджавы отягощены поэзией. А поэтические — пересахарены мелодией.

В стихах должна присутствовать необъяснимость. Прежде всего — необъяснимость их рождения.

...В свой черёд на сцену поднялся великолепный Рейн, несравненно великолепней и самого юбиляра, и ведущего, и даже хора, просеменившего у них за спинами из-за кулис, чтобы исполнить песню на юбилейные стихи, — в изысканно-древнем пиджаке, ниспадавшем с его сутулых плеч, как тога; в брюках, струившихся Бахчисарайским фонтаном; в накрахмаленной сорочке и широком галстуке, завязанном так шикарно, что ясно сделалось: не стихи он учил писать нобелевского лауреата, а завязывать галстуки, — и прорычал громовым голосом приветственную речь, в которой сумел не солгать ни словом, уподобив творчество юбиляра альбомным стишкам, но так искусно приплетая сюда и альбомного Пушкина, что и юбиляр остался в восторге, и зал, проводивший оратора треском аплодисментов. Под них Рейн и сошёл со сцены обратно в зал, сверкнув напоследок седую гривой в лучах прожектора, как короной.

Главное — выходить из пределов начавшегося стихотворения в непредвиденную его началом сторону. А то оно себя само допишет, наподобие машины.

Иные поэты обладают счастливым даром кувыркаться в набежавшей словесной волне, не размышляя, — вроде того как чайки катаются на воздушном потоке, не утруждая крыл.

Вся мировая поэзия — плохо смытый палимпсест, где под новым текстом всегда просвечивают строки предшественников, и не только великих.

В старом саду все деревья растут вкривь и вкось, пытаясь выбираться из тени друг друга. Поэзия — очень старый сад.

Поэзия состоит из значимых величин: поэтов. Каждый из которых больше суммы своих стихов. Но это распознаётся после, а изначально мы имеем дело только с текстами и можем лишь угадывать, что за ними стоит.

Вот почему «Арион» в своей поэтической части ориентируется почти исключительно на стихи как таковые, текстоцентричен. Другое дело критика, пытающаяся выявить поэтики и поэтов.

Стихи Юрьева — это такая вышивка по филологической канве.

Из тысяч маленьких мучеников музыкальных школ в консерваторию попадают десятки. И потом всю жизнь сидят в оркестровых ямах, Ростроповичей и Ойстрахов — единицы. Но без оркестра не бывает музыки.

Так и в поэзии, только отсеб многократно больше. Но без оркестра не бывает музыки.

Нынче во всех журналах и по радио лучше всего говорят и пишут об автомобилях. Раньше-то о литературе...

Книга, журнал, даже газета — собирали мир из осколков в целое. А Интернет со своими «окнами», напротив, — разбирает на фрагменты. И это проблема не подачи информации, а мировоззрения.

В своих суждениях о поэзии Фрейд — самый обыкновенный филистер, вроде начитанного бакалейщика.

В стихах всё дело в паузах — они как дырки в голландском сыре, от которых самый вкус.

Суждения Батюшкова:

«Херасков, говорил мне Капнист, имел привычку или правило всякий день писать положенное число стихов. Вот почему его читать трудно. Горе тому, кто пишет от скуки!»

«Есть писатели, у которых слог тёмный; у иных мутен. Мутен, когда слова не на месте, тёмный, когда слова не выражают мысли или мысли не ясны...»

«Вкус можно назвать самым тонким рассудком».

В каждом стихотворении необходимо найти свой *способ говорения*. Для поэта он и есть особое отношение с миром.

«Иногда для одной строки надобно пробежать книгу, часто скучную и пустую» (Батюшков).

Верлибр у нас так и не сделался равноправной системой стихосложения. Зато графоманы, поспешающие за новейшими веяниями наподобие привязанной к собачьему хвосту консервной банки, освоили его в промышленных масштабах. В надежде, вероятно, опередить отечество и угнаться за Европой.

Продукция их, и правда, схожа больше с переводом, чем с русскими образцами (Хлебникова, Мандельштама, Винокурова, Бурича).

«Переписываю её <рукопись> в четвёртый раз, и очень хотелось бы ещё и ещё вплоть до седьмого, — и долго рассказывать, но метод писания прозы у поэта всегда *поэтический*, т.е. стремление к абсолюту каждого слова...» (М.Цветаева в письме к В.Рудневу, издателю «Современных записок», 1933).

Творческий вечер поэта Ф. походил на небогатые еврейские похороны. Соболезнующие друзья подбирали слова поддержки, вытаскивая из себя всё хорошее, что могли припомнить о виновнике церемонии.

Он и по улице ходит пятитопным ямбом. Приволакивая ногу на цезуре.

С а т и н: Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

Обновление поэзии всегда знаменуется появлением 20-летних поэтов. То-то их выискивают, даже и на пустом месте. Важно настоящих не проглядеть.

«Для публики я не имею главной привлекательности — молодости и новизны литературного имени», — писал Пушкин в 1830 году, готовя к печати «Бориса Годунова».

Начало прошлого века в поэзии кажется нам очень близким, а конец предыдущего — страшно далёким, хотя всей разницы 15—20 лет. Именно тут случился перелом. Мы в этой новой эпохе живём и, подозреваю, будем довольно долго жить — как в Возрождении после Средневековья.

С верлибром у нас как с киргизами-дворниками: уже попривыкли, но полюбить нет сил.

Один из признаков настоящей литературы, литературы как искусства, тот, что, в отличие от чтива, сюжет сам по себе ей маловажен. Это в детективе главное — кто убил, и в дамском романе — кто за кого выйдет замуж.

А для «Войны и мира», в сущности, безразлично, выйдет ли Наташа за Пьера или выскочит за Анатоля Курагина: не об этом роман. Как и тот, другой, — не о финансовой аванюре Чичикова.

Сюжет тут всего лишь рельсы, помогающие продвигаться по книге. Важен не он, а то, что, читая, мы на несколько дней или на неделю погружаемся в созданный автором мир — осязаемый всеми чувствами как настоящий, но только более яркий и внятный.

Так что можно в этом мире пожить и набраться душевной ясности — чтобы вынырнуть обратно в расплывчатую повседневность.

Слова в стихотворении должны друг с дружкой бл.довать, а не сидеть на соседних стульчиках, как пенсионеры в поликлинике.

Ну да, это похоже на стихи. Если не вглядываться.

Даже самая обычная речь переполнена оттенками смыслов. Вы только вслушайтесь в глагол: о любви не говорят, в ней — *признаются!*

Стихи шестидесятилетнего Пушкина я могу вообразить. А вот стихи старого Маяковского — нет. Бывает поэтика, мыслимая только в молодости.

Ритмическая структура стиха навязана автором и составляет часть высказывания. На деле чаще её бессознательно заимствуют у предшественников, поневоле копируя и *суть* сообщения. В том числе и в верлибре — тоже своего рода «память метра».

За верлибр у нас принимают всё написанное не в склад, не в лад.

У них стихи с консервантами.

Чрезмерное сопротивление среды оставляет мало простора для вариаций. Вот и дельфины похожи на рыб.

Так и все палиндромы, с их искусственно сложной задачей, схожи друг с другом и потому малоинтересны. Поэтически бессмысленны.

В первую очередь, у них у всех один и тот же короткий скачущий ритм. Притом что именно ритмический рисунок запечатлевает интонацию, а в ней половина поэтического смысла. Вот и Чухонцев написал палиндром. Не хуже других. И не лучше.

Совсем уж бессмысленны, хотя невероятно трудны, «полноразмерные» палиндромы, у которых зеркальность распределяется не по строкам, а обнимает целиком всё стихотворение, с начала до конца и задом наперёд. Обычный читатель этого фокуса и вовсе не заметит. А заметит лишь вынужденную нечленораздельность речи — причём у разных подобных опусов *одинаковую*.

В общем, фокус сложный и увлекательный. Как сыграть Моцарта на пиле. На скрипке, однако, выходит лучше.

Филология вовсе не служит литературе. Она использует её для своих нужд.

Что может быть прекраснее записной книжки старого поэта? Я случайно заглянул, пока Чухонцев искал какую-то выписку, в её исчерканные страницы с перекрещенными и вписанными строчками, рисунками птичек, названиями лекарств и расписанием электричек до Мичуринца...

Я даже хотел её вставить в одно стихотворение. Но она и сама по себе произведение искусства.

«Гений, с точки зрения толпы, — массовик-затейник» (А.Пурин).

Сейчас видно, что молодой Евтушенко, казавшийся оппонентом советского масскульта, на деле в нём и обретался. С тем же набором великих строек, велеречивых обращений к России-родине и кивков в сторону классиков со стены школьного кабинета литературы.

Вот хотя б знаменитые «Белые снега». Несколько наивные и душещипательные, но, в общем, вполне достоверные поэтические чувства по поводу бренности бытия — и тут же кондовая выпрєнная риторика, не лучше Суркова.

К советскому дичку привили не классическую розу, а пластмассовую.

У него Пегас — подкованный.

Курсив в тексте — мера крайняя. Значит, не получилось выстроить фразу, чтобы нужное слово само оказалось в сильной позиции. Такое бывает. Но если текст пестрит курсивами, закрадывается мысль, что у автора не всё ладно со стилем.

Салимон обычно пишет утром, а Чухонцев — по ночам. Это и по стихам заметно.

Журналы вроде «Воздуха» по-своему полезны. Они вбирают из поэтической атмосферы загрязняющие вещества и вредные испарения. Ну, как пакетики, что кладут в магазине в коробку с обувью, чтобы та не отсырела. На них ещё пишут: «Внимание! Несъедобно!»

Шершеневич неспроста так напирал на теорию поэзии — у него была проблема с практикой.

Разговор о поэзии это всегда разговор о поэтах.

От прежней своей профессии карманника и лагерного сидельца поэт Женя Карасёв сохранил привычку к любому *начальству* обращаться протяжным плаксиво-просительным голосом:

— Ну по-о-ставь мою подборочку в 1-й но-омер!.. — делая при этом серые брови домиком и округляя серые хитрые глазки.

Он любит рассказывать воровские байки о проделках своих и чужих. Ну, например, как у какого-то *крестьянина* в трамвае умудрились вытащить кошелек из кармана внутренних штанов — надетых под верхние. «У нас это *вторяк* называется...»

Старый карманник убеждён, что в супермаркетах надо подворовывать. И на моё сомнение, к лицу ли это приличному человеку да ещё и поэту, возражает горячо: «Очень даже! Вот в Америке одна кинозвезда — на чулках попалась!»

Из его словаря:

очко — задний карман *шкар* (брюк);

чердак — верхний кармашек пиджака;

скулы — внутренние карманы;

верха — наружные карманы;

терпила — объект и жертва воровства;

щекочется — беспокоясь о сохранности денег, то и дело трогает карман с бумажником...

Поэзия любого времени состоит всего из нескольких поэтов. Заветная цель пишущего — оказаться в их числе.

Словам в стихотворении важно не только, как они звучат, но и как выглядят.

Если пьесы Чехова это его романы, то романы Достоевского как раз — пьесы: по степени условности, нарочитости совпадений и преувеличенности характеров, как это принято на театре, чтобы актёрам легче играть — проще всего ведь изображать пьяниц и истериков.

Даже по единству действия, времени и места, охватывающему громадные фрагменты, когда в одной комнате сходятся разом и говорят, говорят, говорят все персонажи, включая пропадавших до того неведомо где по многу лет, а тут вдруг

нагрянувших, чтобы углубить либо разрешить интригу. Обычное дело в старых водевилях.

Кто не был счастлив в молодости, не станет поэтом.

Запомнишь какое-нибудь понравившееся стихотворение, и точно тебе подарок подарили...

Дотошный исследователь моих сочинений, коли такой объявится, обнаружит, что больше всего в жизни я пиялся в небо на облака.

Про природу, про погоду...

Поэт В. в брезентовых штанах и робе навывпуск смахивал на индуса. Пришедший послушать его настоящий индус-славист в своём европейском костюме явно проигрывал.

Он со своей музой сроднился, как с сестрой. А она должна быть любовницей.

Бог Отец сотворил поэзию прежде человека. Послушайте птиц: это для вас «цвирк-цвирк», а они друг дружку слушают и понимают.

Журналы в основном состоят из тех стихов, что и печатать не стыдно, и читать незачем.

Стихам NN присуще наивное глубокомыслие.

Всем стихотворцам приходится бороться с самими собой. Кому со своей немотой, кому с болтливостью.

Пегас-то у него Пегас. Только не конской, а ослиной разновидности.

«Как мало же он хотел, если столько смог!» — Цветаева о Брюсове.

Цветаева ещё в 1911 году (письмо Волошину) поставила себе диагноз: «глубокое недоверие к настоящей реальной жизни» — из-за переизбытка прочитанных в юности книг («Книги мне дали больше, чем люди»).

Дело, конечно, не в переизбытке книг, а в недостатке внимания к тому, что *вне* её собственных душевных забот.

В своей химере «поэтов с историей» и «поэтов без истории» Цветаева запуталась, я думаю, оттого, что, лирик по крови, жила в эпическое время и не знала, как ей с этой историей быть.

«Прозаический смысл всегда отличен от поэтического» (Ю. Тынянов).

Поэт нынче примерно в том же положении, что мастер по пишущим машинкам. На них уже давно не печатают. И стихов не читают.

Даже в автологическом «Я вас любил...» слова не равны себе словарным. К примеру, «безнадежно», зарифмованное с «нежно», задним числом переняло от него волну этой нежности и уже не сквозит столь полной, холодной безысходностью.

Если б не эти тонкие сдвиги словесных значений, стихотворение легко бы переводилось на любой язык. А оно не переводится — превращается в обычную сентенцию.

дыр бул шыл
из дыр и шелей —

не правда ли, Кручёных удачно перетекает в Стратановского?

Поэты падки на картёжную игру. И почти всегда проигрывают: тут нужна холодная, не столь чувствительная натура. Так что карточные выигрыши Некрасова наводят на размышление о природе его стихов.

Искусство это всегда *крайняя* точка зрения.

Чухонцеву потребовалась филологическая прививка к павлово-посадскому дичку, чтоб получился такой чудесный результат.

Одно дело «опыты в стихах и прозе», а другое — *упражнения* в том же. Их надо в школьных тетрадах оставлять, а не в журналах печатать.

И все разом принялись писать церковно-приходские стихи.

Беда средних стихотворцев: дописывают до конца всё, что ни придёт в голову. А там ведь масса пустяков.

Критик с улицы Дантеса.

Со стихами как с нотами: окончательное звучание им придаёт исполнитель. В нашем случае — читатель. Иные из них способны исполнить только собачий вальс.

Актёры так отвратительно читают стихи потому, что они читают семантику. А надо — поэтику.

Советские поэты занимались как раз литературой, а не поэзией.

Азарова хотела перевести Ду Фу на русский, а вышло на чувашский: эдакий деревянный Айги.

Бывают не только стихотворения в прозе, но и проза в стихах. Тот же «Тёркин». И неплохо.

Быть священником в парчовой ризе, в блещущей золотом церкви — почётно. Подвиг — служить в холщовой рясе в пещере для горстки единоверцев. То же и с поэзией.

«Нас выбрали для эпилога» (А.Кушнер).

Стихотворный размер уже сам по себе гармонизирует мир, запечатлённый словами. Верлибру приходится с этим справляться без метрической поддержки.

Колченогая муза Шершеневича.

Бывают стихи даже на вид противные.

В стихах у них вместо крови течёт *фразеологический* раствор.

Как дирижёр орёт на оркестрантов: *играйте не ноты, а музыку*, — так и я на вас: пишите не стихи, а поэзию!

Лёгкая такая поэзия. Всё пируэты да вензеля.

Хотите, чтоб и смешно, и с философским подтекстом? Извольте:

Медведь качается на люстре
и думает о Заратустре.

А если желательно поэлегичней, то «медведь» заменяется на «поэт»...

Творческий человек часто себе противоречит — как ветерок, гуляющий по саду. В отличие от механического вентилятора.

У стихов П. все вторичные признаки поэзии. За исключением первичного.

Секрет поэзии прост, как рецепт самогона: к сладости бытия добавить толику дрожжей из собственных запасов. Вся штука в том, чтобы затем довести до кипения. А то так и останется кисленькая брага.

Поздний Ходасевич — это вдохновенно выхваченное из жизни мелкое событие. Случайная мизансцена. Жест. Которые сами по себе оказались поэтическими образами.

Что пишется, то и пишу...

К микрофону вышел заслуженный провинциальный поэт в пиджачке с лопухими карманами.

Провинциализм — это не когда поэт живёт в провинции и о ней же пишет, — половина Фета уместилась в его имении и соседней роще. Провинциализм — это когда, обидевшись на литературную иерархию, принимаются выстраивать свою, местную, где у тебя пьедестал повыше.

Быть первым актёром губернского города Н. — культурно значимая роль. Это в его облике является здешним зрителям Гамлет, дядя Ваня, а то и некто, ожидающий Годо.

Не бессмысленно и положение первого живописца. Его картины, запечатлевшие окрестности, украшают местный музей, а если повезёт, то и холл губернаторского дворца, бывшего обкомовского.

Но титул «первого поэта» местного масштаба сам по себе вполне ничтожен — если не считать возможности посидеть в президиуме в культурно-праздничный день. Потому что на книжных полках земляков, как и в столицах, стоят всё те же Пастернак и Бродский, и даже Вера Павлова. Ну, или Асадов с Андреем Дементьевым.

Лучший местный поэт обретает смысл, если доступен землякам помоложе и учит их понимать стихи. Глядишь, кто-то из них и станет уже не первым на деревне, а хотя бы десятым в городе. Или просто хорошим читателем.

Читаю воспоминания об андеграунде конца 70-х. До чего ж они скучно жили. Не веселее цэдээловских.

Он давно уж добрался до своего творческого потолка. И ползает по нему, как муха.

Молодость барочна, а вот старость клонит к минимализму.

Да не на том языке пишут стихи, на котором говорят, а на том, на каком бабы кричат в любви. Или мужики от боли.

Если бы Слуцкий написал не четыре тысячи стихотворений, а двести — причём любых из этих тысяч, потому что у него почти нет плохих, — мы бы их все помнили, а не одних лишь выжимающих слезу «Лошадей в океане». А так ведь даже не перечитываем, а просто переходим в его же следующий поэтический вагон, где опять толпа.

Наверное, тут проблема единичности произведения искусства. От тиражирования страдают не только девушки с веслом, но и гениальные дискоболы, украшавшие в своё время едва ли не всякую древнеримскую виллу, сотнями сохранившиеся и потому почти безразличные взгляду. Или нескончаемые самоповторы позднего Пикассо.

Я, понятно, не о Слуцком только, но и о талантливых моих современниках, не называя имена. Возможно, из зависти к плодовитым собратьям.

Не только слово от слова, но и стихотворение от стихотворения должна отделять тишина.

Да-да, природа не храм, а мастерская. Но я служу в ней литургию.

«Поэтов уже перестали читать, но им ещё иногда давали премии», — напишут потом про наше время.

Да его ещё в юности Пегас лягнул, вот он такой и сделался.

Поэту позарез нужны случайные впечатления. Стихотворение может быть о давней любви, о затянувшейся на всю зиму осени, о грядущей смерти или, наоборот, о телесной прелести слов, окрашенных женским родом, а толчком к нему — перешедший через улицу старик с палкой, или свара толкущихся у помойки голубей, или экскаватор, воздевший жёлтую руку за забором соседней стройки.

Строчков пожаловался: «Как писать, если я всякий день вижу только тополь в окне? Вот этот тополь».

Для стихотворца и упавший с дерева лист событие.

Хорошее стихотворение то, о котором сам не понимаешь, как оно сделалось.

Бывают очень умело составленные поэтические книги, с выдумкой, с внутренним сюжетом. Но всё равно: запоминаются только отдельные стихотворения.

В литературных прогнозах самое интересное — ошибаться.

По итогам теоретической конференции филологов-литературоведов выпустили пятисотстраничную монографию «Расчленённая муза».

Неверно полагать, что второстепенные, даже и третьестепенные поэты служат лишь фоном или питательной почвой для поэзии великой и большой. Нет, будучи своеобразны, они придают ей объёмность, дополняют обертонами, без которых, в пустом зале, главные голоса звучали бы нарочито и слишком гулко. И заполняют лакуны, куда главенствующая эстетика часто не заглядывает.

Мне об этом подумалось, когда я составлял книжку старой поэтессы Б., которую мало кто оценит да и прочтёт. Но эти тонкие, чуть ли не до косноязычия скупые миниатюры вносят незаёмный и недостающий штрих в панораму сегодняшней нашей поэзии, что протянулась от барочной избыточности до афоризма.

И подобных неброских, но значимых поэтических растений в нашем саду немало.

Судя по стихам, он их писал в плохую погоду.

Ну да, и приличные стихотворцы вывешивают порой свои творения в Сети. По слабости душевной. Пушкин вон тоже вписывал стишки в альбомчики светских финтифлюшек. Нередко довольно жалкие.

Для дилетанта писать стихи не работа, а занятие.

Ну, не из пустого в порожнее они переливают, а из поэзии в поэзию. И что, больше толку?

В своих двух последних книгах (не только в последней, в «Гласах...») Чухонцев вывернул на обозрение свою мастерскую. Это зрелище. И удивительная старческая смелость.

Поразмыслив, я всё же решил предложить Ходасевичу маленькую правку.
В поразительном его «Слепом» первые две строки:

Палкой шупая дорогу,
Бродит наугад слепой, —

чуток изменить, чтоб вышло:

Палкой трогая дорогу,
Наугад бредёт слепой,
Осторожно ставит ногу
И бормочет сам с собой.

Единичное, как бы подсмотренное действие оказывается более вселенским, чего он и хотел. Как и обыденное «трогает» вместо образно усиленного «щупает».

Когда повстречаю *там* Владислава Фелициановича, я его уговорю.

Самое интересное происходит не на паханных-перепаханных широких полях словесности, а на поэтических неудобьях. Будь то неудобья формы или темы. Ну, потом-то их тоже перепашут. И даже заведут передовую агротехнику.

Иные стихи вроде мыльных пузырей — лишь тонкая словесная оболочка, но с тёплым дыханием внутри. И ведь тоже летают и радуют.

У Бори Рыжего было подростковое зрение. Пронзительное, но подростковое. Оно и не дало ему как поэту перейти во взрослость. Увы, и как человеку тоже.

Интересно жить — хорошее занятие для поэта.

Сочиняя стихотворение, всякий раз продираешься по державинской строчке от начала до конца, от «царь» до «Бог», застревая на «рабе» и особенно на «чёрве».

Стихотворение должно быть слегка разлохмаченным, без бриолина.

Как уже сказано, писание стихов начинается с восхищения Творением. Но поначалу обычно конкретным творением противоположного пола, с косичками или хвостиками, с блестящими глазами, в упомопрачительной юбочке.

Борис Парамонов, рассуждая о *роли места* в поэзии Бродского: «Что касается Америки — это не новый Рим, это страна зубных врачей. Если Бродский починил в Америке зубы — то и хорошо».

Имей в виду, что у твоего провиденциального собеседника собеседников — море. И он расслышит только то, что выбилось из хора.

Если вы когда-нибудь ухаживали за садом, то знаете, что сам по себе, без прополки и подрезки, он тут же норовит обратиться в заросли. При этом каждый ухоженный сад имеет свою физиономию, а все запущенные на одно лицо.

То же и с поэтическим хозяйством.

Самое трудное — отыскать для новых реалий старые, обжитые слова. А с новоделом пускай северянины балуются: ветропросвист экспрессов, крылолёт буэров...

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь, почему!
Веневитинову — розу.
Ну а перстень — никому, —

ну и так далее.

Этот маленький мандельштамовский шедевр оброс множеством статей, порой весьма подробных. Эскадроны литературоведов обсидели его, как гоголевские мухи осколок сахара в руках ключницы, приложили к толкованию каждого слова свою гипотезу. Но Мандельштам не составлял ребус — он писал стихотворение. И надо быть очень наивным, чтобы начать всерьёз «догадываться».

Ну да. Всякая ассоциация чем-то вызвана. Быть может, тютчевская стрекоза и впрямь вызвана *единственным* упоминанием этого насекомого в его стихах — где, впрочем, поэт ни о какой стрекозе не просит, она там просто деталька летнего пейзажа. А может, юный Мандельштам сидел с томиком Тютчева в плетёном кресле в саду, и когда поднял взгляд от страницы, ему попала на глаза повисшая в воздухе и дёрнувшая в сторону стрекоза, и запомнилась. Или просто в лице Тютчева в очочках почудилось что-то стрекозиное. Какая разница?

Мы имеем запечатлённый в двенадцати строках яркий и очень личный образ русской поэзии XIX века. Даже не образ, а впечатление. Вот и всё содержание.

У кого-то оно вызывает *изумление*. У иных (как и подошвы Баратынского в другой редакции текста) — *раздражение*. Вольному воля. Но попытки «объяснить» суггестивное, т.е. по природе необъяснимое стихотворение, не изменят ни того, ни другого.

Не надо разбирать то, что в принципе не разбирается. Развинчивать то, что не развинчивается.

— И сделаю вас ловцами не строк, а впечатлений.

«Камень, который отвергли строители, ему и быть во главе угла» (Пс. 117, 22). Вот и поэт выбирает отвергнутые слова.

Весь Гандельсман, в сущности, состоит из поэтической *позы*. Это кое-что, но для поэзии маловато.

Помнится, на одном из ранних фестивалей верлибра пришёл и записался на выступление паренёк рабочего вида. Когда дошла очередь, он раскрыл школьную тетрадку и принялся по ней громко и с напором читать густо матерные стишки гражданской направленности, исполненные школьным же четырёхстопным ямбом с перекрёстными рифмами. Оторопевший на минуту-другую зал заголосил: «Это не верлибр!» — и стал гнать пролеткультовца от микрофона.

Тот замолк, удивлённо поднял глаза и спросил:

— Но это же фестиваль *свободного* стиха?..

Именно так именовались в ту пору эти фестивали.

Раздражение — сомнительный повод для стихов.

Говорят, собрание сочинений Пригова неплохо расходуется. А чему удивляться? Стихи у него не сложнее дементьевских, тот тоже был в лидерах продаж.

Бывают, и даже их часто печатают, стихи для тех, кто стихов не читает. Вроде кофе для тех, кто готов его пить из бумажных стаканчиков.

Оно приятно, попасть в литературные генералы, но лучше бы в камер-юнкеры.

Памятник поэту надо делать в виде споткнувшегося и падающего вперёд, раскинув руки, бронзового человека. Он ведь именно так находит строчку.

По залам музея Серебряного века в бывшем брюсовском особняке ночами, наверное, бродит тень хозяина. И без усталости читает стихи.

Нет-нет, то, что мы пишем, не говно. Это навоз, он удобряет литературу.

О тонких лирических стихах поэта N критикесса пренебрежительно обронила: «Они все — сытые...» Это потому, что он персты в раны не влагает.

В живописи давно разобрались, что ренуаровский букет стоит никак не меньше «Свободы на баррикадах». А от поэта всё только и ждут вселенской скорби.

Быт не затянет, если коготок увяз в вечности.

Поэт не тот, кто пристальней вглядывается в себя, а тот, кто лучше умеет смотреть по сторонам.

На деле стихи Ольги (она же Полина) Ивановой — это стихи для голоса: за декламацией стыки, неувязки и просто нелепицы не слышны — а пронзительное чувство и сумасшедшая лексика берут тебя за горло. Но на бумаге всё вылезает наружу, текст то и дело распадается, читать их почти невозможно. Вероятно, она и слагает их исключительно «на слух», глазами не видя строчек.

В поэзии, да и вообще в литературе, существует не то, что понаписали, а лишь то, что *удалось*. И с этим по-прежнему никакого «перепроизводства художественных ценностей».

Жаль всё-таки, что нашу писательскую школу в Екатеринбурге из-за вируса перевели в онлайн. Как было бы хорошо: мы бы, все четверо из «Нового мира», заразились там и умерли — как чеховский доктор, лечивший детей от дифтерита, не важно, что лечили от литературной лихорадки. Нам бы коллективное захоронение оборудовали на хорошем московском кладбище, со стелой и эпитафией. К нему приходили бы, навещаясь в Первопрестольную, уральские поэты и клали цветочки. И читали б свои стихи. А я бы ворочался в земле и злился, что не могу об этих стихах сказать что думаю.

А этот о чём хочешь напишет — у него муза по вызову.

Раньше, говорят, в ЦДЛ была, под задней лестницей, маленькая мастерская по изготовлению лавровых венков. Теперь там хранят дворницкие лопаты.

Господи! Ну подай хоть строчечку!..

Юрий Каграманов

От какого наследства мы не отказываемся

Не всё, что здесь росло, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдет.

Ф. Тютчев

Состояние, в котором мы ныне пребываем, побуждает заново осмыслить свое историческое наследие. В «Бхагавадгите» сказано, что озарения о предлежащем пути приходят во время боя. Но предлежащий путь в огромной мере зависит от пройденного. Военные действия будто переносят нас в советский окоп. Память о Великой отечественной войне становится нужным «ресурсом» в противостоянии с неприятелем. И оттого красное знамя в руках российских воинов по принципу дополнительности (не хроматической, но смысловой) выглядит вполне естественным.

Это, впрочем, официальное знамя наших вооруженных сил, украшенное с обеих сторон царскими инсигниями. Оксюморон? Но он тоже из советского прошлого. Хотя в те времена царские орлы, естественно, никому не мозолили глаза. Это знамя из советского прошлого, уже воссоединившегося с дореволюционным прошлым хотя бы в некоторых его гранях. Моменты взаимной чужести, разумеется, остались, но на первый план выходит силуэт «вечной» России.

Вяч. Иванов писал в 20-х годах, уже в эмиграции:

И помнит, в ласке золотого сна,
Твой вратарь, кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя, сожжена.

Ясно, о какой Трое речь (а кипарис в античности — дерево скорби). Зрел ли поэт некое мистическое ее продолжение или усматривал в оставленной им родине реальные приметы ее «последития»? Таковых с течением времени становилось все больше. СССР начинался с чистого листа, но, так сказать, симпатическими чернилами была на листе написана идея империи.

Идея эта жива и сегодня, чему, на мой взгляд, можно только порадоваться: все лучшее, что у нас было за последние века, создано в ограде империи. Концепцию, применительно к России, высоко оценил, между прочим, знаменитый английский историк А. Тойнби (считавший Российскую империю более успешной, сравнительно с Британской, «разорванной», как он писал, морями). А сегодня она еще призвана послужить защитой от мирового хаоса. Медный всадник по-прежнему простирает державную длань в будущее, хотя постамент продолжает злиться на него самого.

На пороге XX века Иннокентий Анненский и Зинаида Гиппиус в стихотворениях с одинаковым названием «Петербург» едва ли не впервые обратили внимание на змея, который корчится под копытом коня, но не задавлен (о том же, в сущности, и роман Андрея Белого «Петербург»). У Анненского читаем:

Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Что может символизировать змея? Позволю себе предположить: это какие-то внутренние неустройства, «либеральное» мещанство, сосредоточенность на себе любимых, цинизм и пофигизм. Люди «семени змиева» и сегодня воплощают общий для угасающих цивилизаций тренд, который историк Э.Гиббон определил (применительно к позднему Риму) словами «снижаться и падать». Но есть в русских душах восходящие токи, о чем свидетельствуют и миллионные шествия «Бессмертных полков», и нелегкие крестные ходы (тоже на удивление многочисленные) к Ганиной яме.

Но теперь восходящие токи рождает и война — у тех, кто в ней участвует. Постоянная близость смерти поворачивает души к тому, что есть главного в жизни, отмечая все мелкое и преходящее. Возможно, какой-нибудь будущий историк даст нынешней войне имя, оваянное древними ассоциациями: «Новый Анабасис». Это древнегреческое слово означает военный поход, но также и восхождение, что можно понимать буквально как движение в гору, но также и фигурально — как движение в горнее.

А идея империи есть заявка на нечто большее, чем только практическое устройство земной жизни.

Когда СССР в свою очередь рухнул, это событие было радостно встречено многими (включая автора этих строк), если не большинством населения. Сейчас принято распекаль на все корки «перестройщиков», но на их стороне была правда времени — существует и такая. Для сколько-нибудь мыслящих людей ясно было, что в государстве «все прогнило» (известное признание Горбачёва, сделанное им в частной беседе). Сказался изначальный дефект постройки: вместо понятия о вечном в основание новой империи, мы вправе так ее назвать, был вложен суррогат — вера в коммунистическое завтра. Такая вера не могла быть долговечной, и когда она истощилась, началась сыпаться и постройка.

Замечу, кстати, что сдача геополитических позиций, которую команде «перестройщиков» вменяют в вину в первую очередь, была, конечно, опрометчивой, но был в ней и позитивный момент, который лишь со временем открылся. Разного рода мотивы побудили их поступить так, как они поступили, но было среди них и великодушие: мы ошиблись в выборе пути, как бы говорили они западным, и готовы следовать за вами и любить вас, любите и вы нас (нелишне вспомнить, что на пороге 90-х Запад был еще другим и не совсем еще растерял прежнее свое обаяние). Но что мы получили в ответ? Демонстрацию самовластия и ничем не ограниченной правомочности, наконец, методичного «натиска на восток», все более принимавшего формы военной угрозы. Зато для сколько-нибудь вменяемых должно быть ясно, кто на сей раз повинен в возникновении новой холодной, переходящей в горячую войне. «Перестройщики», таким образом, невольно дали нам козырь в нынешнем психологическом противостоянии с Западом.

Но это как бы «в сторону». Вернемся в СССР. Своего рода «энергия заблуждения» (вера в коммунистическое завтра) способствовала его успехам, но едва ли не важнее было качество «строительного материала», оставшегося от прошлого. Еще можно было расходовать накопленный за века нравственный капитал — предания и навыки, унаследованные от предков. В первые десятилетия соввласти большую роль в самых

разных сферах «новой жизни» играли люди, выросшие и воспитанные еще до революции. Так же, кстати, и сейчас человеческий «переходящий остаток» от времен СССР играет в основном стабилизирующую роль в нынешней российской жизни. Останцы (геологический термин) явили собою противовес футуристическим устремлениям, особенно сильным в ранние годы СССР.

Конечно, глубокий раздел пролегал между императорской Россией и советской, подобный тому, о каком писал Жозеф де Местр, сравнивая «старую» Францию с пореволюционной. В прежней русской жизни было немало дурного и всякого такого, что требовало исправления, но была в ней и красота, в смысле, какой вкладывал в это понятие К.Н.Леонтьев (считавший красоту мерилом жизни) — «разнообразия, выразительности, сложности»; от этой красоты мало что оставалось после семнадцатого года. Общий тон жизни стал другим — больше в нем стало «умышленного», рационального, наносного (нанесенного с Запада), меньше он стал цветным и больше черно-белым.

Бунин в «Окаянных днях» предположил, что «наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали...» Не совсем так. Сила притяжения «старой» России, культурный эквивалент физического $F=mg$, затаившаяся на годы, с течением времени вышла на поверхность.

Что нас сейчас должно особенно интересовать, так это сталинский — назовем его так — «Культуркампф» (хотя и не в том смысле, в каком этот термин употреблялся в бисмарковской Германии), проведенный в 30-х годах. В переводе с немецкого: борьба за культуру. Можно дать ей и более точное определение: культурная контрреволюция.

Пореволюционные 20-е годы — вероятно, самое путаное, самое противоречивое время в истории России. С одной стороны, как заметил Дмитрий Быков¹, установилась власть скуки и бескультурия — и в этом смысле «пореволюционная русская жизнь оказалась значительно хуже дореволюционной». Не состоялась обещанная еще Марксом антропологическая революция, долженствовавшая воспоследовать за революцией социальной, — превращение освобожденных от эксплуатации пролетариев в каких-то «новых людей». Искусство и литература показали, что выходцы из крестьян (каковыми были в большинстве своем пролетарии), оторванные от почвы, — это какие-то мешковатые увальни, дубоватые и нескладные. Типичны «Рабочие» К.Петрова-Водкина и «Прачки» Н.Ларионовой — это люди, которые не обрели себя, неуклюжие физически и душевно.

Пустоты в их душах позволили разыграться ставшему бесхозным половому чувству. Тогдашние газеты писали, что рабочую молодежь охватило «эротическое помешательство». Это, собственно, началось еще «при царе». Поэт Саша Чёрный не после, а до революции написал следующие строки:

Пришла проблема пола,
Румяная Фёфёла,
И ржёт навеселе.

Но до революции помешательство охватывало лишь часть интеллигенции (из круга читателей Арцыбашева, некоторых вещей Сологуба и т.д.). Теперь же оно распространилось на широкие массы, по крайней мере, в городах.

С другой стороны, в 20-х продолжил существовать революционный «идеализм» — вера в коммунистическое завтра; главным образом, в студенческой

¹ Внесен в РФ в список иноагентов.

среде. Сколь ни странным это может показаться, но энтузиастов коммунистического строительства не сильно беспокоило состояние нравов — во-первых, потому что сохранялось преклонение перед «народом», каков бы он ни был в его настоящем виде, а во-вторых, потому что коммунистическая идеология частично переплелась с идеологией авангардизма. А с позиции авангардистов, наличное человечество — материал для экспериментов, не более того. Коммунисты тоже видели в нем материал, но строить собирались по чертежам Маркса, тогда как авангардисты доверяли его рукам собирательного «свободного художника».

Следует иметь в виду, что авангардизм уже в 20-х — это всеобъемлющее понятие, включающее в себя не только художественное направление, но и социально-политическое измерение; таким он изначально был задуман еще в 40-х годах XIX века фурьеристами, которые изобрели самый термин. Хотя художнику в этом движении была отведена главная роль. От фурьеристов это перешло к футуристам. Коммунисты считали авангардистов попутчиками, но, догадываясь об их подспудных анархических симпатиях, в политику их не пускали, оставив заниматься преимущественно художественным творчеством.

Но более или менее последовательные коммунисты — «старые большевики» — вместе с их комсомольскими продолжателями, подхватившими их «огонь и пламя», в многомиллионной России представляли собой тонкий верхний слой, который мало-помалу отесняли от власти *выдвиженцы* из деревни. Представления о коммунистическом завтра были у них туманные, зато жива была память об имперском прошлом. В начале 20-х Есенин писал о деревне:

Здесь каждый Аким и Фанас
Бредит имперской славой.

Вероятно, имеются в виду именно *выдвиженцы*, так как в основной своей массе крестьянство было тогда замкнуто на себя и к имперским амбициям невосприимчиво. Что касается авангардистов, то они и *выдвиженцам* были непонятны: им совсем не нравилось видеть себя изображенными на плакатах чем-то вроде сосисок.

Восприимчиком этих настроений и их «доводчиком» до уровня идеологии стал Сталин. К нему может быть отнесена характеристика, которую дал Тютчев Наполеону: «кентавр»; имея в виду, что он совместил революционное прошлое с цезаризмом. (К слову, Рудольф Штейнер усмотрел в образе кентавра олицетворение «дольней» интуиции.) Что «все перевернулось», это с позиции сталинистов было правильно, но «укладываться» они намеревались отнюдь не по заветам Маркса и Ленина; влияние этих последних на реальное положение дел было довольно условным и, скорее, поверхностным. Станным образом этот контрреволюционный поворот мало кем у нас понят; обычно считают, что эпоха Сталина внесла лишь некоторые коррективы в предначертанный Лениным путь.

Что реально сделал Сталин? Сковал страну «кошечевой цепью» — амулетом бессмертия. Если принять этот пришвинский образ, тогда придется заметить, что цепь составила из очень разных звеньев.

Одним из них оставалась, как это ни парадоксально, коммунистическая идея: она в новых условиях не извелась, не поблекла, и хотя перестала быть адекватной самой себе, но зато расцвела новым цветом, роднящим ее с прошлым народным представлением о земном рае, чем-то вроде Беловодья или Опоньского царства, где молочные реки текут между кисельных берегов (крестьянская по преимуществу Россия тогда еще не утратила связи со своим фольклорным прошлым). Привозной коммунизм на практике вытесняла туманная «народная правда». И будто некий кентавр ударил копытом о землю в угаданном им месте, откуда забила новая

Иппокрена; родились зажигательные песни, зовущие «сказку сделать былью» (слова из «Авиамарша», сочиненного в начале 20-х, но более характерного для 30-х).

Людей моего поколения, а может быть и не только, эти песни и сегодня «задевают», но это уже — чисто музейное.

Разницу меж двумя десятилетиями иллюстрируют две работы В.Мухиной: тяжеловесная «Крестьянка» (1927), которая, судя по виду ее, замкнута на себе и никуда не стремится, и другая крестьянка, в роли колхозницы (скульптура «Рабочий и колхозница», прославленная на парижской Всемирной выставке 1937 года), более похожая на античную богиню, какую-нибудь Нику Самофракийскую, так же устремленную в полет.

Подобный «идеализм» стал одним их звеньев сковавшей общество цепи.

Что касается последовательных коммунистов, преданных букве учения Маркса-Ленина, то с ними было покончено: почти все они (кроме тех, кто, подобно Сталину, нашли в себе силы переродиться) были уничтожены физически. А вот борьба за культуру, направленная против авангардистов, возымела лишь преходящий успех, что с течением времени стало ясно.

Уточню, что речь тогда шла о художественном авангарде, а это сложный для оценки предмет. Художники-авангардисты — это разведчики, на свой страх и риск углубившиеся в таинственные сферы бытия человеческого и вынесшие оттуда результаты озадачивающие, зачастую ставящие в тупик. Нельзя отрицать гениальность Пикассо или Веберна, но нельзя не видеть и того, что их произведения «непитательны» и подавляющим большинством людей не воспринимаются. У Аполлинера есть замечательное стихотворение из серии *Calligrammes*, контрастирующее с обычной для авангардистов заносчивостью: поэт просит о снисхождении у тех, «чьи уста созданы по образу Божьему и сами по себе уже свидетельствуют о гармонии» (даю подстрочный перевод).

«Аким и Фанас», возвысившиеся до положения вершителей культурной политики, такое искусство, понятное дело, не восприняли и поторопились убрать его с глаз долой; хотя в идеале следовало бы оставить за ним определенные урочища, где желающим было бы интересно с ним знакомиться, как интересно знакомиться, скажем, с историей географических открытий, или исследований космоса, или — возможно, это более точный образ — с экспозицией кунсткамеры.

Перенесемся в настоящее. Наступление авангардистов в СССР было, как теперь видно, «разведкой боем» перед большим наступлением, предпринятым на Западе с конца 60-х годов. Художественный авангард к тому времени почти уже исчерпал свои возможности, зато новый авангард охватил всю сферу культуры и общественной психологии, с заходами в политическую жизнь. По сути своей он явился последним (пока) выражением, изводом либерализма, расширившим до *pes plus ultra* (далее вроде бы некуда) представление о «свободе» и стремящемся порвать даже те узы, которыми связывает человека его биологическая природа.

Ставшее у нас почти всеобщим гонение на либерализм не должно распространяться на прошлое. Отнюдь нельзя сказать, что это был изначально ложный идеал. Даже такой «реакционер» как Леонтьев, признавал за либерализмом определенную ценность. Изначально стремление к свободе (между прочим, христианству обязанное: «Стойте в свободе» — это призыв ап.Павла) обогащало жизнь, это был период подъема, заманчивый даже эстетически. После подъем сменился движением на плато (определить его хронологически с ходу не берусь), еще более или менее оправданный. Но «святой девиз "вперед"» (*toujours avant* у французов) звал дальше, хотя дальше уже означало движение вниз, под гору. А наши смельчаки уже не заметили этого или не пожелали в этом признаться.

На своей поздней стадии европейская цивилизация далеко оторвалась от греков античности, и многое тут, конечно, можно поставить ей в заслугу, но кое-что ценное было ею утрачено, и это, в частности, — чувство меры.

И чем дальше, тем круче становился спуск, тем рискованнее. «Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах <...> Хочет сорвать с плеч голову» (А.Чехов «Шуточка»). Распоясавшийся догмат о свободе посягает на психофизиологическое устройство человека, допуская переделку его по чьему бы то ни было волеизъявлению. Похоже, голова уже сорвана с плеч.

Такой авангард стал уже определенно вредоносным, более того, губительным для общества, позволившего ему у себя распространиться. И в противодействии ему естественным образом возникает переключка с «Культуркампом» 30-х годов. Последний интересен и поучителен сегодня своей интенцией — попыткой возвращения к национальному и традиционному. Агентами, так сказать, заднего хода явились те слои российского населения, которые правомерно назвать косными. Надо только уточнить смысл этого понятия — «косный». Толковый словарь определяет его через некоторые другие, такие как «ограниченный», «невосприимчивый к новому», «замедленный». Но эти понятия, употребляемые обычно как непохвальные, в зависимости от контекста могут восприниматься совсем иначе. Пример показывает Г.П.Федотов: в Париже 30-х годов, погруженный в атмосферу западной культуры с ее всеразлагающим модернизмом, он усматривает силу противодействия ему в «спасительной косности» («запасы» которой были тогда в Европе еще значительными).

В самом деле, ограниченность может быть оправданной в условиях переизбытка впечатлений, рожденных современной цивилизацией. Так же и невосприимчивость к новому может быть оправданной, если новое — очевидно дурное или по меньшей мере сомнительное. А замедленность может оказаться спасительной, когда «вперед» зовут люди с испорченным воображением.

Заметим, однако, что есть косность и косность. Та, что так сильно проявила себя в 30-е годы, в значительной мере диктовалась испугом — перед непонятным, что открывалось «за бугром». Ныне те, кого можно назвать косными, безошибочно определяют, хотя бы интуитивно, что там, на Западе, уже приоткрывается зев небытия.

У историков культуры преобладает сегодня взгляд, что в 20-е годы имело место восхитительное культурное разнообразие, а в 30-е всё подчинила себе идеология марксизма-ленинизма. Восхищение по поводу разнообразия не совсем лишено оснований, но, как следует из вышесказанного, его необходимо существенно умерить, а 30-е годы ознаменовались в России не торжеством марксизма-ленинизма, а выхолащиванием его. Доминантой времени стало обращение за помощью к прошлому, которое еще громче прозвучало в последующие годы войны. Оно было натужным — ибо долгие годы (еще до революции) его принято было считать «проклятым», но оно принесло советскому обществу определенное оздоровление.

Речь идет прежде всего об обращении к классической культуре — литературе и искусству; это означало также возвращение в национальное лоно после продолжительного увлечения «земшарностью» под красными знаменами. Это тема, которую нам, узнавшим власть «земшарности» иных расцветок, и следующим за нами поколениям предстоит развить, как это окажется по силам.

«Мы русские, какой восторг!» — восклицал Суворов по случаю одержанных его войсками побед. Живи он столетием позже, от него, начитанного человека и поэта-любителя, естественно было бы услышать это восклицание, вызванное на сей раз свершениями соотечественников на иных поприщах — литературы, искусства, философии. И здесь Россия вышла на «театр всемирной славы».

О ныне живущих поколениях можно, наверное, сказать то же, что говорят о детях гениев: на них, де, природа отдыхает. Хотя дело здесь не столько в природе,

сколько в уникальности исторической ситуации, в которой процвела высокая русская культура: ее преимущественной питательной средой стала дворянская усадьба (не обязательно сельская, городская могла не сильно от нее отличаться). Здесь мы видим нередкий в истории пример таинственного сотрудничества добра и зла: освобождение дворянства от крепости в 1763-м при сохранении ее за крестьянством было несправедливостью в отношении последнего, а для дворянства открывало возможности злоупотребления дарованными ему правами. Но с другой стороны, получив «праздность вольную, подругу размышленья», помещное дворянство с течением времени выработало особую усадебную культуру, отмеченную красотой быта и зачастую особой деликатностью личных отношений, прежде всего отношений между мужчиной и женщиной.

В то же время русская классическая культура и особенно литература своим рождением обязаны исторически сложившейся духовной ситуации — а именно процессу секуляризации, мало-помалу набиравшему силу на протяжении XVIII—XIX веков. «Русская словесность, — пишет Мария Виролайнен, — приняла на себя <...> функции церковности. Наверное, подобная нагрузка на слово — беспрецедентный случай в истории человеческой культуры, и мировая репутация “святой русской литературы” — репутация, безусловно, заслуженная. Но была здесь и своя подмена <...> Слово не могло заменить собою того, что осуществлял обряд»¹. Здесь только последнее слово неточно: не обряд, но неисследимая глубина церковности была замещена светской литературой.

В условиях продолжавшегося и даже усилившегося в 30-е годы давления на религию классическая культура хотя бы намекала, что есть в мире нечто иное, чем одна сплошная материя. В иных случаях произведения классической культуры прямо адресовали к высшим силам — таковы, к примеру, «Пророк» Пушкина, «Молитва» Лермонтова и некоторые другие их стихотворения, или дуэт Иоланты и Водемона из оперы Чайковского и т.д. В любом случае в них являлись персонажи, взрослые под высоким кровом православия.

Образы и грезы усадебной культуры производили впечатление в десятилетия, следовавшие за революцией; по крайней мере, начиная с 30-х годов, когда Фефёла на долгое время заткнулась. Юноши моего поколения, выросшего в 40-е годы, влюблялись в образы тургеневских барышень и в жизни искали хотя бы отдаленные их подобию; и были девушки, которые старались «соответствовать» (в то время как почти ото всех дворянских усадеб в лучшем случае оставались лишь въездные каменные столбы). Отношение мужчины к женщине и женщины к мужчине — ось, на которую наматывается многое.

Следует оговориться, что градуальное «освобождение» классической культуры от церковной религиозности, в иных случаях приводившее к скептицизму или законченному атеизму, могло укреплять молодые поколения в их материалистических взглядах. Но все-таки сильнее была тяга к превосхождению натурального, данного в ощущениях.

В настоящем, когда широко открыты двери храмов, «заместительная» функция классики утрачивает прежнее значение. Если мы хотим «поддержать валяющееся небо» (выражение, сколько помню, Мережковского) — разумеется, валяющееся в наших представлениях, — неизбежно следует обратиться к первоисточнику духовной силы — христианской церковности.

¹ Виролайнен М. Речь и молчание. СПб, 2003, стр. 418—419. О том же — Ирина Роднянская: «В ходе секуляризации литература стала как бы второй русской церковью, квазиправославным институтом для "образованных сословий". При том, что нити, связывающие ее с Церковью настоящей, не обрывались или не вполне обрывались — и это питало ее прямо или косвенно». (Роднянская И. Движение литературы. — М.: 2006. Т. 1, стр. 455).

Зато сохраняет свою жизнестроительную силу великая русская религиозная философия (особенно периода конца XIX — начала XX века), отправляющаяся от христианской церковности и одновременно от русской классической литературы (мнение Ф. Степуна, П. Вейдле и других авторов, принадлежащих к этому направлению русской мысли).

А классическая культура уже не сможет замещать церковность, но сможет ей, говоря высоким слогом, благоспешествовать. Христианство родилось в далеком краю, где дули горячие ветры из окружающих пустынь и странная для русского уха речь звучала на узких улицах Иерусалима и Капернаума, но там именно Бог напрямую обратился к человеку и был им услышан. Сказанное свыше Слово было адресовано всем «рожденным от женщины», но звук его в разных средах, в разных местах Земли был естественным образом преломлен по-своему. Так и на Русь была занесена, пользуясь лермонтовским образом, «ветка Палестины», как «Святыни верный часовой», и нашла здесь благодарную почву, вызвавшую к жизни своеобразные характеры — они воплотились в образах классической литературы. Обаяние этих образов делает православное христианство, так или иначе в них преломленное, подлинным «родноверием» (в отличие от неоязыческой секты, взявшей себе это имя).

Как прежние образы и грезы могут повлиять в дальнейшем на русскую жизнь, остается только гадать. Как минимум, мы и дальше пребудем, скажем так, местоблюстителями классической русской культуры, это «наследство сказочного короля» — главный предмет национальной гордости, который переживет века (если, конечно, переживет века само человечество, что сегодня представляется в большой степени проблематичным).

Еще ценное звено — военная культура, что в условиях нынешнего противостояния на полях сражений приобретает особое значение. Она не поддается строгому делению на до- и пореволюционную. Армия всегда образует в составе государства особое тело, от смены режимов зависящее в минимальной степени. Лишь самое короткое время после октябрьского переворота существовала у нас революционная вольница, бравировавшая своим радикальным несходством со старой армией¹. С течением времени бравада прекратилась, и новая армия по большинству признаков стала выглядеть естественным продолжением старой. Литература и кинематограф «обжигали горшки»: скрадывали у офицеров и солдат (командиров и красноармейцев) былой революционизм и одновременно сглаживали мужиковатость, неизбежную у выходцев из крестьян (примерами могут служить предвоенная пьеса «Парень из нашего города» и предвоенный же фильм «Сердца четырёх»). Процесс этот завершился в годы Великой Отечественной войны с устроением дисциплины, возвращением погон, почитанием великих полководцев былых времен и т.п.

Красное знамя (а это, повторю, официальное знамя наших вооруженных сил), символизирует континуум бранных усилий: красное — уже не цвет революции, а цвет победы в Великой Отечественной войне, одержанной советским строем, уже далеко не революционным.

Очень существенным звеном в «цепи Кощея» был страх, внушенный государственным террором, достигшим наибольшего размаха в 30-е годы. Таков был его масштаб, что следующие поколения вряд ли окажутся равнодушными к этой теме. Иначе они могут оказаться в ситуации, вообразенной в стихотворении А.К. Толстого

¹ Вот характерное для начала 20-х годов представление о старой армии: «Умерший мир генералов, погон, орденов, каменной субординации, тяжелая мертвенная машина развалившейся империи» (Борис Лавренёв, 1923). Всё «умершее» — живо, только до поры до времени у бабушки в рукаве спрятано.

«Чужое горе»: люди давно умерли, но горести их живы и виснут на плечах спешащего куда-то богатыря.

Это крайне болезненный вопрос, но по мере ухода из жизни всех тех, кого террор коснулся прямо или косвенно и опосредованно, позволительно говорить об этом предмете с определенной толикой хладнокровия, каковая вообще должна быть присуща историку. Террор 30-х годов был как бы сиквелом революции, ее продолжением и завершением. Пореволюционные десятилетия нашей истории укладываются в поговорку «беда беду родит — третья сама прибежит».

Говоря точнее, террор 30-х — это контрреволюционный террор, ударивший сперва по низовому делателю революции — крестьянству, а после по идейному — «старым большевикам» (хотя таков был размах террора, что под раздачу мог попасть кто угодно). У правящей номенклатуры, развязавшей террор, были свои прозаические интересы, но позволительно усмотреть в этом фантастическом по масштабам судилище Божье вмешательство: свыше была назначена кара за неистовства «русского бунта»¹. Это был один из тех случаев, когда

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льётся через край.

В унылой какой-то, по основному настроению, «Жизни Клима Самгина» Горького есть философствующий персонаж Лютов (говорящая фамилия). Вот одно из его рассуждений: «Народ хочет свободы, не той, которую сулят политики, а такой, какую могли бы дать попы, свободы страшно и всячески согрешить, чтобы испугаться и — присмиреть на триста лет в самом себе». По действию повести рассуждение звучит в самом начале века, но так как автор начал писать ее уже после революции и продолжал работать над нею до самой своей смерти в 1936-м, то есть успел стать современником страшных лет, позволительно прочесть здесь вложенное в уста Лютова осмысление того, что позже было названо Большим террором. Переступив через вопрос, чего хотел народ, находим здесь авторское понимание происходящего, на мой взгляд, недалеко от истины: «нагрешивший» народ, битый как ломовая лошадь, испугался и — «присмирел на триста лет». Цифра «триста» здесь от фонаря, но надо надеяться, что следующие поколения усвоят урок, если Большой террор будет правильно понят как плата за экстремы «русского бунта».

Ужасы Большого террора, по мере того как они становились известны нам, советским людям, приводили нас в шок, обескураживали — ибо слишком диссонировали с избыточно-оптимистическим, беспечальным настроем, внушаемым пропагандой. Его породил Век Просвещения, и, например, у американцев мы могли наблюдать нечто похожее: «стремление к счастью» у них даже вписано в «Декларацию независимости». Между тем не только советский, но и весь мировой опыт минувшего столетия (1914—2022) со всеми его тяготами и порою ужасами, равно как и перспектива будущего, которое сильно хмурится, куда ни глянь, обязывает нас взять в предлагающий путь соответствующий настрой — без избыточной веры, что «всё будет хорошо».

Тонкий «настройщик» человеческих душ — православие, сообщающее им хорошо темперированный взгляд на мир. Стремление к счастью естественно для человека, но у него должен быть притеняющий его ограничитель. Паче того, в глубине русской, православной души таится и стремление к несчастью («бессмертья, может быть, залог», сказал бы Пушкин):

¹ Подробнее я писал об этом в статье «Как помирить красных с белыми» — «Москва», 2021, № 9.

Немудрое тело боится страданий,
Но в тайне от тела сердце готово
И просит себе наказание.

(Аделаида Герцык, около 1913)

Это христианское сердце, хотя чувство, им в данном случае испытываемое, — скорее, аристократическое. Чтобы оправдать совмещение этих двух понятий, аристократизм и христианство, сошлюсь на прот.Сергия Булгакова: «Слишком христианство трудно, аристократично, художественно по своим заданиям, довольно одной неверной черты, и всё рушится»¹. Конечно, Булгаков имел в виду, что христианство *также* и аристократично — кроме того что общедоступно.

Недалека от такого отношения к несчастью и народная мудрость, сказавшаяся в пословицах типа: «Проси добра, а жди худа», «Счастьем не верь, а беды не пугайся».

Христианство позволяет сохранить некое равновесие во взглядах на ход истории. Мудрый Дж.Толкин писал: «Я христианин, католик, так что я не ожидаю, что история может быть чем-то иным, чем “долгим поражением”, хотя она содержит <...> некоторые трогательные образцы или проблески окончательной победы». Православный может здесь подписаться под каждым словом.

Сказанное, конечно, не означает, что можно опустить руки в ожидании тех или иных бед. Один из персонажей «Властилина колец» говорит: «В этом мире есть нечто доброе, за что стоит бороться». Я намеренно заключаю цитатой из английского автора: пора нам высоко поднять христианское знамя, хоругвь — во благо не только свое, но и наших европейских соседей.

¹ Письма С.Н.Булгакова. — «Новый мир», 1994, № 11, стр. 202.

Мария Александрова

Хәтер

Рассказ

Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ) — объединение четырех крупнейших союзов писателей и Российского книжного союза. Писатели самых разных направлений и взглядов собрались вместе для поддержки современной словесности и литературного процесса. Занятия с начинающими литераторами, помощь писателям в трудной ситуации, создание сети литературных резиденций, творческие командировки писателей — число масштабных проектов АСПИ, охватывающих всю Россию от Калининграда до Чукотки, продолжает расти.

Представляем один из проектов АСПИ — «Литературные резиденции». Каждый месяц 42 писателя по направлению Ассоциации едут работать в дома отдыха и санатории на Орловщину, в Оренбуржье, в Каменск-Уральский и Пятигорск, под Благовещенск, в Бердск и в легендарное «ахматовское» Комарово.

Русское слово в доме бабушки с дедушкой звучало нечасто. Всё больше башкирское. А если бы две их дочери не нашли русских мужей, наверное, русская речь звучала бы там совсем редко.

Для меня, с раннего детства приезжавшей в деревню на лето, это двуязычие бабушкиного дома было совершенно естественным. Не было ничего удивительного в том, что дедушка, когда я наливала ему молоко в чай, говорил: «Булды!» («Всё!»), как и в том, что сам чай бабушка с дедушкой пили из больших пиал, а не чашек.

В мою городскую жизнь башкирский тогда почти не просачивался. Только в минуты сильной усталости у мамы вырывался вздох: «Уф Алла» («О Боже»).

Все мои старшие родственники со стороны мамы между собой общались на родном языке — башкирском. Даже при нас.

— Вы специально говорите по-башкирски, чтобы я ничего не понял, — жаловался мой маленький племянник старшим.

Александрова Мария Александровна — прозаик, поэт. Родилась в 1989 году в Челябинске. Училась в Южно-Уральском государственном университете. Участница Школы писательского мастерства в УрФО (2022) и Литературной резиденции АСПИ в УрФО (2022). Живёт в Челябинске. Ранее не публиковалась. Текст был написан в Литературной резиденции АСПИ.

А я в его годы не роптала. Если взрослые говорили что-то непонятное — значит, то не про нашу честь. Это их взрослые дела. Вырасту — начну понимать.

Из их башкирской речи я улавливала половину, и ту — интуитивно, на ощупь. Остальное звучало музыкой. Все слова, которые я понимала, были про то, на что можно показать пальчиком: это шәкәр (сахар), это бөрәнге (картошка), это сепрәк (тряпка) это өстәл (стол). А если бы меня попросили сказать по-башкирски «любовь», или «Родина», или, например, «память», я бы развела руками.

Никто из старших не учил нас языку. Как будто смирились, что мы, городские дети русских отцов, всё равно вырастем другими.

Да и сами они, моя мама и ее братья-сестры, по-башкирски умели только говорить, но не читать и писать. В школе их учили по-русски. Мама рассказывала, что родись они лет на десять раньше, был бы и у них башкирский язык в школе. Не повезло — уже отменили, даром что наша деревня от века заселена башкирами.

Башкирский был для бабушкиных детей языком дома, семьи, родной деревни. Русский — языком школы, учебников и книг, языком большой страны. На башкирском они окликали маму («Инэй!») и говорили ей первые слова. На русском — читали про землю, на которой живут, узнавали про Байкал и Балхаш.

Главным знатоком башкирского слова в семье была бабушка. Она, дочь мусульманского священнослужителя, умела и читать, и писать на родном языке. В отличие от дедушки, имевшего четыре класса образования, она окончила Аргаяшское педучилище, причём из двух отделений — русского и башкирского — выбрала последнее.

Неродной русский язык давался ей непросто. Не смогла с первого раза сдать экзамен на знание русского, и пришлось по железной дороге ехать в Троицк — пересдавать непокорный предмет. С маленьким сыном на руках, которого на время экзамена оставила у местной сердобольной женщины.

Русский язык так и не дался бабушке до конца. Говорила «булочка с повидлой», «пить чай с конфетом», что не помешало ей отработать всю жизнь учителем деревенской начальной школы. Вот и был ей неродной русский вроде мачехи, с которой худо-бедно удалось договориться.

Так было долго, пока в девяносто два года, после злополучного падения, она не попала в больницу. С бабушки, от болезней и тяжёлой операции словно вернувшейся в беспомощное детство, облетело вдруг всё, и она, забыв русский язык, могла разговаривать только по-башкирски. Это был коронавирусный год, в больнице действовал карантин, и к пациентам не пускали. Только по рассказам медсестры мы узнали, что бабушка повторяла имя моей мамы — своей младшей дочери — и всё просила, просила что-то на не известном никому в палате языке.

Не знаю, бывает ли хуже, чем вдруг оказаться немощным в мире чужих людей, которые тебя не могут понять. Бабушкино слово металось по больничной палате, непонятое, неразделённое, и мама, узнав об этом, бессильно плакала от невозможности услышать и помочь.

Бог милостив, и это не были последние бабушкины дни. Смерть пришла к ней чуть позже, в её деревне, в окружении родных людей. В доме, где со времён моего детства почти ничего не поменялось. Где старые шкафы, называемые нами шифонерами, закрываются на ключ, а на зеркале с незапамятных времён наклеен портрет башкирской певицы, имя которой никто не может мне сказать. Только и слышу: «Раньше известная была». А кто была? Что пела?..

Среди всех нажитых бабушкой и дедушкой нехитрых богатств книги никогда не были на почётном месте, да и не водилось их в доме в избытке. На комодѣ высилось несколько стопочек старых книг, принесённых из расформированной деревенской библиотеки.

Когда закрывали библиотеку и раздавали книги, бабушка снарядила старшего сына взять оттуда, что сможет. Он и принёс, что дали: жизнеописание революционера Станислава Косиора, произведения не самых известных советских авторов: Василь Гигевич, Ариадна Жукова. Эти имена врезались мне в память, как загадочные названия далёких пароходов. Я думала, что это взрослые книги для взрослой жизни и читать их мне пока рано. Вот когда вырасту... Но не сбылось.

Эти желтоватые страницы, аккуратно разрезанные пополам, появлялись потом в старой сумке в туалете. А из твёрдой обложки получалась добротная подставка под горячее. Книга вообще была услужлива: ещё не распотрошённую, её можно было подложить под шатающуюся ножку буфета.

Почему книге не находилось почётное пожизненное место где-нибудь в серванте? Даже в доме бабушки, всю жизнь проработавшей учительницей? Почему книги в деревне не доживали до передачи в наследство и заканчивали свою жизнь так прозаично? Может, потому же, почему в деревне корову или лошадь равняют с членами семьи, выхаживают, как ребёнка, если заболѣет, гладят ласково, — но только до поры, когда придѣт время её забивать. Жизнь в деревне сгущена и замешана щедро, она с такими едва различимыми полутонами, что при беглом взгляде кажется, что никаких полутонов и нет.

Хотя и не носилась бабушка с книгами, не холила их, но к литературному слову была неравнодушна. Выписывала одно время башкирские журналы: сатирический «Хэнек» и литературный «Агидель». А уж русские газеты появлялись в доме регулярно. Бабушка выписывала районную «Сосновскую ниву», а дедушка — областную «Челябинский рабочий».

Газеты и журналы читали поздно вечером, перед сном, когда сделаны все дела, задрнуты шторы и в жёлтом свете лампочки всё становится уютней. Бабушка обычно читала, быстрым неразборчивым шѣпотом проговаривая слова. Мы шуршим и хихикаем — нас интересуют в основном кроссворды и анекдоты, взрослые сосредоточенно водят глазами по строчкам, изредка вставляя свои комментарии, а за столом у своего извечного дивана монотонно шепчет бабушка, словно крутится прялка.

Дедушка умер 30 декабря, а подписку на *его* «Челябинский рабочий» оформили загодя. И до июля бабушке исправно приносили газету, которую он уже не увидит. Она старательно читала каждый номер, словно неся за него эту вахту.

Когда годы спустя не стало самой бабушки, казалось, что её дом замолчал. Может, потому, приезжая туда, мы шумим и галдим, включаем музыку, шутим. Боимся тишины. Спешим наполнить её своими — сиюминутными, скорыми — словами.

Хотя если присмотрѣться, опустевший дом бабушки полон слов, оставленных когда-то его обитателями. Тѣтя ещё в пору молодости нацарапала на задней стенке дивана своё имя. Аккуратным маминым почерком написан припев наивной песни на форзаце советского учебника: «Радуга, радуге радуйся». Подробно, с описанием проезда, занёс дедушка в записную книжку челябинский адрес бабушкиной сестры — но не приезжал туда ни разу.

Стоит только взглядеться, и увидишь: словами здесь наполнено всё, каждый предмет. Они окружают меня, они шепчут: «Помни меня! Сохрани меня!»

У неслышанного, несохранённого слова высокая цена. Помню, как давным-давно дедушка рассказывал мне, как он воевал. Он говорил, конечно, по-русски, но называл непонятные моему детскому уху военные подробности, и слово опять звучало музыкой.

Я напрягаю память, но вижу только немое кино: я у бабушки на коленках, он говорит с расстановкой, со значением, но что? Слова неразличимы, как расплывшиеся чернила на обороте старой фотокарточки, только тапёр наигрывает какую-то мелодию. Пианино поскрипывает, как немного скрежетал бабушкин голос. Как ни стараюсь, не могу ничего разобрать.

Сегодня по документам и архивам я знаю фронтовой путь бабушкиной бригады, но... Я будто раздобыла подстрочник, черновик, а мне бы снова туда, в детство, на коленки... Туда, где будущая взрослая жизнь казалась мне совсем другой.

Но тут, во взрослой жизни, не пришло само собой понимание неизвестных башкирских слов. Это знание пришлось добывать самостоятельно, разыскивая самоучители. До чего же отличается местами тот классический башкирский язык, на котором говорят, наверно, в Уфе, от диалекта, на котором говорят в нашей деревне!

Тут, во взрослой жизни, никто никогда не заговорил со мной о Василе Гигевиче и Станиславе Косиоре.

Тут сплошная круговерть из картошки и сахара, тряпок и столов. Да ещё иногда вспышки смертельной усталости, когда хочется шумно выдохнуть: «О Боже!»

И тут, если сам посреди суеты не откроешь эту пыльную дверку, ничего и не случится. Ничего не зазвучит, а может, даже замолчит навсегда.

По-башкирски «память» — хэтер.

Марина Москвина

Райские птицы над небом Абхазии

Жизнь, смерть и воскресение Даура Зантария, писателя

Вообще, это удивительная история — фантасмагория в духе ее героя, Даура Зантария, писателя русского и писателя абхазского, которого я повстречала в Доме творчества Переделкино, увы, не в лучшие его времена.

Наверно, мы не случайно оказались за одним столом, недаром в своем дневнике он когда еще написал: «Сразу понял, что мы будем дружить в е ч н о, так что первые два года не подходил к ней, как будто не замечал». За целый месяц мы единственный раз одновременно явились в столовую. Он был весь в себе, чем-то мрачно озабочен, искоса взглянул в мою сторону, спросил, чем я занимаюсь. Я скромно ответила, что — писатель. Даур недоверчиво на меня посмотрел и величественно произнес: «Писатель — сродни охотнику. Нельзя полуубить вальдшнепа». Стоит ли говорить, что я была сражена наповал?

Главное, мы так мирно коротали время со стариком Спешневым, сочинявшим сценарии еще с Юрием Олешей, всегда в старинном коричневом костюме с большими лацканами, в кашне, очень элегантный, у нас была полная идиллия. И вдруг такой сумрачный кавказский человек. Не готовая к жесткому излучению этой сверхновой звезды, я малодушно пересела от моего чудесного собеседника за соседний стол.

Спустя несколько зим я снова встретила Даура в Переделкине. К тому времени в Абхазии он пережил войну. Старика Спешнева уж не было на свете. Он умер в свой день рождения — ему исполнилось восемьдесят восемь. Но были другие примечательные люди.

За моим столом — переводчик Юрий Архипов: в Юриных переводах читаем мы Гессе, Ницше, Кафку, Грасса, Ремарка, Гофмана... Владимир Личутин — могучий сторонник движения деревенщиков родом из Архангельской области («не читать Личутина — преступление, а читать — наказание...»). Валентин Распутин («Морковный суп? Ведь пост уже кончился. Вы что, вегетарианка? Вы прозаик или поэт? Ну-у, прозаик хоть раз в день, а котлетку обязан съесть!»). Доблестные мужчины вокруг, не переставая, обсуждали «русский вопрос», так что встреча с Дауром на этот раз не могла приключиться в столовой.

Неважно где, вот он стоит уже у моего окна и произносит хриплым низким голосом:

— Выбрось все книги, пришел учитель. А то я растворюсь в воздухе у тебя на глазах, и ты поймешь, что упустила!

— О-очень похоже на Даура, — скажет мне через двадцать лет прекрасная Гунда Большая, когда мы встретимся в Сухуме. — ОН пришел — всё! То, что было, кончилось, начинается новая история. Однажды Гунда Маленькая (их там две

Гунды-поэтессы!) читала новое стихотворение, написанное утром на листочке. Вошел Даур, а она продолжала, не остановилась. Тогда он забрал у нее листок и съел!

На втором этаже — в комнате напротив, немного наискосок — он сочинял роман «Золотое колесо», время от времени приносил читать отрывки, и я уже тогда знала: вещь зреет эпохальная, на все времена.

Вечные темы волновали его: жизнь, смерть, мудрость, просветление — и, конечно, война. Да и как могло быть иначе, если врач-кардиолог поставил ему диагноз: «шок войны». Нет, он не описывал пережитую войну. Он исследовал ее корни, момент зарождения войны, первый импульс, источник.

— Родина — это звездное небо над головой. Закон — царь. И потом уже — в самую последнюю очередь — место, где ты родился, — говорил Даур. — Если же ты поставишь в первую очередь — третье, то сразу последуют национальные распри, кровь и все такое.

Он мне рассказывал:

— Когда Бог раздавал земли, абхаз пришел последним. Бог говорит ему: «Где ты был раньше?» Тот отвечает: «Я не мог прийти». — «Но ты же знал, — говорит Бог, — о какой важной вещи пойдет разговор». — «У меня был гость, — объяснил абхаз. — И я не мог его поторопить». И тут архангел Гавриил подтвердил: «Да, я был у него». И тогда Бог сказал: «Что ж, ладно, есть одно местечко, хотя я его оставил для себя...»

Но Даур не был бы Дауром, если бы закончил на столь торжественной ноте.

— А потом пришел русский. «А ты почему опоздал?» — спрашивает Бог. «А я не помню, бухой был». Ну, и...

В Сухумской бухте для него по-прежнему жива была многоголосая мифическая Диоскурия с ее вавилонским столпотворением, некогда вторая после Афин. Задолго до того, как эти благословенные края ушли под воду, торговля в городе, основанном приплывшими в Колхиду аргонавтами, шла при участии трехсот переводчиков.

— Обычно как считалось? — говорил Даур. — Абхазы — хохмачи, а грузины — романтики и чудики. И всегда в Сухуме они мирно жили между собой. Но, оказывается, чьи-то политические амбиции могут столкнуть народы — ведь ссора начинается на кончике пера историка: кто на каком языке и в каком веке разговаривал...

Лукавые и простодушные, цыганистые, отрешенные, исполненные зловещего обаяния — передо мной шествовали потрясающие типы. Среди сомнительной компании, пятками наперед осторожно ступала сама Владычица Рек и Вод. Сам Витязь Хатт из рода Хаттов, в сердце обожженной и потрескавшейся земли одиноко воюющий с нечистыми, посверкивал огненным глазом из-за плеча наратора.

Номенклатурные работники, мудрецы, романтический бандит, поэты божьей милостью... В клубах дорожной пыли бежала говорящая дворняга Мазакуаль, на еловой ветке то и дело материализовывался павлин-оборотень — посланец Тибета Брахмавиданта Вишнупату Шри, временно проживавший на приморской турбазе...

В тени раскидистой шелковицы за густой цитрусовой изгородью держали совет умудренные старец Батал и *полустарец* Платон, без их благословения не принималось в деревне никакого важного решения. Батал старше Платона по крайней мере на полвека, *хоть и не имеет возраста мудрость*, — вворачивает Даур. Баталу пора на покой, но много еще прорех в зеленом древе познаний Платона, который к тому же смолоду имел пагубное пристрастие к конокрадству.

Французский спортсмен-велосипедист 84 лет мосье Крачковски, неутомимый миротворец, устраивающий велопробеги мира на местах, чреватых конфликтами. Причем, где бы он ни появлялся, — сразу вспыхивали вооруженные столкновения. *Даже тогда, когда ни у кого и в мыслях не было*, — вскользь замечает Даур, — *предотвратить кровопролитие не удавалось нигде*.

— Ох, сомневаюсь, что из этого волнующегося моря книг выплывет утлый челн моего романа... — тяжело вздыхал автор.

В том же потертом пуховике, что много зим назад, в старой доброй шапке, он временами исчезал, а когда опять возникал у меня на пороге — это был другой человек. Так выглядел, наверно, герой Карлоса Кастанеды, приняв на грудь пейот, что оказалось недалеко от истины.

— Не знаю, что будет завтра, но сегодня я скучал о тебе каждую минуту, — сказал он, вернувшись из очередной «экспедиции». — ...Ты что, хочешь скорректировать мое поведение? — спросил, заметив мое замешательство. — У тебя, Мариночка, есть очень неприятная черта, которую ты должна выдавливать из себя по капле: ты немножко зануда и немножко любишь всех поучать. Никогда-никогда-никогда-никогда коммунары не будут рабами!..

За спиной у него дымились пепелища — дом под Сухумом в Тамыше, родовое гнездо во время войны он сжег своей рукой, чтобы оно *не досталось Эдуарду Амросиевичу Шеварнадзе*, и от огромного дома, почти замка, осталась только наружная чугунная лестница, ведущая в небо, — на этих ступеньках в детстве любил он посидеть, посмотреть на звезды, зная, что в любой момент можно будет вернуться в теплый дом и теплую постель.

Он воевал, но и спасал людей в той войне, мне рассказывали, как он мирил целые кланы, и люди, благодаря его вмешательству, не убивали друг друга. Он был живым свидетелем войны, она ко мне приблизилась тогда, я записала его монолог, который прозвучал в радиоэфире, но если б мы тогда могли его у с л ы ш а т ь!..

«Когда я буду писать о войне, а я обязательно буду о ней писать, — говорил Даур, — начну с того, что мой сосед Вианор — он одноногий — на Великой Отечественной войне потерял свою ногу, любит звать своих сыновей на любом расстоянии. Нужен ему сынок — зычным голосом крикнет, тот за семь километров услышит — отвечает. Сыновья тоже такими зычными голосами обладают. Вот его сын Батал на берегу моря познакомился с прелестной отдыхающей. Август. Тепло. Замечательно. Утро. И вдруг:

— ООО-ЭЭЭ! БАТАЛ! — как будто сушка летит над селом. Стекла дребезжат.

— Кажется, тебя!

А ему неудобно, что отец так зовет его. Он:

— Нет, Баталов тут много.

— ООО-ЭЭЭ, БАТАЛ!

Тот продолжает с девушкой тихо разговаривать. В конце концов, когда отец не унялся, он как вскочит:

— АААААА!!!

— Война началась, баран ты, война началась, ты где находишься???»

Лишь только отгремели финальные аккорды программы, у меня зазвонил телефон:

— Я проспал твою передачу про меня! — раздался в трубке тот же самый голос, который жители Земли на протяжении получаса слушали по радио. — Причем заснул не ВО время, а ДО!

— Когда я умру, вернее, если я когда-нибудь умру, на моей могиле напишут по-персидски «Даур-ага», что означает «Даур-страдалец», — говорил Даур, как бы шутя, но в этой шутке была только доля шутки.

Пытаясь отдохнуть от сухумской разрухи, скитаясь по съемным, пустынным квартирам в дождливой, заснеженной Москве, он решил забрать в Москву сына. Это был нежный юноша с детским прозвищем Саска (сейчас-то Нар настоящий джигит!), абсолютно мамин, но мама его — дивной красоты и доброты Лариса — умерла несколько лет назад. А умник! Еще до поступления на биологический факультет МГУ — готовый профессор химии и биологии.

— Саска знает химию лучше Менделеева! — с гордостью говорил Даур. И добавлял: — Это русским химию — трудно, а у абхазов с химией свои отношения. Помнишь ту абхазку, которая, приплыв из Колхиды, отравила пол-Греции? Причем этот яд был замечателен тем, что у него не было противоядия? Медея ее звали...

— Учти, — предупреждал он, — моя теща воспитывала внука на поговорках и пословицах неясного происхождения. Если она умрет, с ней уйдет целый пласт блатного жаргона, ругательства на турецком, азербайджанском... Так много знает языков, что свой некогда выучить!

Первое, что его мальчик победоносно спросил у Даура, приехав в Москву: «Где Таврический дворец? И как пройти на Дерибасовскую?»

Я пробовала поговорить о них в Литфонде, поведав о скитаниях одинокого отца с ребенком — без крыши над головой и средств к существованию. Те настоятельно рекомендовали Дауру принять статус беженца, что он решительно отверг, хотя это обеспечило бы его хоть чем-нибудь.

На время они поселились у Пети Алешковского — писателя и друга Даура. Отныне никто в его присутствии не мог позволить себе даже намекнуть на то, что и у Пети могут быть недостатки, хотя бы в Петиной прозе.

— Тут один профессор Литературного института, — с ядовитым сарказмом говорил Даур, — пытался критиковать Петю. Но только возвеличил его таким образом.

Однажды я заметила вскользь, что во всей добротной Петиной прозе мне представляется немного унылой одна-единственная фраза: «Ребенка она не хотела».

— Ты так считаешь, — сурово сказал Даур, — поскольку привыкла, что у меня все *хотят ребенка!* Но Петю критиковать нельзя.

Я притащила ему длинное зеленое пальто с пелериной и поясом фабрики «Сокол» — Акакий Акакиевич Башмачкин с ума бы сошел от радости, заполучив такое пальто.

— Шикарно на мне сидит! Почти как раз! — восхищался Даур. — Я так люблю новые вещи! А чье оно? Откуда у тебя? Расскажи мне историю этого пальто!

Я же только гладила в ответ его рукава утюгом — они были длинноваты, — молчала и таинственно улыбалась. Не хотелось говорить, что это пальто моего мужа Лёни, которое он купил сто лет назад, ни разу не надел и очень возмущался, когда я его уносила.

— Ты постоянно ищешь в жизни человека, — говорил он, — кому ты могла бы отдать все мои вещи.

— Это специальное пальто для лиц кавказской национальности, — объясняла я, — чтобы московским милиционерам, которые их шмонают, они казались новыми русскими.

— Сюда нужен шарф, — сказал Даур, любуясь собой в зеркало.

— Пожалуйста! — говорю я и достаю шарф из козьего пуха, провалявшийся у нас в сундуке не один десяток лет.

Он элегантно обмотал им шею.

— *ПЕРЧАТКИ!* — царственно произнес он и, не оборачиваясь, протянул руку.

— Прощу! — И выдала ему вообще неизвестно какими судьбами попавшие ко мне кожаные перчатки, которые имели один только бог знает чьи очертанья руки с ужасно короткими толстенькими пальцами.

— Какие пальцы короткие, — удивился Даур. — Даже не верится вообще, что такие бывают.

Померил, а они ему тютелька в тютельку.

Сюда так и напрашивалась шляпа. Он стал бы вылитый Челентано из кинофильма «Блеф». Но вязаная шапка Лёни с красным деревянным колокольчиком на макушке тоже оказалась в самый раз.

— Ты, наверно, думаешь, что я голодранец? — забеспокоился Даур.

— Ни на одну секунду! — сказала я. — Просто у меня в доме такое безумное количество вещей, что я могла бы с ног до головы одеть небольшой приморский городок типа Сухума.

— Роскошное пальто, — еще раз повторил Даур уже на улице, ловя на себе удивленные взгляды прохожих. — Мне только не нравится название фабрики, на которой оно изготовлено. Так грузины всё любят называть: Сокол! Чайка! Орел! Буревестник!

— А абхазы бы как назвали?

— Абхазы бы так назвали: швейная фабрика «Козоёб». — Он порывлся в карманах нового зеленого пальто, надеясь найти там деньги на метро.

— Послушай, — спросил он, — ты не могла бы меня субсидировать? Я буду рад любой сумме — от копейки и выше... Ты мой ангел-хранитель, — добавил он. — Если б ты знала, как я тебе предан! Как предан бывает туземец. Ты знаешь, что туземцы не тронули ни одного гвоздочка в доме Миклухо-Маклая? Самого они, правда, съели...

Мы с Петей озаботились его трудоустройством. Первая мысль моя — устроить нашего друга в библиотеку, ибо он был искушенным книжным волком.

— Книга — лучший кунак для джигита, — провозглашал Даур. — В каждую саклю — по книге!

Хоть сколько-нибудь замечательную поэзию любых времен и народов он всю помнил наизусть. Будучи абсолютным вольнодумцем — ни Пастернак, ни Ахматова для него не авторитет, — он мог их бесконечно цитировать.

— «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну!» — возмущался Даур. — Чувствуешь, какой ложный пафос? «Ты вечности заложник у времени в плену!» — Демонически смеялся он и добавлял сурово: — Нет плохого поэта, или хорошего, или немножко получше и похуже. Есть поэт и не поэт. Пастернак — это не поэт. Это антиквариат. А Эдуард Лимонов — поэт!

— «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, “Аи”», — звучным голосом, рокочущим, читал он в вагоне метро. — «Ты сказала: “И этот влюблен!”» Я вам не мешаю? — спросил он у подвыпившего соседа справа, доверчиво положившего ему голову на плечо.

И весь вагон, затаив дыхание, глядел на него не отрываясь.

Идею насчет библиотеки я скоро отбросила. Даур купил новый шикарный костюм — шерстяные с просверком брюки, двубортный пиджак в черно-белую клетку («Это концертный пиджак! — С гордостью заявлял Даур и тут же обеспокоенно спрашивал: — Точно концертный? Не цирковой?»), так или иначе, к этому пиджаку Петя Алешковский подобрал галстук — из древних времен, тоже в клеточку, видимо, принадлежавший еще Петиному тестю Натану Эйдельману. Я тут же присовокупила к комплекту черный папин дипломат. Мы окинули его взглядом и поняли, что такой человек не может быть просто библиотекарем. Тут даже пример с Борхесом неубедителен. В таком виде Даур Зантария имел право принять только пост директора центральной библиотеки, по меньшей мере «Ленинки» или «Иностранки».

Вскоре на горизонте возник сказочный оливковый магнат — грек, пожелавший использовать песенный дар Даура в целях рекламы своей оливковой продукции. Даур должен был написать зажигательную статью, прославляющую грека с его оливковым маслом, и триумфально опубликовать ее в модном иллюстрированном журнале или популярной газете. После чего щедрый грек обещал ему пожизненную ренту и безбедное существование до глубокой старости.

Но куда бы мы с Петей Алешковским ни предлагали звонкую оливковую песнь, проникновенно спетую Дауром, московские газеты и журналы заламывали такую цену «за рекламу иностранцу», что если б этот непотопляемый грек выложил сумму, которую они просили, то он и сам пошел бы по миру с протянутой рукой.

— Какая же это «реклама»? — возмущался Петя. — Ни адреса, ни электронной почты, просто информация, что оливковое масло витаминнее, чем подсолнечное!

— А может быть, сделать так? — говорю. — Я пишу в газету: «Имеет ли оливковое масло пищевое применение?»

Даур мгновенно:

— «Имеет, дура! — отвечает профессор Даур Зантария. — Подсолнечное масло отдыхает, когда появляется оливковое!»

В Москве повсюду открывали турецкие пекарни. Мудрого Даура турки пригласили на дипломатическую работу.

— Они будут платить мне за то, что я честный, порядочный человек и на мое слово можно положиться.

В «турецкий» период карьерного взлета он мне звонил и говорил:

— Вся Москва заполнена турками, только и слышишь: «денга», «базар», «шашлычная», «бастурма». Для русских осталось всего несколько слов — это «нравственность», «союз», «выборы», «квота» и — «будущее». Больше ничего.

— Приехал один турок, — рассказывает Даур. — Очень подозрительный, но для важности сказал, что он магистр философии, доктор филологических наук, профессор Кембриджского университета, у него третий дан по карате, что он трехкратный чемпион Олимпийских игр, его друзья (далее идут очень знаменитые восточные имена) попросили меня узнать: те деньги, которые были вложены за годы советской власти в развитие промышленности Узбекистана и оттуда уже ничего не вернулось, — где они? Ну, и заодно спросил, как идут дела у пекарни.

— Марина, слушай, — звонил он встревоженный, — может человечество ошибаться? Оказывается, хлеб вреден для здоровья, углеводы ни с чем не соединяются, но я попросил население Земли об этом забыть, пока я занимаюсь турецкой пекарней.

— Я охранял пекарню, — он говорил, — вооружившись лишь своим сумрачным взглядом. Но с этим теперь покончено. Отныне я буду продавать в большом количестве золото.

И это золото, я заметила, у Даура тоже никто особенно не расхватывал.

— Знаешь, почему мне не удаются коммерческие дела? — он спрашивал. — Потому что я их довожу до художественно-карикатурного состояния, где всё абсолютно теряет всякий смысл. Например, у меня наметился бизнес экспортировать пантокрин из оленьих рогов от импотенции. Но я должен был сбывать его в Турции... Стамбул не понял, что это такое! В пантокрине нуждается Америка. Турецкий мужчина и без оленьих рогов способен кашлянуть на пороге семи спален за один вечер, американец же — только на пороге одной, и то если жена ему ободряюще скажет: «Ты можешь это сделать, и ты должен... если купишь в аптеке “пантокрин”!» ...Вот такие глупости я пишу в своем романе, а Петин компьютер, что нужно оставить, — стирает, а что не нужно — увековечивает.

Мир мерцал вокруг него, бурлил, принимал фантасмагорические очертания, самые что ни на есть здравомыслящие люди бывали притянуты к его пламенеющей орбите и переставали понимать, на каком свете они находятся.

— Скачал ли я на лошади??? — мог он воскликнуть. — Я столько же хожу пешком, сколько скачу на лошади!..

Или рассказывал, как гостил у одного старика, девяностодевятилетнего свана.

— Такой добряк с белой бородой, звали его Яков. Он достал из арсенала самую шальную винтовку, дал мне и сказал: «Попади в яблоко!» Я вскинул винтовку и выстрелил. А стоят восемнадцать его сыновей. У него было семь жен — одна жила в Волчьей пуще, другая в Волчьей низине, третья — в Волчьем овраге... и так далее. Он ходил от одной к другой. А чтоб было удобнее, он поселил их очень близко друг от друга — всего семь дней ходу, его ходу, другой бы шел месяц. Я выстрелил.

Яблоко осталось на месте. И все восемнадцать его сыновей, шестьдесят четыре внука и сто пятьдесят племянников воскликнули: «Бах! М-а-а-а-а!» — мол, абхаз не попал. — «Он попал! — сказал Яков. — А ну-ка слазайте и посмотрите», — велел он двоим сыновьям.

Яблоня высокая, старая, опасно, но у него всех столько, что двумя больше, двумя меньше — неважно. Они влезли и увидели: да, я попал. В яблоке дыра от пули, она просвистела сквозь яблоко — так, что оно не только не упало, но даже не шелохнулось!

Даур победоносно взглянул на нас с Наром и, вскинув голову, стремительно зашагал вперед по тропинке, заросшей крапивой и лебедой, дело было в Коломенском парке. Мы переглянулись, восхищенно покачав головой из стороны в сторону, и последовали за ним.

Он был очень рельефный — готовый герой для романа. Недаром Андрей Битов, гостивший у него в доме в Тамыше, вывел Даура феерическим персонажем своего романа «Оглашенные» и подарил книгу с дарственной надписью: «Невыдуманному Дауру от выдуманного автора». Великий Грэм Грин, мимолетно повстречав Даура в Сухуме, так был им впечатлен, что уже в следующем романе у него действует авантюрист и философ Зантария.

— Жаль, роман Грэма Грина не переведен на русский язык, — жаловался Даур. — Это мне прибавило бы известности!

Его так и хотелось запечатлеть — в этом свитере с черными птицами в зеленой траве, который я ему связала, Даур его надевал, когда особенно хотел, чтобы ему повезло, — как талисман.

Пройдет немного лет, и мои птицы взмоют над травой и перелетят в сухумский музей Даура, открытый в его полуразрушенной городской квартире, с любовью восстановленной великолепной Цизой Гумбой, энтузиастом и почитателем его творчества, перед которой во весь исполинский рост встал вопрос: как сделать дом-музей писателя, у которого нет ничего, кроме курительной трубки?

— Как-как? — объяснял мне Лёня. — Послать какого-нибудь художника на блошинный рынок, снабдив небольшими финансами: купить старый письменный стол, кресло, торшер, этажерку с книгами, на стенку повесить фото дедушки... Помнишь, он жаловался, ваш герой, что на йогурте напечатали портрет его дедушки-долгожителя? И всячески норовил привлечь их к ответственности, надеясь обогатиться, но ничего не вышло?

Зато монологи Даура в их первозданном виде так и ложились один за другим в мой роман «Гений безответной любви». Я только не знала, как назвать героя.

— Назови его просто: Даур Зантария! — предложил он.

— Но это ограничит мою свободу.

— А я себе имя поменяю, — ответил он не раздумывая.

«Гений безответной любви» сочинялся параллельно Даурову «Золотому колесу». В некоторых эпизодах наши параллели пересекались, не могла ж я не упомянуть реальный случай, когда цыганский барон Мануш Саструна украл маленького Даура, и тот месяц кочевал с табором, пока его не догнали и не вернули домой, и с той поры мой абхазский друг считал себя чистокровным цыганом.

— Тургенев и Гончаров судились, когда у них обнаружился один и тот же сюжет, но арбитры признали, что они оба гении и просто отражают жизнь, — говорил Даур. — Так и мы с тобой. Давай мой роман будет маленькой частью твоего?

— ...И я буду высказывать экстремистские идеи, которые тебе не к лицу, поскольку ты вынужден изображать мудрость и толерантность.

— Ты можешь пропагандировать даже национализм и сексуальную революцию, — соглашался Даур, — все равно это будет призывом к гармонии и любви.

Светлый образ Даура, именуемый *Колей Гублией Легкокрылым*, пронизывает весь роман, особенно выпукло представлен в одноименной главе, которая вызвала неопишуемый восторг у прототипа. Он бурно радовался своим шуткам, насторожился, когда речь зашла о зеленом пальто, а больше всего ему понравилось, где герой разглагольствует о преданности туземцев Миклухо-Маклаю.

— Пошлю в Абхазию ксерокс, — деловито сказал он. — А то они думают, я в Москве груши околачиваю. А я тут служу прообразом в поте лица!

Вечером приехали гости: ходжа из Турции и художник из Сухума.

— Почитай им, почитай эту главу, — умолял Даур.

— Если нас сочтут достойными, мы с удовольствием послушаем, — царственно произнес художник, который немного понимал по-русски. Ходжа совсем ничего не понимал, неважно, я снова исполнила «на бис».

— Ну всё, мое земное предназначение я уже выполнил, — говорил Даур. — Я запечатлен в тексте «Гений безответной любви», поэтому спокойно могу завершать тут свои земные дела.

Ну, и он тоже — как только напишет удачный кусок, читает по телефону. Раз поздней осенью, холодной и дождливой, услышала я колоритнейший пассаж:

— «Об аджике нужно сказать особо. Свыше двухсот специй являются ее составными. Тут и острый перец, и поваренная соль, и резеда, и девясил, и куриная слепота, и армянский хмели-сунели, и грузинские тмин и гвоздика, и еще 193 специи, выращиваемые в Абхазии, и только в Абхазии... в ней есть всё, что во всех других острых приправах мира, и много иного, которое есть только в ней, подобно тому, как в абхазской речи есть все звуки, что и в остальных 3700 языках мира, но и помимо этого еще полсотни специфических звуков... изготовить ее не составляет труда: для женщины не проблема запомнить сочетание двухсот специй... однако положение усложняется прочно укоренившимся предрассудком о том, что якобы изготовить аджику с особым вкусом и ароматом может только женщина, которая не знала никогда другого мужчины, кроме мужа».

Он дождался, когда затихнут мои аплодисменты, и грустно сказал:

— Тут холодно, сыро и нет аджики.

Даур затосковал, работа застопорилась, на следующий день он сорвался и уехал в Сухум. А когда вернулся, я прихожу — на столе литровая банка аджики и солнечный круг сулугуни. Антей прикоснулся к родной земле, и работа опять закипела.

«О чем пишет твой отец?» — спрашивали Нара. «Роман о жизни!» — тот отвечал. «О чем сейчас пишет Даур?» — спросил меня Резо Габриадзе. «Роман о войне», — говорю. «Наверно, ругает грузин?» — печально проговорил Резо. Я ответила: «Резо, кого ругает Гомер в “Илиаде”?»

В августе он позвонил и сказал:

— Закончил роман, а никак не чувствуется. В Сухуме бы, знаешь, что началось! А здесь как-то буднично, повседневно. Ну — всё. И что? Дома — если я кавказец настоящий, пирушку обязан закатить в ресторане на четыреста посадочных мест. Только ставишь точку, заваливается толпа — любовь, гулянка, сабантуй... Хотя если их любовь положить на весы и твою — твою слабую, — быстро добавил он, — то твоя перевесит. Когда ты возьмешь меня с собой? Только не надо литературных фраз, — он грозно предупредил. — НЕ соглашайся, клянись, что не согласишься, а то я умру от счастья.

И хотя соответствовать его представлениям о бразильском карнавале, который должен заполыхать в его честь, было попросту невозможно, я позвонила подруге Светке.

— Жарим-парим, — говорю ей. — Устраиваем пир на всю катушку! Даур закончил роман.

По дороге мы с ним купили арбуз. Светка живет у пожарной каланчи на пятом этаже без лифта.

— Давай я понесу арбуз, — я предложила. — Негоже человеку, который написал роман на все века и только что поставил точку, таскать арбузы на пятые этажи.

— Как ты можешь нести арбуз, — отозвался Даур, — если даже моя любовь для тебя непосильное бремя?

На всякий случай он захватил дискету с файлами «Золотого колеса», и не напрасно, поскольку Светкин сын Руслан с молодых ногтей спец по компьютерным делам.

— Можно я попрошу Руслана вывести мой роман? — спросил Даур.

— Ну, не знаю, такой объем здоровенный. Намекни...

Когда Руслан внес на кухню горячую стопку страниц «Золотого колеса», Даур прижал их к груди, закрыл глаза и сказал:

— Ой, что-то мне не по себе... — нетвердой походкой отправился в комнату, лег на диван и уснул.

Проснулся он оттого, что рыжий эрдель шершавым языком вылизывал ему лицо. Тут вострубили трубы, загремели литавры и покатился пир горой: салаты, курица, коньяк... Дауру всё страшно понравилось, он потом часто спрашивал: а когда мы опять пойдем к Светлане Пшеничных?

Роман опубликовали с продолжением в двух номерах журнала «Знамя».

— Не каждый, кто держит калам, сможет написать кетаб! Кетаб, Мариночка, — это книга, — важничал Даур, вручая мне публикацию с дарственной надписью:

Победительнице-учительнице от побежденного, блин, ученика.

От поникшего долу, утонувшего в травах, оглушенного цикадами, перепившего росы...

Марине от Даура.

г. Москвино

Он медленно и осторожно входил в русскую литературу.

— Ну, вы, Даур Зантария, вылитый Фазиль Искандер, — говорили ему в московских редакциях. — Герои Фазиля абхазы — и вы тоже пишете об Абхазии. У него всюду горы с их вечными снегами — и у вас, у него фигурирует море — и у вас, у Искандера смешные рассказы — и у вас, у него в то же самое время грустные — и у вас...

«Казалось, после Фазиля в абхазо-русской прозе делать нечего! — написал Андрей Битов. — Даур нашел путь, продолжение которого сулило мировую мощь...»

Народный фольклор клочкотал в нем, Даур его сдерживал из последних сил. Байки всплывали, словно глубоководные рыбы, надо же их куда-то девать, вот он просто рассказывал: был у них в Сухуме фотограф-армянин, его звали Кара. Когда ему женщины выражали недовольство своими фотографиями, Кара отвечал: «Лягушка посадишь, лягушка выйдет».

— Раз в жизни они готовились, — говорил Даур, — один раз фотографировались — и так они у него выходили.

Сухумские фотографии бродили на побережье его души, тосковавшей в Москве по Сухуму. Именно почему-то фотографии — в шортах и сомбреро, с распахнутой грудью — седые волосы на груди, загорелые, с обезьянкой на плече или с питоном на шее.

— У нас по соседству жил фотограф, — рассказывал Даур, — он тоже был армянин, звали его дядя Гамлет. Армяне любят шекспировские имена. Я лично

знаком со старой согбенной Офелией, и шапочко — с армянином по имени Макбет, Макбет Ованесович Орбелян, хирург-стоматолог, у него всегда халат немного забрызган кровью. Его отцу, Ованесу, наверно, с пьяных глаз померещилось, что Макбет — мужское имя, которое украсит любого невинного младенца.

Это был кладезь историй, чуть смягченных мелодичным акцентом Даура, а так, конечно, жестких, рассчитанных на то, что человек услышит и, потрясенный, просветлится, внезапно осознав абсурд нашей жизни. Взять хотя бы историю, как один мясник другому голову отрубил: «А что? Поспорили, — буднично говорит Даур, — кто кому сможет отрубить голову с первого раза — на четвертинку...»

Однажды в буфете ЦДЛ к Дауру подошел пьяный литератор.

— И вы тоже писатель? — спросил он у Даура.

Даур только что получил в редакции журнал «Знамя», где был опубликован его роман «Золотое колесо». Он как раз держал его под мышкой.

— Да. Пишу, — ответил Даур.

— О чем же?

— О чем можно еще писать? — сказал Даур. — Она любит его, а он — не ее, а другую...

Он очень не одобрял собратьев по перу, заикленных на русской идее, львиную долю жизни проводивших в буфете ЦДЛ. Ему казалось, что антисемитизм подрывает их здоровье.

— Взялись бы соревноваться: кто лучше пишет, кто больше издается! — говорил он. — Затеяли бы борьбу за сферы влияния, если им кажется, что самое лучшее захватили евреи! Они же в отместку просто напиваются и разлагаются. Вот, например, в Сухуме — там не национальность ставится во главу угла, а только «сухумский» ты или «не сухумский». «Сухумский» — это человек, который где-то побывал и там проявил себя. Он может быть знаменитостью, небожителем или горьким пьяницей, великим деятелем или отшельником, отринувшим земные дела, но к ним — одинаковое отношение...

Он сидел на каменном парапете под головой коня маршала Жукова перед Историческим музеем, блаженно покуривая трубку. Издали мне показалось, что пар идет из лошадиных ноздрей. Даур ждал — не озираясь, не пытаясь отыскать тебя в толпе. Он спокойно глядел вдаль, и случайным прохожим, снующим вокруг него — прямо в центре Москвы, — видна была фата-моргана Даура: море, горы, сухумские розы, стеклянная кафешка на песчаном берегу.

Даур — при деньгах, это уже чудо! Вечный бессребреник, он говорил:

— Мне не нужны деньги. Только на кофе и на цветок женщине.

(А на вопрос таксиста «сколько вы заплатите?» отвечал: «Вы ахнете, сколько я заплачу».) Мы зашли в табачную лавку, и он купил дорогого голландского табаку старинной марки «Клам». На улице купил мне банан. Я говорю:

— Зачем ты тратишься?

— За кого ты меня принимаешь? — возмутился он. — Я что, не могу купить любимой женщине... банан?!

Сам он поминутно доставал из кармана фляжку с коньяком, как знак боевой мощи, и делал освежающий глоток. Потом зашел в кондитерскую и вынес оттуда роскошный торт.

— Марин, — сказал он, — выходи за меня замуж! Ты только не думай!

Как медоносная пчела, несущая нектар в улей, я привела его к моим студентам в Институт современного искусства, чтобы они увидели настоящего писателя.

Разговор шел о том, как написать портрет.

Даур был краток:

— Портрет надо писать так: *берешь человека, заключаешь его в рамочку и внимательно рассматриваешь...*

Расставаясь у метро «Смоленская», он произнес небольшой спич:

— Твоя педагогическая деятельность в порядке, твой творческий путь усыпан лепестками роз, ты красавица, у тебя есть один недостаток — это я.

Второй и последний раз мои студенты увидели его на выставке «Урал — Гималаи». Даура всегда манили к себе Гималаи, он страшно завидовал мне, что я с уральскими художниками слетала в Непал и Тибет. На стенах висели огромные фотографии гималайских пейзажей. Скользящий солнечный свет, петляющие тропинки, буддийские храмы, колдуны, левитирующие монахи, дороги в бесконечность... Кто-то снимал только тени, отбрасываемые тибетскими строениями.

Капитан-художник Александр Пономарёв сконструировал гигантский аквариум, в котором время от времени вздымалась и бежала вдоль самого большого зала Малого Манежа настоящая водяная волна. И вдохновенно рассказывал, что обратил внимание в Тибете на постоянный ветерок, днем и ночью колышущий занавески, ветки деревьев, листья, одежды...

— Где ваши записные книжки? — я спрашиваю у своих ребят. — Смотрите: Даур Зантария — великий писатель, достал свой дневник и что-то записывает. Что ты записал, Даур, читай!

Даур — торжественно:

— «Лхаса — столица Тибета. Марина — великая путешественница».

...Летом 2001 года Даур Зантария умер от инфаркта в крошечной квартирке около метро «Сокол». Нар позвонил ранним утром — в семь? шесть утра? И сказал.

От метро я долго шла вглубь дворов — там такие рытвины и лужи, *как будто разбомблено ракетами*, говорил Нар, большой знаток этого дела («Когда бомбят — так страшно, что хочется зарыться в землю!»).

Это был форменный край света, за последним пристанищем Даура простирался только необитаемый хвост Земли. Третий этаж, дверь не заперта. Вещи кувырком, но их так мало, не о чем и говорить. На столе рассыпаны фотографии — здесь он на море, тут с друзьями в кафе на набережной, там в Таджикистане у жены Тажигуль — Даур незадолго женился, и на недельку она поехала навестить родню. В ванне сушилась выстиранная майка, две зубные щетки в стакане склонились одна к другой.

Мы зажгли свечу. Свеча у Саски была новогодняя — в виде Деда Мороза.

На кухонном столе — кружка Даура с его недопитым чаем и дневник, раскрытый на той весенней странице:

«Лхаса — столица Тибета...»

Свитер я забрала. Вечер был прохладный, я накинула его на плечи, и меня обдало волной Даурова тепла. В этом свитере он, почти как мсье Крачковски, проехал по горячим точкам бывшего Советского Союза, но только не ДО того, как там просвистит первая пуля, а в разгар. И встретился там с людьми, чьи имена не сходили с газетных полос и с кем мало кто захотел бы встретиться на узкой дорожке. В солидном журнале выходили его спокойные философские рассказы об этих рискованных поездках. Он пил, курил, общался с весьма сомнительными личностями, но от свитера пахло только молоком, хлебом и дымком от костра.

...Поэт Игорь Сид устроил Дауру выступление на Петровке в Литературном музее.

Даур очень волновался. И три большие черные птицы с алыми клювами у него на груди выглядывали из болотной травы и камышей. В небольшом зале собрались родные люди: Пётр Алешковский, Петина жена Тамара Эйдельман, теща Пети

Элеонора Александровна, критик и прозаик Лёня Бахнов, моя подруга Светка, мы с Наром, старинный дружок Даура художник Адгур, несколько молодых людей, очень интеллигентных, и отлично была представлена абхазская диаспора, видимо, спонсировавшая этот вечер, — смуглые импозантные люди в модных костюмах, они заняли целый ряд справа от Даура.

Сам Даур сидел за старинным столиком из красного дерева, перед ним лежали рукописи; в очках, с благородной сединой, в этом, как я уже говорила, безумном свитере.

Это было его первое литературное выступление в Москве. Даур читал размеренно, чинно, чуть интонационно форсируя самые смешные и колоритные места. Читал отрывки из «Золотого колеса», рассказы, прочел несколько блистательных эссе или притч — особенно мне запомнился сюжет о Мелитоне Кантария, в свое время водрузившем знамя над Рейхстагом, какой он в мирное время стал свадебный генерал, как его именем весело, но церемонно прикрывали земляки свои мелкие мошенничества. В этих коротких и выверенных вещах вставала за карнавалом живая, величественная и смешная человеческая судьба, что так удавалось Дауру.

Когда он закончил, все вскочили, бросились его поздравлять, а он молча, издалека сделал знак Тажигуль, чтобы она уже вела публику к накрытым столам. И мне было так приятно, что, какой наш Даур ни есть красноречивый, он все-таки отыскал женщину, с которой можно разговаривать без слов.

Ну, его поздравляли, радовались, хлопали по плечу, и все до одного спрашивали:

— Откуда у тебя такой свитер? Ты в нем совсем уже Гарсиа Маркес.

Он отсылал всех ко мне. Люди жали мне руки. Поздравляли с таким обалденным свитером. А одна сумасшедшая женщина стала просить меня показать ей *мою творческую лабораторию*.

Я считаю, что это был мой звездный час. Правда-правда, счастливый был день, ничего не скажешь.

— Поблагодари земляков, — на ухо шепнул Даур.

— А что сказать?

— Скажи: «В Абхазии есть две драгоценности — гора Эрцаху и Даур Зантария. Но Эрцаху вечна, а Даур — нет. Поэтому давайте его все любить и беречь!»

Прощание вышло эпическим, будто из старинных восточных сказаний, хотя происходило в легком серебристом ангаре, напоминавшем внутреннее пространство инопланетного космического корабля. Гроб стоял на возвышении, будто парил над полом, чтобы в него заглянуть, нужно было подняться по ступеням, где расположились женщины, прибывшие из Абхазии, сестры-плакальщицы.

Московские друзья Даура выстроились у противоположной стенки, не смея приблизиться, ибо оплакивание носило этнографически сакральный характер, благо, никто не посылал главу пеплом, не бил кулаками в грудь. Но крики отчаяния то и дело прерывали безответный разговор *сушедшим туда, где господствует правда*, включавший факты житья-бытья, сложности внутрисемейных отношений, восхваление заслуг и одновременно сомнения в избранном им пути.

Из уважения к собравшимся плакали в основном на русском, обрамляя плоды индивидуального творчества строками древнего канона:

— О мой красивый брат, где твоя красота?

— Брат мой, тебя уважали, брат мой...

— Но зачем ты надел этот костюм, ведь ты не любил ходить в костюме...

— Папе привет передай...

Вдруг проскользнуло:

— А я-то тебя всегда стыдилась...

Но традиционные формулы брали свое, особенно когда плакальщицы переходили на абхазский, в их скорбной песне слышалось:

— Куда же теперь деть нам твои доспехи с одеждой твоей, о брат мой!

— Как только раздастся цокот копыт, гляжу на ворота и жду, что ты въедешь во двор, сестра твоя...

— Оставив сестру в темноте, куда ты уходишь? Брат мой...

И, наконец:

— По тебе сегодня весь день, о брат мой, плачут Земля и Небо!

Хоронить его увезли в Сухум — он как раз туда собирался и даже заранее купил билет на самолет.

Пришла мне пора провожать Даура.

У митрополита Макария прочитала, что каждый день из сорока — страшно важный для покинувшего этот мир человека, ибо дым земных очагов восходит прямо к райским крышам.

На Пасху Даур звонил мне и говорил:

— Мариночка! Христос воскрес! Если твои не такие законченные йоги, поздравь их от меня.

Однако душой Даур был убежденный суфийский дервиш. Его настольная книга — «Жизнь и Поэзия Джалал ад-дина Руми», и он ее постоянно цитировал:

...Потом приходит смерть, подобно заре,
и ты просыпаешься,
смеясь над тем,
что считал своей скорбью...

— Путей много, — он говорил мне, — но Бог один, и, возможно, на зайце суфизма я доскачу до твоего слона индуизма и буддизма.

— Всё, что не приближает меня к суфизму, то отвлекает меня! — говорил Даур. — Если бы мне предложили на выбор слона Будды или ишака Иисуса, я выбрал бы верблюда.

С суфийской традицией я была полностью незнакома. «Тибетская книга мёртвых» лежала у меня на столе, я проштудировала ее от корки до корки, но это был грозный и страшный путь, и я не решалась двинуться по нему.

Адгур предложил заказать службу в храме: Даур — крещеный. То, что он такой суфий, это его сознательный выбор. А по рождению он христианин. Но мы не знаем его имени при крещении...

Я отвечала:

— Они и так поймут, о ком идет речь...

— Да, — соглашался Адгур, — он *там* не останется незамеченным.

Я выставила на шкаф большую фотографию Даура, зажгла свечи, благоговения, поставила две имевшиеся у меня иконы: Девы Марии и Сергия Радонежского (Даур в паспорте с отрочества записан как Сергей: председатель сельсовета любил Есенина и всех мальчиков своевольно и официально переименовывал в Сережи!), открыла запыленный «Молитвослов».

— Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Даура, — попросила я, — идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...

— Ты что, — спросила моя мама, — хочешь устроить Даура в рай?

— Да, — говорю.

— Дело это для нас совершенно неизведанное, — с сомнением сказала моя мама. — К тому же ты некрещеная, поэтому твои молитвы...

Но я не стала дослушивать. Тридцать девять дней каждый вечер я обращалась к Богородице и Сергию Радонежскому, изредка сбиваясь и взывая к Буддам и Бодхисаттвам

четырех сторон света, наделенным великим состраданием, обладающим мудростью понимания, любовью и силой покровительства невообразимых размеров, с просьбой защитить Даура на тех путях, которыми он движется.

— Господи! — говорила я. — Даур Зантария — яркая краска в Твоей палитре. С ним пришло на Землю много любви, всели его во дворы Твои, презирая прегрешения, вольные и невольные, Человеколюбче!..

А самому Дауру я говорила:

— Смотри, узнай меня, когда мы опять с тобой встретимся, договорились?

— Ну, я же узнал тебя — в Переделкине, — он отвечал.

На сороковой день, когда в его родном Тамыше собрались на поминки более пятисот человек (говорят, на похоронах было полторы тысячи!), во дворе жгли костры и в огромных казанах варили мамалыгу, — все друзья приехали туда, пришла многочисленная родня, Абхазия горевала о Дауре... В тот день в Москве я сняла его фотографию со шкафа и поехала в храм на Ваганьково.

— Ты — талмудистка и начетчица! — сказала моя мама. — Сели бы лучше, выпили по рюмочке...

Но этот важный день я решила доверить профессионалам.

В метро на переходе у индусов купила косынку; черных, конечно, не было, да я и не хотела черную, но выбрала самую незатейливую: по изумрудному полю — крупные желтые подсолнухи. Вошла в церковь — смотрю, хрупкий молодой человек стоит у алтаря в длинном черном одеянии.

— Как вас зовут?

— Дмитрий.

— Послушайте, Дмитрий, — говорю я, — мне нужна ваша помощь.

И рассказала ему про Даура.

Это был серьезный священник Ваганьковской церкви Вознесения — отец Димитрий. Ничего лишнего он не стал спрашивать — ни имя во Христе Даура, ни — крестилась ли я в водах Иордана, только спросил, когда узнал, что Даур — писатель:

— Наверное, очень трудно быть писателем?

— Ну, — ответила я, — не труднее, чем священником.

— Пойду облачусь, — сказал он.

Смотрю, идет мой отец Димитрий — во всем золотом, с кадилом — из Царских врат. Мы с ним так пели, так молились, так он старательно просил о Дауре, как будто знал его ближе, чем Петя Алешковский. На наше райское пение в церковь начал заглядывать народ — толпа прихожан собралась у входа, а мы самозабвенно поем, осеняя себя крестом, — я вся в подсолнухах — первый раз, я уверена, отец Димитрий возносил молитвы в такой безумной компании, в общем, Даур, мне кажется, был доволен.

Нет лучше, когда дух твой, утратив тело, обретает плоть в виде корабля или книги. Писатель у небесной канцелярии в этом смысле на особом счету. Ему дается шанс переступить через физическое исчезновение и двинуться дальше полным ходом. Но надо ж издать его книжку! Заякорить плод высоких дум на Земле, как похищенный огонь у Гефеста, сокрытый в полом стебле тростника!

И все-таки — что я возомнила о себе, когда приблизилась к скорбящим сестрам и сказала:

— Дорогие! Оставьте мне все дневники, файлы, диски, повести, рассказы, оставьте мне стихи его, эссе, колонки и подвалы, записки, письма, беглые заметки, афоризмы, два полностью законченных романа и один неоконченный (хотелось добавить: «Я закончу...» — но воздержалась).

Разумеется, никто мне ничего не собирался оставлять. Какой-то пигалице. Что она хочет от этих странных исписанных листков брата? Только что нажиться... Поэтому рукописи Даура его родня сообща решила увезти в Абхазию.

Нар был ужасно огорчен, но женщина в роду абхазов — это солнце, хранительница очага, она скромна и женственна, а в случае нужды неустрашима. Если проезжий на коне увидит идущую женщину, он должен спешиться и уступить свою лошадь ей. Ибо нет мужчины, который бы не родился от женщины, — гласит абхазская мудрость.

— Чем дольше пролежит, тем лучше созреет и тем ценнее будет! — мне отвечали сестры и племянницы со свойственной аграрному народу мудростью. — С годами ценность только возрастет!

— Не возрастет. И не созреет, — за мной, словно Архангел Иегудиил, который в столпе огненном охранял израильтян, когда те двинулись из Египта, нарисовался Леонид Бахнов, Чернобородый, смуглый, темноглазый, своим неожиданным вмешательством он спутал им все карты. Тем более Бахнов заведовал отделом прозы журнала «Дружба народов», это придавало весу нашей с ним коалиции.

(— Шли мы как-то с Дауром, — рассказывает Бахнов. — Заворачиваем с Тверской на улицу Герцена. Я — коренной москвич. И Даур — яркое лицо *кавказской национальности*, ни кола, ни двора, ни определенного места работы, ни московской прописки. Нас останавливает милиция.

— Ваши документы? — обращается милиционер... ко мне.

— Он со мной, — говорит Даур.

И мы спокойно двинули дальше...)

Дело оставалось за «немногим»: собрать творческое наследие Даура — в разных местах и у разных людей. Желая облегчить себе задачу, я имела неосторожность обратиться за помощью к Тажигуль и мгновенно понесла урон. Она поехала к Адгুরু и забрала у него большой дневник в кожаном переплете, куда записывал Даур свои философские размышления, остроумные наблюдения, какие-то фрагменты и сюжеты — своим особым сочным величавым языком, полным неожиданных сравнений, пышных наворотов, это были абсолютные жемчужины, много раз он мне читал оттуда зарисовки, стихи, байки о жизни, смерти, — это ж мой любимый жанр.

Я замечтала посвятить в грядущей книге целый раздел его «опавшим листьям». Каково же было мое разочарование, когда Тажигуль строгим голосом объявила, что дневник Даура она никогда не отдаст и никому не покажет. Это после того, как я еле умолила ее забрать хоть что-то у кого-нибудь и встретиться со мной в метро! Она отказывалась внять гласу рассудка, только твердила:

— Он сам сказал: «Тажигуль, дневник я пишу для себя, а не для печати!»

Не в силах убедить правообладательницу, что писательский дневник — нескончаемая книга, тренажер, инструментарий, но с ним надо умеючи обращаться, я попросила ее заглянуть, вдруг ей покажется возможным поместить в книгу... ну, скажем, описание природы, заметки об искусстве, размышления о войне...

— Он не велел, *и я не загляну!* — сказала она как отрезала и увезла дневник Даура к себе в далекие Фанские горы или пустыню Кара-Кум.

Зато сугубо личные заметки на дисках, где друг мой поверял органайзеру сердечные тайны, приплыли именно ко мне. Порой я упрекала Даура, что у него не очень-то получаются в романе любовные сцены. Мол, ему следует учиться, учиться и учиться у Генри Миллера.

— А что я могу сделать, если я такой целомудренный?! — восклицал Даур. — И у меня было совсем немного женщин — всего человек шестьсот!..

Открыть эти файлы по техническим причинам удалось только Лёне Тишкову. И я возблагодарила небеса, что нас с Дауром связывала исключительно крепкая мужская дружба.

Постепенно с ужасным скрипом и некоторым скандалом что-то стало докатываться до меня. Более того, ко всеобщей радости, я обнаружила бесследно

исчезнувшую беседу Татьяны Бек и Даура «Огонь в очаге». Оба собеседника понятия не имели, где она, и стоит ли ее вытаскивать на свет божий. «У нас с Дауром, — говорила Таня, — сложились весьма причудливые отношения — мы постоянно ссорились».

— *Ежели в одной натуре дар и дурь не расколоть, — это значит: о Дауре позаботился Господь, — писала Татьяна Бек в девяносто шестом году. — Да, я любила чужестранца, прекрасного как дикий берег, меня тянуло петь и драться и ртом ловить летящий снег... Его щека как правило была небрита. Он был мне ближе брата. Быта не замечал... — в девяносто седьмом.*

В июле 2001 в Кёльне написаны такие строки:

Мой упрямый, мучительный, самоубийственный друг,
На чужбине огрета загробной вестью как плетью...
Вижу: ты, уходя, по чистилищу делаешь круг
И смеёшься в лицо благочестию и долголетию...

Целый год он был всюду и везде, я встречала его у нас в Коломенском и ощущала поблизости, шагая по Тверскому бульвару; иногда мы виделись во сне, он молча выступал из темноты, как будто в свете свечи. Вдруг из какой-то книжки вылетел и полетел, как лист осенний, номер его телефона. Таня Бек рассказывала, что на полях ее стихотворения, посвященного Дауру, в сборнике «Узор из трещин», появилась свежая надпись — его рукой простым карандашом: *и вот я здесь...*

Мне хотелось построить книгу, похожую на дом, которого он лишился и куда ему предстоит вернуться, когда его жизненный путь сомкнется в золотое колесо. Глядя, как люди волнуются, вспоминая Даура, смеются или впадают в ярость, изливают обиды или затаивают новые, во мне зашевелилась пьеса об ушедшем человеке, чьи отношения с живущими продолжают развиваться, хотя его давно нет на Земле.

— Как нет Даура? — удивлялся Валентин Иванович Ежов, автор фильмов «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни», «Крылья» и еще пары десятков знаменитых кинолент. — А мы с ним договорились встретиться! Послушай, два единственных абхаза, которые учились на сценаристов в Москве, они оба учились у меня. Мы шли с Дауром по Гагре, он остановил такси и сказал водителю: «Друг! Знаешь ли ты, что в мировой кинематографии есть два абхаза. И они оба учатся у этого человека. Так что на территории Абхазии он должен ездить на такси бесплатно, иначе мы опозорены!..»

Потом мне прилетел конверт с тетрадным листком в клеточку от Евгения Рейна: «Даур Зантария, — написал он, — один из самых одаренных людей, встреченных мною в жизни... Еще до того, как я прочел его стихи и прозу, в Абхазии попал я в дом Даура на застолье. Поздним вечером на берегу моря он читал мне свои стихи. Я сразу понял — передо мной поэт...» Листок добыла и послала Татьяна Бек.

Плечом к плечу мы собирали нашу книгу, она всё что-то добывала, посылала (...*Я была вам хорошим товарищем, вы, надеюсь, заметили это...*). Пока не воскликнула: «Ой, я уже ... всё это вам послышать!»

Битов говорил глухим голосом, медленно, будто каждое слово высекал на граните, я записывала его на диктофон: «Даур Зантария был слишком талантлив. Его первая крупная вещь была не только талантлива, но гениальна, настолько в ней выражен новый жанр — органичный сплав эпоса и хроники, фольклора и летописи...»

Фазиль Искандер даже слышать о Дауре не захотел. А ведь когда-то они были друзьями. Нар отдал мне фотографии. Битов и Фазиль у них дома, все живы, хохочут, Лариса обняла Саску, Даур наливает шампанское.

— Старик даже если знал, что его казнят, — объяснял мне художник Адгур, — но фраза уже созрела, — не мог отказаться.

Увидев у Беллы Ахмадулиной на стенке распятие, а рядом — распластannую шкуру белого медведя, на реплику хозяйки: «Это не я — его...» — Даур спросил: «Кого из них?» — со всеми вытекающими последствиями.

Поздравляя с юбилеем своего крестного отца — Резо Габриадзе (вторым крестным был Андрей Битов), — Даур заявил:

— Не верю, что тебе шестьдесят, Реваз, от армии, наверно, косишь?

Мне он сообщал доверительно:

— Всё время хочется позвонить Фазилю. Спросить: Фазиль, как ты? Живешь на чужбине, горе мыкаешь. В чем тебе помочь?

Видимо, не удержался.

Был теплый сентябрь 2001 года, я ехала к Дине Рубиной в Спасоналивковский переулок — несколько счастливейших моих лет Дина Рубина служила в московском еврейском агентстве «Сохнут», и нескончаемой вереницей к ней шли разные проектеры, представляли свои проекты, просили субсидии.

Вечером к ней обещал заглянуть Александр Бисеров, директор екатеринбургского издательства «У-Фактория». У них только вышел мой роман «Гений безответной любви», о котором Игорь Губерман прямо с порога отозвался благодушно: «Прочел ваш роман. Вы знаете, героиня такая идиотка, складывается впечатление, что эта черта в полной мере присуща самому автору».

Бабье лето, 11 сентября, благодать. Дина всего наготовила, стол накрыт, ждем гостей. Включили телевизор на кухне, а там — одни и те же кадры, мне показалось, из фильма ужасов — два самолета один за другим врезаются в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и с пламенем, клубами черного дыма пронзают их насквозь... Это повторяется и повторяется — как в страшном сне. А мы, окаменев, стоим и смотрим, не веря собственным глазам.

Но Дина приготовила ужин, садимся за стол, муж Дины художник Борис Карафелов, Александр Бисеров, Губерман с женой, мы с Лёней.

— Сегодня, — произнесла Дина, — погибло несколько тысяч людей. Это большая трагедия. Но был и еще один человек, который ушел совсем недавно в расцвете сил: Даур Зантария, абхаз. Его роман о том, как зарождается война, должен стать книгой — и она ищет своего издателя.

Я сразу вытащила фотографию Даура, всем показала, чтобы можно было воочию убедиться, какой это человецище, с сигаретой, в моем свитере с птицами.

— Мне кажется, — сказал Губерман, — что он был очень земной человек.

— Земной и небесный, — сказала я, — как Иерусалим.

(«А мое желание обнять тебя — оно земное или небесное?» — спрашивал Даур).

— То самое «Золотое колесо», которое я читал в «Знамени»?! — воскликнул Александр Викторович. — Да я с удовольствием его издам!

Так наше «Золотое колесо» перекаатилось с Дининой груди на грудь Бисерова, и уже там вольготно расположилось, поскольку Александр Викторович отвез его в Екатеринбург, и началась счастливая эпопея подготовки рукописи к изданию, сопровождаемая кровопролитными сражениями и ужасающей нервотрепкой.

Пружиной невзгод, как всегда, послужила любовь.

Редактор Евгений Зашихин с пафосным электронным адресом «сократ собака сократ», абсолютно нерабочим, из-за чего мы с ним общались обыкновенными письмецами в конвертах, — влюбился в прозу Даура и вознамерился издать полное собрание его сочинений в одной необъятной книге. Причем не в контексте московской тусовки, — писал он, — когда достоинства PR-акции сводятся в известной степени к принадлежности к некоему кругу посвященных, а имидж героя реконструируется, как производное от круга его общения, и происходит перекрестное опыление! Пусть публика

сама въедет в этажи прозы Зантария, безотносительно к тому, кто вязал свитер автору книги...

Оставим в стороне тон письма и его начало:

Уважаемая Марина Львовна!— писал мне Евгений Степанович ровным убористым почерком на кальке авторучкой Parker, одной из моделей которой еще Эйзенхауэр подписывал капитуляцию Германии в 1945 году, а генерал Макартур — капитуляцию Японии, — *спасибо, письмо ваше получил. Представьте, едва только сел за ответ, погода тотчас же испортилась: пошел дождь со снегом etc. — как, видимо, климатическая реакция на ваши комплименты моему письму по части бумаги и качествам чернил...*

Оставим, оставим, не в этом суть. С одной стороны идея Зашихина предполагала издательскую отвагу, поскольку Даур совсем незнаком был российской публике, с другой — безрассудство, по этой же причине.

Он яростно рушил мой замысел и структуру, выстраивал книгу по своему разумению и горько сожалел, что имеет дело не с самим Дауром («Эх, был бы жив Даур, мы бы с ним сели, выпили, и всё решили. А эта Москвина — с ней одно мученье...»)

Даур и впрямь на редкость был сговорчивым писателем, внимал советам и рекомендациям, бестрепетной рукою сокращал куски в романе, которые не нравились Татьяне Бек...

— Я тут гость, — говорил он. — Гость, который впервые пришел в чужой дом, он каким старается быть? Он старается быть веселым, остроумным, покладистым и рассказывает о своем крае самые замечательные вещи. И это всегда будет роднить всех нерусских писателей, пишущих по-русски вне зависимости от уровня, будь то Гоголь или я...

Единственный раз он буквально уперся рогом, когда в «Дружбе народов» готовили к публикации «Кремневый скол», и Даур написал, что один там пещерный житель заслушался, как вдали, запрокинув головы, поют динозавры.

— То ли это слово? — усомнилась редактор. — Разве они поют?

— Поют, поют, — артачился Даур. — Еще как поют!

В остальном он готов был идти навстречу. Достаточно вспомнить, что всех незнакомых женщин на улице, продавщиц в ларьке и вообще любых теток, независимо от вида и возраста, он звал просто «доченька». Исключение Даур сделал только раз на моих глазах для совершенно реликтовой, дико агрессивной матерщинницы, которая обложила его на улице по полной программе.

Ее он назвал «матушка».

Что делать, если издатель яростно требует выпустить полное собрание сочинений, втиснув в один том романы, повести, рассказы, гирлянду очерков, эссе... — радоваться или упираться?

— Смотря какую ставить цель, — глубокомысленно заметила моя мать Люся. — Чтобы в твоей книге было ВСЁ — и ее бы никто не читал? Или не всё, но читали бы все?

Вопрос был исчерпан.

Рукопись книги, продуманную до мелочей, — корпус текстов Даура, наши слова любви, буквицы, концовки, шмуцы, оригиналы рисунков Тишкова я повезла в дорожной сумке на Казанский вокзал проводнице фирменного поезда «Урал» и постояла на перроне, пока мой темно-красный поезд с желтой полосой и занавесками на окнах с гроздьями рябины не тронулся в путь, пока не исчезли вдали огни конечного вагона.

Ну вот и всё, подумала, прав был Даур: *все наши дела подхватывает ветер и уносит, так сказать, в великое пространство...*

Близилась осенняя книжная ярмарка на ВВЦ, и мы на нее успевали. В день открытия нам улыбнулась фортуна: в «Экслибрисе» — книжном приложении к «Независимой газете» вышла в свет вновь обретенная беседа Тани Бек и Даура «Огонь в очаге»!

Все, кто умел читать, читали «Экслибрис», любое упоминание, оброненное на его страницах во время ярмарки, влекло за собой успешные продажи, а тут — целая полоса с портретом Зантария в центре — и броский подзаголовок: вышел долгожданный «Колхидский странник»... Налетай!

Как о великом сюрпризе я сообщила об этом Татьяне Бек. Больше, чем этой публикации, мы радовались только самой книге. Коробки с первыми ласточками прибыли на московскую ярмарку прямо из екатеринбургской типографии «Уральский рабочий», и Лёня Тишков, отправившись первым на презентацию, уже звонил с донесением, что встретил мужика, на ходу читающего «Колхидского странника».

— А это нам знакомый человек? — спросила я осторожно.

— Абсолютно нет, — ответил Лёня.

Зал был полон.

Я обнимала и целовала всех без разбору и благодарила причастных за публикацию «Огня в очаге». Клянусь, у меня и в мыслях не было, что тут может что-то кому-то причитаться! Тут бы не грех и приплатить, только бы всё так славно сложилось, и на целый подлунный мир прогремела Танина с Дауром *рукопись*, можно сказать, *найденная в Сарагосе*.

Черт меня дернул ненароком обнаружить, что автору беседы полагалось небольшое денежное вознаграждение. Я, разумеется, не стала заморачиваться, но Таня — справедливая душа, абсолютно щедрая и бескорыстная, возмутилась не на шутку.

— Как? — удивилась она, и в ее голосе зазвучали металлические нотки. — Редактор забрала себе чужие деньги?

Я попыталась оправдать коллегу — та лила воду на нашу мельницу, оперативно, профессионально, с помпой, с исчерпывающей преамбулой (моей). Может, у нее было несчастливое детство, но она человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Вы поэт, говорила я Тане, вам достаточно взглянуть и понять, что творится в душе у редактора. Почему бы не поговорить с ней, раз вам так хочется узнать, есть ли у нее совесть.

— Вы и поговорите, — сердито ответила Таня. — Нечего прятаться, раз вы всё это затеяли, надо отвечать на вызов, который бросает вам жизнь, а не сваливать всё на другого и ждать, когда он кинется на амбразуру.

Тут же представила: я подкарауливаю редакторшу и, выйдя из кустов на узенькой дорожке, интересуюсь, будто невзначай, как получилось, что гонорар оказался у нее, и было ли это случайностью, или вообще у нее так заведено... А сама думаю: Боже сохрани задавать такие вопросы, и к чему мне прищучивать журналиста, который привлек к нашей книге столь пристальное внимание читателей?

— Вы правы, как всегда, — я стала уговаривать Таню. — Но где нам взять еще один «Экслибрис», чтоб мы и прославили Даура, и получили причитающийся вам гонорар? Да еще в день открытия ярмарки? Поймите, так сложилось, исторически, что вы такая положительная, а это, между прочим, не каждому дано. Пусть недоразумение с «Экслибрисом» будет самое ужасное в нашей жизни, и давайте не придавать значения подобным мелочам!

Всем известно, какой я незадачливый миротворец и что мне лучше молчать, чем говорить вообще, не ввязываясь ни в какие передраги... Если я решила, что Таня успокоится, услышав мои ласковые увещания, это была иллюзия. Ее гнев только пуще разгорелся. И вот уже наш газетный публикатор стоит у меня на пороге, зареванный, ее со скандалом увольняют, и всё такое прочее.

Я звоню Тане и говорю:

— Давайте зреть в корень. Бедняга остается без работы, ее обвиняют в коррупции из-за дела, которое гроша медного не стоит, и она до старости будет считать, что именно мы с вами виноваты, что ей нечем кормить малолетних детей и нетрудоспособных родителей.

На что Таня отвечала, мол, такие люди, как эта журналистка, не достойны носить свое гордое звание, и, если ее уволят за шельмовство, она многое поймет в этой жизни.

— Кстати, вы тоже хороши! — добавила. — Без разрешения отдали мою беседу в печать! А если в этом органе я, предположим, не хотела бы печататься, вдруг он... *черносотенный*, и у меня с ним категорически не совпадают воззрения?

— В таком случае прошу у вас прощения, — сказала я, потихоньку заходясь.

— Вас я прощаю, — произнесла она царственно. — А ее — нет.

— «Вы великодушны, как богиня...»

— «Я не люблю иронии твоей...»

— Мне принесли деньги из «Экслибриса», — говорю. — Я хочу их вам передать.

— Мне не нужны эти деньги.

— И что прикажете с ними делать? — спрашиваю, уже окончательно не понимая, на каком я свете.

— Отдать их сыну Даура...

Нар к тому времени уехал в Абхазию, исчезнув за линией горизонта.

А в доме художницы Лии Орловой в Москве, где долгое время жил Даур, время от времени обретался Володя-спелеолог, который тщательно исследовал подземный мир Абхазии, вдоль и поперек уже исследованный легендарным Гиви Смыром, открывшим Новоафонскую пещеру.

Добрая душа, Лия давала приют усталым путникам, странствующим трубадурам, монахам и миннезингерам.

Даур жаловался:

— Лия подселила ко мне монашенку, при ней смотреть телевизор — всё равно что прелюбодействовать...

Лия Орлова ему — уходя:

— Абхазский сепаратист, закрой за мной дверь!

— Иди-иди, — отвечал он, — клерикалка, мракобеска, обскурантистка...

Словом, молодежавый и смышленный Володя взял наши деньги и пообещал передать Нару, но просто понятия не имел, как это осуществить, поскольку вообще не вылезал из подземелья. А Нар жил в наземном городе Сухуме, что делало их встречу невозможной, как встречу парохода с паровозом.

Что же предпринимает Господь, чтобы эта встреча состоялась? Он устраивает так, что в один прекрасный день Володя выбирается на свет божий из какой-то бездонной дыры, жмурится на солнце, кругом высятся Кавказские горы, а в небе парит орел. Вдруг видит — по тропинке идет не кто иной как сам Нар Зантария!

— Саска! — окликнул его наш Володя, не веря своим глазам и вытаскивая из внутреннего кармана комбинезона конверт, истрепанный житейскими бурями. — Татьяна Александровна Бек просила тебе передать вот эту сумму денег.

— Да? — обрадовался Нар. — Большое спасибо!

После чего Володя уполз обратно, а Саска, весело насвистывая, зашагал дальше, сунув деньги в карман.

Таня была удовлетворена, мир восстановлен, а молодежавый Володя впоследствии совершил еще одну замечательную вещь — своими подземными ходами пробрался в Тамыш и сфотографировал для меня маму Даура: она смотрит горестным взглядом в объектив и большими крестьянскими руками прижимает к себе нашу книгу «Колхидский странник».

К ярмарке была напечатана первая тысяча книг, и на этой тысяче дело застопорилось. Притом что в выходных данных черным по белому прописано: тираж книги 15 000. Какая-то мистика, ей-богу. За двадцать лет я так и не поняла, что случилось.

Каждая книга Даура жила своей жизнью, передавалась из рук в руки, исчезала и появлялась в неожиданных местах, попадала к неожиданным людям, обрастая человеческой судьбой. *(Книгу нужно нюхать, каждую страницу целовать... а читать умеют все, — говорил Даур.)*

Мне это напоминало судьбы драгоценных масок японского театра Кабуки, любая из них имела свою детективную историю, из поколения в поколение владельцы передавали ее по наследству, маски таинственно похищались, по всей стране объявляли розыск и баснословное вознаграждение, маска погибала, воскресала, казалась невосполнимой утратой и снова всходила на небосводе театральной жизни.

«Колхидского странника» дарили друг другу, зачитывали в библиотеке, втридорога продавали, обменивали и отдавали за так. Наш с Лёней приятель рассказывал, что приобрел ее в Париже на Блошином рынке. Кто-то не выпускал из своей библиотеки: отчалив, она уже не вернется в гавань, ибо колхидский странник не возвращается.

Но истинный фурор книга произвела в Сухуме.

Даур Зантария по прозвищу Старик, богема и завсегдатай сухумского Парнаса «Амра» — был провозглашен великим поэтом и даже пророком, которого славил его именитые московские собратья по перу.

Даже Пётр Алешковский, тогда уже финалист премии «Русский Букер» *(Волнуюсь за Петю, — говорил Даур, — теща его на порог не пустит, если он не получит «Букера», в ракушке будет почевать!)*, а ныне-таки букеровский лауреат, впервые взяв в руки «Колхидского странника», вздохнул:

— Да-а, надо умереть, чтобы тебе выпустили такую книгу.

Однако не каждый, кто держит в руках калам, сможет написать кетаб!

В разрушенном послевоенном Сухуме такая солидная книга открывала потаенные двери, за ней выстроились в очередь неизданные «Кремневый скол», «Невермор» и неоконченный «Феохарис», эссе про Нансена с Амундсеном и другие жемчужины, вышедшие из-под пера моего друга, готовилось полное собрание сочинений в нескольких томах...

Несокрушимый воин света Циза Гумба добилаь разрешения создать писательский музей Даура.

Первым туда полетел свитер с черноголовыми птицами в зеленой траве. *(Как жаль, что я тебе не смогу дать Букеровскую премию за свитер!)* Следом светлый парижский плащ Лёни Тишкова с ананасами на шелковой подкладке, который давно нравился Дауру: в нем, говорил он мечтательно, хорошо бы прогуляться по улицам Баден-Бадена.

— Проверь, — просила я Тишкова перед отправкой в музей плаща, с которым он не без сожаления расставался, — не завалились ли в карманах записки от твоих любовниц? Теперь в этом плаще могут быть записки только от ЕГО любовниц.

— Вот ты и напиши, — Лёня отвечал. — Напиши и положи. Тогда всё будет аутентично.

В качестве печатной машинки я подумывала отправить в Абхазию пишущий агрегат Дины Рубиной, полученный ею в наследство от драматурга В.Токарева. До всяких там кино на этой вот машинке Владимир Николаевич наступал инсценировки «Щит и меч» и «Семнадцать мгновений весны». «Да и я на ней много чего нащелкала», — с грустью говорила Дина, уезжая в Израиль и обменяв этот свой увесистый черный, потертый, матерчатый чемодан неправильной формы с вычурной надписью DIPLOMAT, перепоясанный ремнем от брюк ее мужа, на мою новенькую

TREVELLER DE LUX, ибо столь драгоценный антиквариат ни за что бы не выпустили из России.

Но Лёня счел Динину машинку слишком древней, конец девятнадцатого века. Дауру же куда более подобает середина двадцатого. Поэтому мы отправили в Сухум любимую машинку моей мамы «Эрику», к тому времени моей Люси уже не было на свете.

Экспонаты подхватывал Сид, поэт, океанолог и ловец саламандр. Если он вам понадобился, вы всегда могли обнаружить его на Мадагаскаре или в Сухуме, где Сид регулярно проводил *научные литературоведческо-культурологические Зантариевские чтения...*

Всё так далеко зашло — я даже побаивалась туда ехать. Хотя меня звали, ждали и очень этим смущали. Никак я не ожидала такой всенародной любви. По случаю открытия музея, периодических юбилеев Даура, выхода его полного собрания сочинений я посылала видеоролики, где с большого экрана обращалась к участникам конференций, а заодно ко всему абхазскому народу, с возвышенными речами, а то и песней, пересыпая это забавными случаями из жизни Даура в Москве.

Лёня ставил камеру, включал мотор и...

— Друзья! — начинала я. — Само существование музея Даура на Земле — торжество величайшей справедливости и благодарности за то, что среди нас жил этот талантливый, самобытный, яркий человек. «Просто ты не знаешь абхазских мужчин, — говорил он мне. — У нас там все такие, независимо от социального положения...»

На самом деле он так формулировал: «В Абхазии любой крестьянин гораздо красноречивее любого московского интеллектуала». И добавлял: «Мариночка, ты очаровательно косноязычна!»

— ...Теперь даже не верится, — продолжала я, — что с ним просто можно было гулять по улицам, слушать его рассказы, восхищаться мудростью и витиеватыми выражениями. Я ходила за ним, как Эккерман за Иоганном Вольфгангом Гёте, записывая его изречения. У меня это был прорыв к свободе слова. После знакомства фактически с иностранцем, Дауром Зантария, мой русский словарный запас увеличился в десять раз! А он звонил мне и говорил: «Это Москвина? Как жаль, что моя фамилия не Сухумов!»

Лёня снимал меня крупным планом с большой головой, записывая послания жителю Изумрудного города от Великого и Ужасного Волшебника Гудвина, пока этого авантюриста и фокусника не разоблачили храбрая Элли и ее верный Тотошка.

Я вышла из аэропорта в Адлере и поискала глазами маршрутку. О, я недооценила абхазское гостеприимство. Сама министр культуры Абхазии Эльвира Арсали прислала за мной черную машину, самую лучшую, какая была в Республике. Учитывая волнующую близость моря, я бы назвала ее «Чайкой». Часа через полтора — с ветерком и комфортом (нас разве что не сопровождал почетный эскорт мотоциклистов!) — я оказалась на пороге музея в объятиях Цизы.

Всё было ровно так, как мы задумывали: видавший виды письменный стол, машинка «Эрика», на столе несколько страниц «Золотого колеса», лист в каретке с первыми абзацами и с эпиграфом на абхазском: «Господи, припадаю к Твоей Золотой Стопе!», начертанном от руки, чернильница для антуража, кресло, этажерка, абажур, плащ на вешалке.

Так и вижу, как Даур шагает по Баден-Бадену, ветер с моря заполаскивает полы его плаща. Не знаю, есть ли в Баден-Бадене море? Какая разница? Горы и море он мог увидеть всюду, это единственное, что ему по-настоящему принадлежало.

Вместо фотографии бабушки с дедушкой — мы с Лёней улыбаемся приветливо со стены. (Тишкова тоже звали в Сухум, но он ни в какую: «В качестве кого я туда

поеду? В качестве мужа лучшего друга их национального героя?») Черноголовые птицы с красными клювами тревожно выглядывали из травы...

А в эпицентре мы с Дауром в обнимку на фоне винтажного комода Лии Орловой, вид у меня легкомысленный и счастливый. Недаром Лия ревновала его ко мне.

— Что я вижу? — она удивлялась. — Откуда в твоём романе эти любовные телефонные разговоры Даура? Ведь он всё это мне говорил — на полном серьёзе!

— Главное не слова, — успокаивал её Лёня. — А то, что он в них вкладывал!

Тем временем Циза оповещала о моем прибытии какого-то важного господина.

— Так долго еха-ала? — тот отвечал по громкой связи. — Пешком можно было за это время несколько раз прийти!

В музей заглянула журналистка из «Вечернего Сухума».

— Встретимся завтра на *мероприятии*! — гордо сказала Циза. — Марина Москвина расскажет нам о Дауре то, о чем мы не знали!

— ...Но догадывались! — та ловко подхватила.

Позвонил Рауф, приятель Даура, неизменный участник их юношеских проделок.

— Приехала? — это он Цизе. — Ну, давай, рассказывай!

— Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала?!!

— Какие *параметры*?..

— Это у тебя *параметры*, — парировала Циза, показав красноречивый жест, которым она велит Рауфу закрыть рот, когда тот во время экскурсий по музею Даура отпускает язвительные реплики.

Всё было расставлено по местам. Не хватало двух-трех предметов: моей кофеварки — мы с ним владели ею по очереди, охотничьего ножа, подаренного Татьяной Бек:

Я тебе подарила однажды охотничий нож:
Ты на каждую вещь реагировал как на зацепку
Бытия... И как символ зелёный носил макинтош
и на кудри седые прилаживал кепку...

И зеленого пальто фабрики «Сокол», в котором, Даур подозревал, его уже никто не принимал за молодого азербайджанца, но все — за старого еврея!

Он притягивал к себе поэтов, художников и, как выяснилось, готовился быть воспетым резцом талантливого скульптора Архипа Лабахуа.

— Сейчас я вам покажу эскиз мемориальной экспозиции, — объявила Циза. — Мы в восторге от этой идеи! — И с этими словами раскинула передо мной большой лист ватмана с изображением Даура на балконе в каком-то барском халате с кистями.

В точности такой балкон и халат имел его приятель Кура по прозвищу Барчук, Даур ему страшно завидовал.

— Выйдет на свой балкон в халате! — он говорил раздраженно.

Друзья подсмеивались над Курой, что у его халата лоснящиеся бока и поредевшие кисти... Даур же — спал и видел, чтобы у него были балкон и халат. И чтобы в этом халате выходить на балкон и, покуривая, общаться с друзьями и знакомыми... Но у него не было ни того, ни другого.

— Ты провинциал, — говорил Рауф, приехавший в Сухум из Гагры, Дауру — из Тамыша.

— Нет, это ты про-вин-ци-ал, — отвечал Даур. — А я простой деревенский парень!

В один прекрасный день Даур купил-таки себе халат. Как раз он получил квартиру, балкона там не было, и халат у него быстро потерял вид. Но халат он имел, истинная правда. Так что молодой скульптор Лабахуа по прозвищу Сипа, автор культовой бронзовой фигуры пингвина с блокнотом напротив морского порта,

по заданию Цизы, а заодно, видимо, по заказу министерства культуры, вылепил полуметровую пластилиновую модель Даура в обломовском халате, вышедшего на балкон и взирающего на этот мир как бы с вершины Эрцаху.

В целом у комиссии по увековечиванию памяти Даура композиция не вызвала возражений. Но тут Барчук, известный в Сухуме телеведущий, заметил, что Сипа, как ни старался следовать исторической правде, всё же ее нарушил, ибо халат у Даура был не до пола, как у самого Барчука, а всего лишь до середины икры, и многие могут подтвердить, что из-под халата у него торчали волосатые ноги.

Тогда Сипа отказался от идеи с халатом и слепил такого благообразного старца при параде — с умиротворенной улыбкой, классика национальной абхазской литературы. Осталось это великолепие отлить в бронзе и привинтить к стенке блочной пятиэтажки, — где, пока суд да дело, красовался фотографический портрет Даура — с неразлучной сигаретой в руке, до того натуральный, что один простой человек принес и поставил ему бутылку шампанского со словами:

— Возьми, Даур, дорогой, я знаю, ты любил это дело.

Но снова вмешался злой рок в виде вездесущего Рауфа.

— Голова Даура, торс мой! — сказал он как отрезал.

И снова Сипе пришлось засучить рукава и уплотнять фигуру, поскольку в отличие от долговязого Рауфа Даур Зантария был мужчиной крепкого телосложения, но невысокого роста. То он заявлял: «Я легкоатлет, просто не могу быстро бегать». То возмущался: «Почему ты смотришь на мой нос, я боксер, у меня сломан нос, смотри мне в глаза!»

Он был корпулентный и одновременно хрупкий. Например, мы никак не могли ему выбрать рубашку в универмаге: у него объем шеи не соответствовал общему размеру и длине рукавов.

— Не смотрите, что у меня толстая шея, — сказал он продавщице. — Меня очень легко задушить.

Кстати, Даур воспринял бы на ура любой вариант, особенно где он аксакал с седой бородой, высокий, стройный, благостно взирающий на благодарных земляков. Но, как говорил Бернард Шоу, цивилизация — отличная идея, только надо, чтобы кто-то ее осуществил!

Сипа не знал Даура по молодости лет, а весь Сухум знал. Он был для них живой, взрывоопасный, счастливчик и страдалец, братуха, гений, ничего особенного, что с ним все носятся? Свой в доску и непостижимый.

Судя по пингвину на набережной, Сипа исповедовал обтекаемый стиль, а Даур — тот еще тип, с лица необщим выраженьем. Крутолобый, с массивной головой, на лбу три глубокие морщины мыслителя, над переносицей — морщина гордеца, сумрачные брови, взгляд из-под лба, глаза сверкают, будто отражают костер, видимый ему одному. Всклокоченная шевелюра. В парикмахерскую не ходил, ждал, когда я освобожусь — его постригу.

— Я оброс, — жаловался Даур, — и теперь похож на Бетховена в абхазском исполнении. Что мне делать? Идти в парикмахерскую по сравнению с твоей стрижкой — всё равно, что отправиться в публичный дом вместо родного дома. Я понимаю, ты очень занята. Это я только и делаю, что ращу себе волосы.

Потом звонил:

— Ну вот, теперь совсем другое дело. Шагаю по улице — все смотрят на меня, говорят: «Сам так себе, но прическа — п...!»

К черту подробности, пусть непохожий носом и губами (хотя неплохо бы!), но дух, верная нота, характерный жест... Как зафиксировать его изменчивый облик?

Сипа учел все пожелания, исправил недочеты, ему не терпелось уже побыстрей разделаться с Дауром. А тут Адгур явился в мастерскую посмотреть, как продвигается скульптура.

— Знаешь, — сказал он задумчиво. — Живота не хватает. Живот надо сделать покруглее.

— Аааааааааааааааа... — застонал Сипа.

Так важная комиссия по увековечиванию вконец потеряла почву под ногами.

Все ждали меня, чтобы я вынесла свой вердикт.

Я выступила в телепередаче Куры и шагала в приподнятом настроении. С набережной доносились музыка, шум прибоя, запах турецкого кофе. Люди узнавали меня, улыбались, окликали. Только ленивый не подрулил по дороге и не сказал:

— Вот ты говорила о Дауре, а я знал его, интерrrrrресный был мужик. Но СВОЕОБРРАЗНЫЙ...

Лукавые и простодушные, цыганистые, отрешенные, исполненные зловещего обаяния — навстречу мне шествовали герои «Золотого колеса». В тени раскидистой шелковицы за густой цитрусовой изгородью держали совет умудренные старец Батал и полустарец Платон, имевший в молодости пагубное пристрастие к конокрадству. Стремительно промчался мимо на велосипеде неугомонный миротворец мосе Крачковски, за ним в клубах дорожной пыли бежала говорящая дворняга Мазакуаль.

Номенклатурные работники, мудрецы, поэты божьей милостью и романтические бандиты останавливали меня на каждом шагу, рассказывая байки о Дауре, накрывали столы, наливали чачу...

— Ты нам показала Даура с какой-то другой стороны, — говорили мне, — мы ведь не знали! Он свой, наш, и вдруг оказывается, он такой у нас великий писатель...

Пятками наперед под кронами расцветающих магнолий ступала Владычица Рек и Вод.

— Все эти годы — война и всё остальное, — бормотала она, — мы совсем не говорили о любви... Ты нам напомнила о ней!

И в гуле греческого хора слышался знакомый хрипловатый голос корифея:

— ...А то мне показалось, ты меня стала забывать, Мариночка, моя золотая, хотелось как-то напомнить о себе н е н а в я з ч и в о...

«...Райские птицы летали косяками над небом Абхазии».

«А Истина, — так говорил Даур, — заключается в том... в чем она заключается!»

О любви, выборе, воле к жизни, иллюзиях и надежде

Заочный «круглый стол»

*Алексей ВАРЛАМОВ, Александр ГРИГОРЕНКО, Елена ДОЛГОПЯТ,
Илья КОЧЕРГИН, Михаил КУРАЕВ, Владимир ЛИДСКИЙ,
Александр МЕЛИХОВ, Валерия ПУСТОВАЯ, Дмитрий ШЕВАРОВ —
о своей настольной книге 2022 года*

Алексей Варламов, прозаик (г. Москва)

Находить выход в жизнь

Часто беру с полки дневники Пришвина. Хотя для меня это вроде бы уже «пройденная тема», но, правда, чтение очень полезное и утешительное. Вот человек, которому пришлось столько пережить за свою долгую жизнь, а он не дал себя ни сломить, ни скурвить, ни загнать в подполье, но вышел из всех передрыг победителем, да еще сумел об этом написать. Причем написать так, что часть была адресована современникам, а другая — потомкам. Идеальная авторская стратегия. Не жаловаться, не ныть, не отчаиваться, не озлобляться, не ставить перед собой заведомо недостижимых целей, а всегда и во всем находить выход в жизнь. Ни у кого больше так не получилось. Все так или иначе попадали в сети времени, шли в жертвы или в палачи, а этот — выскользнул.

Держался подальше от общественной и литературной жизни, много работал, много времени проводил на природе, в путешествиях, на охоте, и каждый свой день фиксировал в дневнике. Начинал обязательно с погоды, а дальше — что на душу ляжет. И что еще важно — взгляд всегда свежий, очень личный, незашоренный. С чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Но зато всегда искренне, честно, открыто.

Александр Григоренко, прозаик (г. Дивногорск, Красноярский край)

Повод задуматься

Не буквально настольной, но, видимо, главной книгой этого года назову «Россию и Европу» Николая Данилевского. Тридцать лет назад видел ее на лотке и четко помню досаду оттого, что денег не было, потом не раз читал о ней — но до самой как-то руки не доходили. И вот летом — дошли. Хотя слово это — из 60-х годов позапрошлого века, Данилевский пишет не только о том, что происходит сейчас, но и почему происходит. И почему все не может не происходить именно так. И еще такое чтение — повод задуматься о том, какой ценой приходится платить моей стране за излечение от польско-франко-германо-агло-американо- и прочих «филий» и «маний». Данилевский — пример того, что «пророческий дар» может происходить из ясности и независимости мысли.

Елена Долгопят, прозаик (г. Москва)

Две книги

В начале сентября 2022 года меня попросили написать несколько строк о книгах, которые я люблю (для книжного фестиваля «Маяк Петербурга»). Дело было спешное, писала я по памяти. Написала, отправила и решила перечитать одну из книг, «Ночные дороги» Гайто Газданова. Поняла, что написала не то. Мне почему-то запомнилось одно из наблюдений Газданова: привычный к быстрому движению взгляд таксиста успевает за миг заметить (уловить) массу подробностей. Сейчас я бы обратила внимание на другое. Ночные дороги приводили Газданова к одним и тем же людям. В судьбе этих людей он либо принимал участие, либо (или — в то же время) оказывался в роли зрителя (точнее, свидетеля) их жизни (и смерти), часто помимо воли, помимо желания. По судьбе. Как будто ночные дороги Парижа — линии судеб. Пересекающихся в замысловатом пространстве этого города.

На фестиваль в Петербург я съездила. В «Буквоеде» на Невском купила «Парижских мальчиков в сталинской Москве» Сергея Белякова. Мальчики прибыли в сталинскую Москву из того же Парижа тех же тридцатых годов. Того же, да не совсем. Тех же, но других.

Газданов упоминается в «Мальчиках» трижды.

А вот напишешь «мальчики» — и тут же вспомнишь мальчиков из «Карамазовых», как будто бы кто-то взял и развернул тебя к ним лицом; и ничего не находишь похожего с *парижскими*, кроме того, что все они — *русские*, как бы ни убеждал меня автор *парижских* в обратном. То есть автор, конечно, прав. Но и я права. Может быть, объясню, посмотрим.

Пока вернемся к русскому (конечно) Газданову, которого парижане принимали порой за чистокровного парижанина, потому что он и был парижанином; и не только благодаря безукоризненному французскому. Он понимал французов так же несомненно, как понимал русских. Он умел быть французом (парижанином), оставаясь русским. (Иногда кто-то восклицал: вы, наверное, русский! А он невозмутимо отвечал: нет, я родился в Париже, мой отец был мясником.) Париж вошел в состав его личности.

В первый раз Сергей Беляков обращается к Газданову как к свидетелю Парижской зимы. За описанием холодного парижского тумана (рассказ «Письма Иванова»).

Во второй раз — за описанием пригородов Парижа. Точнее, за описанием того, как меняется город по мере удаления от центра (это описание — чистая анимация — стены вытягиваются на наших глазах, покрываются трещинами...). Газданов пишет: «Меняется все: люди, их одежда, выражение их глаз, меняется то, как они живут, и то, о чем они думают» (рассказ «Бистро»).

И, наконец, третий раз. «Ночные дороги». За описанием вольных нравов. «Она лежала на сиденье, платье ее было поднято до пояса, и по блистательной, белой коже ее ляжки медленно двигалась вверх его красно-сизая старческая рука со вздутыми жилами и узловатыми от ревматизма пальцами». Навряд ли Мур мог видеть подобное. Другое дело, что он, не видя, дышал и этим парижским воздухом. Но и Москвой он тоже дышал. И не только потому, что хотел стать своим. Но и потому, что невозможно же не дышать.

Совпадение-несовпадение увиденного (уловленного) разными людьми в одно и то же время в одном и том же месте дает в книге Сергея Белякова что-то вроде стереоскопического эффекта. Иллюзию объема. Абсолютной полноты мира. Уже исчезнувшего. В этом мире сосуществуют — как и должно быть — Мур, Газданов, Юрий Нагибин, Марина Цветаева, соседи по коммунальной квартире, одноклассники. В этом мире едят мороженое, ходят в театр, в кино, на футбольные матчи, пишут дневники, томятся, мечтают, живут.

Вернусь к своей мысли о *русских* мальчиках.

Вот, скажем, фильм Алексея Германа «20 дней без войны» критики заслуженно называют исключительно достоверным. Однако в этом достоверном фильме показывают исключительно фальшивый тыловой спектакль о войне. Да, там и тогда, в непосредственной реальности, этот спектакль был фальшивым. Но он был. Существовал. Он такая же часть времени, как настоящая смерть на настоящей войне. И потому — как часть времени — этот спектакль абсолютно достоверен.

К чему это я?

К тому, что француз Георгий Эфрон был частью русского народа. Русского мира. Мур был *русским*. Пусть и (с его точки зрения?) несколько фальшивым русским.

Не знаю, сумела ли я объяснить. Не уверена.

«Моя судьба: во французской школе меня звали “русским”, а в СССР — “французом”» (Георгий Эфрон. Дневник № 9. 17 мая 1941 года).

Я читаю медленно. Я не могу оторваться. Мне хочется длить это головокружение, это чувство большого мира, в котором моя маленькая жизнь — всего лишь тень. Но ведь и я видела Столешников переулочек, в котором любили бывать и Мур с Митькой, и Нагибин. Правда, совсем в другие времена.

Я читаю и вспоминаю свое. И мир становится еще более странным.

*Илья Кочергин, прозаик (деревня Кривель Сапожковского района
Рязанской области)*

Настольные книги вслух

И в спокойные, размеренные времена не было такого, чтобы какая-то книга, даже самая чудесная, стала настольной для меня на целый год. А уж этот ковидно-военный год никак не назовёшь размеренным. Но удовольствием могу назвать пару книжек, которые часто и с удовольствием брал или беру сейчас в руки.

Когда-то, забрав сына на несколько лет из школы на домашнее обучение, мы читали с ним вслух то, что проходили по литературе. Это оказалось очень уютным

ритуалом в деревне, да и ребёнок гарантированно дочитывал толстые книжки до конца. Теперь сын учится в далёком университете, а мы с женой в этом году вдруг попробовали возродить чтение вслух в нашем опустевшем гнезде. И первой совместной книжкой стала бунинская «Жизнь Арсеньева». Она чудесно идёт под осеннюю темноту в окнах, сипение чайника на припечке и далёкое перебрёхивание деревенских собак.

Неважно, в который раз ты перечитываешь книгу, вслух она звучит чуть по-другому, по-новому. Во времена домашнего обучения я удивлялся, как легко выговариваются корявые толстовские фразы из «Войны и мира», а вот Бунин, с его выверенной поэтической прозой, показался на слух несколько многословен. Насколько его проза очаровывает и кажется невесомой, когда её не нужно произносить вслух, когда глаз легко скользит по строчкам, воображение не спеша развёртывает картинки, и в создание образов не вмешивается речь! Теперь я представляю, что, вероятно, Иван Алексеевич читал про себя очень быстро и писал тоже в расчёте на быстрое чтение.

Однако он на много вечеров стал нашей настольной книгой. И было приятно ждать вечера. Это, наверное, как совместное уютное сидение перед телевизором, только вместо экрана напротив тебя — лицо любимого человека, а на столе — любимая книга. Да и телевизора у нас нет уже четверть века.

Потом были и другие совместные книги по вечерам, но с Бунина в этом году всё началось, поэтому он был важным.

Вторая книга этого года, о которой хочется упомянуть, ещё не дочитана. И я бы не стал читать её по вечерам, хотя она так же является нашим совместным чтением. Напротив, она хороша с утра. Это сборник «Поэзия: новые имена», который составила Ольга Юрьевна Ермолаева и выпустил Филатовский фонд СЭИП. Я привёз её с Форума молодых писателей в Липках, где вёл семинар прозы.

Непьющему человеку, имеющему в Москве квартиру, жить в деревне очень хорошо, особенно когда часов за шесть-восемь при необходимости можно добраться до столицы. Но за последние десять лет я совершенно ясно ощутил, чего остро не хватает среди природы, в самом конце тихой улицы, вытянувшейся вдоль ручейка Кривелька. Не хватает людей, которые бы читали вслух стихи. И этот дефицит, оказалось, можно очень легко исправить — нужно всего лишь самому читать их вслух. Я даже начал одно время читать нашему старому коню Фене, который, как я понял, ценит прежде всего долготу стихов. Короткие ему нравятся гораздо меньше, и он нетерпеливо покусывает меня за плечо во время пауз, когда я подыскиваю в памяти следующее стихотворение. Лучше всего у нас с ним шла «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, он низко опускал голову, закрывал глаза, как истинный ценитель, и замирал.

Но на память из «Гайаваты» я знаю только вступление и ещё полторы главы, а идти к нему в катух с книжкой, особенно в холодное время года, не хочется. И я стал читать стихи жене по утрам, за чаем. А тут и этот сборник попался.

И не важно — понравятся ли тебе и твоей жене прочитанные с утра стихи или не очень. Это новая поэзия, и все стихи в этом сборнике — новые для меня.

Если читать именно с утра, если это первое, что ты читаешь и слушаешь, встав с кровати, то весь день проходит совершенно по-другому. Ты можешь заниматься самой отупляющей работой, ковыряя лопатой глину на дне ямы под канализацию или утепляя новую пристройку минеральной ватой, от которой начинают чесаться сначала руки, а потом всё, до чего ты дотронулся этими руками. Ты можешь даже вообще ничем не заниматься, а погрузиться в деревенский вид медитации, замерев где-нибудь посередине двора и вроде как задумчиво, но без единой мысли уставившись на горизонт или на дырявое ведро у забора. Это неважно. Время, размышления, бубнилка себе под нос во время работы, дикие травы, окружающие наш участок, птичьи звуки, далекие поля — всё будет таинственным образом ритмизировано. Всё будет казаться свежее, значительнее и удивительнее. Всему этому гораздо легче радоваться, несмотря на всякие невесёлые мысли.

Михаил Кураев, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Настольная книга

Одной из долгожительниц на моем так называемом *читательском столе* была «Курочка Ряба». Я даже возил книжицу в машине, одно её присутствие в дверном «кармане» у водительского сиденья вытягивало из однообразного безмыслия дороги и даже повседневности. Вот и на встречах с читателями, особенно молодыми, в первую очередь, школьниками, я просил помочь мне понять, о чем эта сказка, сюжет которой был знаком каждому.

Как правило, фольклорная дидактика бесхитростна. Благородный и бескорыстный получает в невесты царевну и полцарства. Происки лицемерия и тщеславия, жадности и жестокости приводят не терпящих соперничества цариц и притворно обещающих счастья для всех поварих и ткачих или зловредных мачехиных дочек к полному краху. Мечта о торжестве справедливости питает фольклор едва ли не столь же настоятельно, как и религия, разве что только с воздаянием, вознаграждением на этом свете.

А «Курочка Ряба» — это о чем?

Но сначала — эта сказка изящна, в ней ритм стихотворения в прозе, не позволяющий даже подвинуть и переставить слова. И прежде чем погружаться в смысл, этим перлом русской словесности можно просто любоваться, как любимым кристаллом, не думая о его составе и назначении.

Теперь о героине. Со всей очевидностью, имя Ряба подчеркивает заурядность, обыкновенность домашней курочки, но только, как оказалось, таящую в себе возможность чуда. Вот уж не Жар-птица, не Царевна-Лебедь, не Финист Ясный Сокол. А поди же! Емкая по смыслу подробность.

Но по прочтении возникают вопросы.

Почему золотое яичко нужно было непременно разбить? Вот где, скажем так, причина грядущей печали и слёз! Яйцо необыкновенное, чудо, а как обращаться с подарками судьбы, мы чаще всего не знаем. Вот и Дед с Бабой пошли торной дорогой, попросту разбить!

Почему усилия Деда и Бабы оказались напрасны, а взмаха мышинового хвостика оказалось достаточно, чтобы «яичко упало и разбилось»?

Если разбить яйцо хотели и Дед, и Баба, почему же они плачут, увидев разбитое яйцо?

А смысл этой странной истории, скорее всего, в утешении («не плачь Дед, не плачь Баба»), в обещании курочки Рябы снести яичко не золотое, а простое.

Это совершенно неожиданный выход из сказки. Возвращение в реальность? Отрезвление.

Может быть, это и не единственная сказка, где отказ от мечты венчает историю, но другой такой что-то припомнить не могу.

Но где же здесь «добрым молодцам урок»?

Тут впору идти к Гегелю и спрашивать Георга Вильгельмовича: правда ли, что двойное отрицание становится положительным утверждением? А вроде бы как все и сходится: бесплодны усилия Деда и Бабы — первое отрицание реальности. Роковой мышиный хвостик — второе отрицание реальности. И утешительное обещание курочки Рябы — возвращение в реальность. Но не Гегель же сочинил эту сказку!

Есть над чем подумать.

Уже давно у меня случился роман с внучкой моего друга. Она выбрала из своего окружения меня для чтения сказок. Было ей года три-четыре. «Курочка Ряба» была у нас в фаворе. Однажды я стал рассказывать: «Жил был Дед и жила была Баба...» —

как тут же услышал протест: «Читай!» Вот так! Моя госпожа и повелительница, впоследствии балерина, не хотела слушать байки, каким-то необъяснимым чувством она ощущала серьезность случившейся истории и требовала подтверждения авторитетом книги. Дед красавицы был писателем, и в доме было много книг.

Не менее долго мне служил *настойной книгой* роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Вozил с собой компактное школьное издание в электричке, за рулем не полистаешь. И снова загадка. Почему автор, семь лет писавший это сочинение, вдруг не то чтобы бросил его писать, а, как бы дойдя до какой-то для него важной точки, почувствовал (осознал?!) работу завершенной.

«Магический кристалл» вдруг явил прозрачный и сокровенный смысл?

В романе завершение сюжета — неперенное условие. В XVIII да и в XIX веке история героев или тех, кто остался у автора в живых, уже попросту досказывается. А дописанное словно по инерции многолетнего труда так называемое «Путешествие Онегина» не включено в первое издание по причинам, важным для автора, «а не для публики», как свидетельствует в примечаниях сам Пушкин.

Стало быть, роман закончен там, где сам автор счел необходимым поставить точку и даже написать слово «Конец».

А что ж сюжет?

Да он оборван на полуслове. Загрели шпоры и вошел муж... Во всех анекдотах это последний поворот ключа, открывающий смысл преподнесенной истории.

А у Пушкина? Онегин в неурочный час («чуть свет»!) у чужой жены, она в слезах, «не убрана, бледна»... входит муж, давний приятель Онегина, «важный генерал», изувеченный в сражениях, стало быть, не робкого десятка... И что же дальше? А ничего!

«Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел её романа,
И вдруг сумел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим».

Что же это за блаженство — покидать праздник жизни рано? Да еще и *вдруг*?

Вот таким замковым камнем завершает автор купол, свод, вобравший такое обилие и разнообразие жизненных картин, необычайной яркости лиц, множество бесценных суждений и наблюдений, не случайно позволивших пронизательному критику назвать «Онегина» энциклопедией русской жизни.

Но как же — Онегин, Татьяна, муж?.. Они уже стали нам так близки, они уже вошли в нашу жизнь и образом, и цитатами, только автору и дела мало, расстался *вдруг*, на полуслове, и с ними, и с нами, и баста!

В таком случае есть все основания считать завершающую строфу едва ли не ключом к ответу на вопрос существенный для автора, впрочем, как и для публики.

Не будучи ни пушкинистом, ни литературоведом, не могу с уверенностью сказать, существуют ли комментарии к «оборванному» сюжету романа. Но я всего лишь — внимательный читатель. И вот, воображая, что получил от автора в конце романа ключ к ответу, быть может, на самый главный вопрос: о чем роман? Понимаю определенную наивность вопроса «О чем роман?», но пробую найти ответ, пусть и со множеством оговорок.

Итак, с чего начинается роман? Со смерти. Герой, «молодой повеса», не из богатых, раз скачет «в пыли на почтовых» к умирающему дяде...

Смерть присутствует в романе как неперенная составляющая жизненного цикла. Присутствует не в трагических тонах, скорее, эпических. А в печальной истории Ленского, скорее, в интонации грустно-элегической.

И вот — завершение: «Блажен, кто праздник жизни рано оставил...»

Не та ли это вершина, на которую поднялся, наконец, автор и, обозрев свой труд, выдохнул: путь окончен!

Жизнь и смерть едины? Как это понять? И снова философия подсказывает, адресуя к одному из самых трудных законов диалектики: *единства и борьбы противоположностей*. Если с *борьбой* еще все более-менее понятно, то *единство* противоположностей постигнуть куда как трудно. И здесь в собеседники приходит Пушкин с его романом в стихах «Евгений Онегин». И собеседование наше длится, длится и длится...

Настольная книга — это вовсе не та, что дежурит на рабочем столе, это для меня надежный спутник, к которому питаю любовь и доверие, к чьей помощи могу прибегнуть в трудную минуту. А трудные минуты — они же разные. Вдруг почувствовал, что пишешь по-газетному. Стоп! Зови на помощь Аввакума. Читай в десятый раз, смотри и слушай, как можно по-русски писать и говорить. Нет, не в образец, не для подражания, да и как ему подражать, его-то *просторечию*, а в урок, для собственного отрезвления.

Почувствовал свое косноязычие, иди к Чехову, бери письма... Не он ли умел о самых сложных вещах говорить просто и ясно?

А еще один из долгожителей, скажем так, на письменном столе — это томик «Неизданных писем» незабвенного Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина издательства Academia. Эксцентричное название книги «неизданных» писем, наверное, было бы удостоено Щедриным жесткой насмешки.

А еще есть Герцен, есть Лев Толстой с его «Дневниками» и есть Лоренс Стерн, в любви к которому сходились наши великие, даже не испытывавшие порой приязни друг к другу.

Никогда не думал, что значит для меня «настольная книга». Скорее всего, это средство выйти из навязчивой повседневности.

Это только Пушкин мог сказать: «Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже и почти так, как пишет г. **».

Пушкин утаил имя «худо пишущего», уж не Гоголь ли?

А можно ли у классиков чему-то научиться? Можно. Чему? Писать неправильно. То есть — свободно, по чувству, а не по лекалу. А еще и трезвому взгляду на свою работу.

Естественно, актуальная ситуация, тем более нынешняя военно-политическая реальность вносят, не могут не вносить коррективы в круг чтения.

Еще в январе я обратил внимание на то, что в нынешнем году 9-е число опять выпало на воскресенье. Но даже это совпадение не послужило поводом для того, чтобы вспомнить событие, послужившее началом Первой русской революции.

Пошел по нашему гражданскому календарю дальше и увидел забытые, а то и не случайно выкинутые даты. Так появилась серия статей под общим названием «Кому не нужна наша история?», опубликованная в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Литературной газете» и журнале «Нева». «Битва за историю» предшествует, как мы можем воочию убедиться, сражениям иного рода. И, кто знает, не фундамент ли победы в «сражениях иного рода» заложен в битве за историю? Так на столе появились тома С.Соловьёва, В.Ключевского, исторические штудии Пушкина, Льва Толстого... Заглядываю и в Карлайля, и в Ле Февра... В подсказчиках даже Тацит — свидетель многих войн заметил, что вместо правдивого описания хода войны описываются отдельные героические свершения... СМИ на все времена!

Историей легко манипулировать, но это, да простят мне коллеги, журналистика, «литература» на потребу дня, творчество отдела *пропаганды и агитации*. И здесь множество профессионалов трудятся не покладая рук во множестве жанров.

Но что-то должно противостоять «бульварно-эстрадной историографии», то отмывающей «черного кобеля», то многосерийно развлекающей досужую публику сказками про Петра Третьего или Павла Первого, сочиненными их убийцами.

Ну что ж, у каждого, как говорится, свой хлеб.

Кому-то все еще интересна и важна история во всей возможной её полноте, противоречивости и сложности. Только в осознании нашего дальнего и ближнего прошлого мы можем прийти к пониманию того — кто мы, к пониманию своего места и пути в мире. (Мысль не новая, но и никак не устаревшая.) Именно поэтому в гражданском календаре должны быть: 12 марта 1801 года, 14 декабря 1825 года, 19 февраля 1861 года, 1 марта 1881 года, 3 апреля 1881 года, 20 мая 1887 года, 9 января 1905 года, — и это только из списка социально-политических событий исторической важности. А еще в этом году, к примеру, исполнилось 340 лет со дня казни великого русского писателя Аввакума Петрова, чье «Житие, рассказанное им самим» — веха необычайной важности в отечественной культуре, в нашей литературе, да и в истории мировой реалистической прозы. Напомнил в «Литературной газете»...

Пожалуй, не было у нас времени, более благоприятного для открытия, именно открытия, повторюсь, во всей возможной полноте нашей истории.

Мы видим, как шумно и даже вполне эффективно трудятся те, кто хотел бы, чтобы мы стыдились своей истории. Не отсюда ли и «чистка» календаря? И в этом противостоянии нам снова опорой и надежным спутником — Александр Сергеевич Пушкин. Вот его ответ Чаадаеву, человеку близкому, с чьим мнением он считался: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал!»

Это слова гражданина, принимающего на себя груз истории своей страны с чувством ответственности перед нашими предками и потомками.

Владимир Лидский, прозаик (г. Бишкек, Кыргызстан)

Вечное

Люблю время от времени возвращаться к классикам, всякий раз открывая в их текстах незамеченные ранее смыслы. Каждые пять-шесть лет заново и словно впервые читаю «Повести Белкина», «Господа Головлёвы», «Бесы» или «Мёртвые души». Подобные книги бездонны, и черпать из этих вечных колодцев можно всю жизнь — вода в них всегда будет разной на вкус. Это общее место и банальный вывод, но лично я действительно время от времени обращаюсь к русской литературе позапрошлого века, потому что классические тексты всегда актуальны, а главное — их интересно читать, они увлекательны, динамичны и, как правило, имеют в своих сюжетах нечто гипнотическое, нечто такое, от чего трудно оторваться.

В этом году книгами, которые меня опять заворожили, были книги Гоголя. И это, конечно, не одна настольная книга или один текст, который полюбился так, что к нему хотелось возвращаться весь год. Читалось что-то новое, современное, премиальное, но это «что-то» проходило мимо, не особо задевая и плохо запоминаясь. На моём столе весь год было собрание сочинений любимого писателя.

Гоголевских собраний в нашей семейной библиотеке — два, одно 1950 года, другое — 1959-го, оба издательства «Художественная литература». Они похожи, оба с отличными примечаниями, с удобным справочным аппаратом, только в более раннем издании есть критико-биографический очерк известного советского литературоведа Н.Л.Степанова. Много лет назад я прочёл этот очерк с немалым интересом, а сейчас понимаю его субъективность и не могу принять односторонние суждения автора. Это понятно, гоголевское собрание вышло за три года до смерти Сталина, поэтому сопровождающие материалы должны были выглядеть тогда идеологически правильными и содержать цитаты из классиков марксизма-ленинизма.

Однако сам Гоголь в этих изданиях не тронут. Слава Богу, советская власть относилась к моему любимому писателю вполне лояльно. Правда, его считали сатириком, бичевателем пороков самодержавия и крепостничества. Отчасти это так, но в моём понимании Гоголь — прежде всего гуманист. И вершиной его творчества считаю я вовсе не великую, разумеется, поэму «Мёртвые души», а небольшую повесть «Шинель», в которой столько любви и сострадания к человеку, что, казалось бы, этой любви и этого сострадания хватило бы на целый мир. Оно, впрочем, так и есть, — огромная душа Гоголя хотела обнять всех, утишить боль и страдания человечества, сделать людское общежитие добрее и терпимее. В этом автор «Шинели» близок Достоевскому, но Достоевский — жестокий описатель крайностей и безжалостный препаратор пороков.

Люблю гоголевские сюжеты, непредсказуемые в первом чтении, в особенности его романтические, мистические малороссийские повести. Увлёкшись в юности этими повестями, стал читать я и вообще романтическую фантастику волшебного девятнадцатого века: Марлинского, Сомова, Одоевского, Погорельского. Да ведь и Пушкин с его «Гробовщиком» в том же ряду! Но Гоголь — это, конечно, отдельная песня. Нет смысла перечислять названия его повестей, они у всех на слуху. Вспомню только «Старосветских помещиков», которые не только в ушедшем году, но и во всю жизнь были у меня настольною книгою. Чего только не приписывали «Старосветским помещикам» и их автору! Читывал я когда-то, что повесть сия есть апология мещанства и пошлости, гимн уютной, но бессодержательной жизни, что герои повести — пустые, никчёмные люди, бесполезные для общества, бесплодно прозябающие в своём душном мирке. Как же так? — думал я, перечитывая в очередной раз «Старосветских помещиков», ведь это пронзительная история о большой любви, о нежности, о заботе. Как может любовь под пером записных литературоведов превращаться в якобы обличительную историю о затхлом мещанском бытии? Нет, это чудесная, хотя и грустная повесть, и для меня всегда будет она литературным эталоном. Как и «Шинель», как «Тарас Бульба», как «Мёртвые души».

Читаешь Гоголя и вроде всё знаешь наперёд — помнишь героев, помнишь эти сюжетные извороты, этот изумительный, ни на что не похожий язык, а всё равно ж увлекает так, что не оторваться, и уже торопишь день, погоняешь ночь — скорей бы, скорей бы дочитать. А потом и жалеешь — эх, дочитал! Ещё бы что-то прочесть. Да так и бежишь к новой книжке. И ведь это не только повести, а и письма, статьи, заметки. Гоголь! Неисчерпаемый писатель, которого будут любить столетия вперёд. А у меня он навсегда останется настольною книгой... сколько раз доведётся мне ещё читать его? Видно, уж немного... да и за чертой, пожалуй, будут со мной эти простые, но такие сложные тексты.

Александр Мелихов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Облагораживающая сила романтики

Нам книга строить и жить помогает. Но построить и прожить можно и без нее, только в тысячу раз скучнее. Пока не начнется эстетический авитаминоз, с которым тщетно пытаются бороться психоактивными препаратами. Однако лечит его только поэзия. И лично для меня, если в прозе нет поэзии, то это не проза.

Где-то ее больше, где-то меньше, но самую высокую ее концентрацию я нахожу у Паустовского. И когда жизнь начинает мне казаться скучной, обыкновенной, не заслуживающей восхищенного внимания, я отправляюсь подышать поэзией почти в любую его вещь.

Я преклоняюсь перед Толстым, но Паустовского люблю как даже и не старшего, а в чем-то младшего друга.

К его «Романтикам» и «Блистающим облакам» я отношусь с некоторой растроганной снисходительностью как взрослый человек к мальчишеским фантазиям: не зря даже не самые злые языки называли раннего Паустовского эпигоном Александра Грина — еще и расцвеченного всяческими красотами.

А вот у «Кара-Бугаза» и «Колхиды» при всей их соцреалистической производственной романтике (добыча глауберовой соли, осушение болот), временами граничащей с пресловутой лакировкой действительности, нам (и мне первому) очень бы даже не помешало поднабраться паустовской убежденности, что труд и преданность своему делу — делу, а не бизнесу! — могут быть гораздо более романтичными, чем самая заморская экзотика.

О пристрастии молодого Паустовского к экзотике в начале двадцатых с любовной насмешкой писал Бабель: Паустовский-де трогательно притворяется, что он в тропиках. И Паустовский незадолго до смерти в своей статье «Несколько отрывочных мыслей», которую можно считать его литературным завещанием, посчитал нужным еще раз сказать об ошибочности отождествления романтики и экзотики: «Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее романтическими соками. Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики, и никогда от нее не уйду — от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее покоя».

Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключается облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обычной трудовой жизни».

Как всякая общая формула, завет Паустовского допускает и непредвиденные, даже отвратительные автору толкования: так, например, фашизм, попытка несложной части подчинить себе многосложное целое, умел преотлично романтизировать жестокость, — романтизм Паустовского лучше всего раскрывается не в декларациях, а в его творчестве. В мире Паустовского полнокровны и любимы только созидатели и утешители, в нем почти нет борцов. А когда они изредка появляются, как, например, бесконечно идеализируемый им (уж не знаю, насколько основательно) лейтенант Шмидт, — то и в его личности Паустовского влечет прежде всего не готовность к убийству. А готовность к самопожертвованию.

Среди его героев — Левитан, Кипренский, Шевченко, Андерсен, Григ, Багрицкий, Бабель, Шарль де Костер, Лермонтов, Гоголь, Эдгар По, Пушкин, Мопассан... Он воспел их с такой нежностью и поэтичностью (хотя порою и сентиментальной), что в тысячах и тысячах юных душ пробудил любовь к этим творцам. Но воспевать тех,

кто уже и без того многожды воспет и превознесен историей, все-таки гораздо легче, чем отыскать поэзию в жизни людей незаметных. И он их любил и романтизировал как, пожалуй, больше никто: «Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных — о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях — своих закадычных друзьях».

И все они романтики, все они поэты. Романтиков и поэтов Паустовский находит всюду, в какое бы захолустье ни занесла его судьба.

Разумеется, скучный рационалист, воображающий, что физические ощущения для человека неизмеримо важнее, чем душевные переживания (хотя на деле все обстоит ровно наоборот), не увидит ничего любопытного в тех людях, каждому из которых Паустовский готов посвятить особое стихотворение в прозе. И, может быть, еще и выскажется в том духе, что если даже в романтизме и заключается облагораживающая сила, то плодами этой силы чаще пользуется не сам романтик, но в основном те, с кем ему приходится сталкиваться. «А что я, лично я буду иметь с романтики?» — спросит рационалист, и Паустовский ответит ему своей жизнью.

Вернее, «Повестью о жизни», ибо никакие события и предметы не бывают прекрасными — прекрасными бывают только рассказы о событиях и предметах. В «Повесть о жизни» можно погружаться бесконечно — и каждый раз выходить с просветленным и обновленным зрением и слухом: да, жизнь ужасна — и как же все-таки упоительна!

Романтический отец, из-за таинственной роковой любви ввергнувший семейство в нищету, мучительный труд репетитора, санитарный поезд Первой мировой, революция в Москве, пара минут у стенки, бегство в Киев, мобилизация в армию гетмана Скоропадского, Одесса в соседстве с Гражданской войной и первым литературным сообществом — Ильф, Бабель, Багрицкий, — затем Сухум, Батум, Тифлис, — постоянный голод и опасности, — порождающие у читателя лишь острую зависть: повезло же человеку такое испытать и повидать!

Вот это он и поимел с романтики — упоительную жизнь, наполненную красотой.

А нам оставил драгоценный урок: поэзия всегда лежит под ногами — только взглянуть и нагнуться.

И, когда я начинаю забывать этот урок, я всегда открываю Паустовского.

Валерия Пустовая, литературный критик (г. Москва)

Книга честного человека

Минувший год начался у меня с аудиокниги Эдит Евы Эгер «Выбор». Книга вышла в издательстве «МИФ», после я купила там и «Дар» того же автора, но с ним не сложилось, пока не дочитала. В «Даре» Эгер уже в большей степени консультирующий читателя психолог. А в «Выборе» — ещё, можно сказать, никто: девочка, отставленная от хобби — ходила в студию балета — за национальность, подросток, кающийся, что на распределении в лагере смерти не выдала за сестру свою обреченную мать. Девочка Эдит в «Выборе» — никто в самом прямом, ничтожном смысле — и самом героическом. Никто — герой двадцатого века, а теперь и двадцать первого. Песчинка, перекачиваемая историей. Могла сгинуть бесследно — но выжила и сама проследила свой путь. Это действительно настольная книга для времени перегрузок и катастроф, исторических и личных. Книга частного человека, который не пытается быть ни спасателем, ни стратегом — и злится, если его считают жертвой.

Документальный роман, захватывающий воображение, будто намеренно сочиненная авантюра. Исповедь обречённой, которая переигрывает судьбу. Семейный роман, в котором нет будущего, пока не разобрался с прошлым. «Если сегодня выживу — завтра стану свободной», — твердит себе автогероиня, пронесшая через лагерь смерти, повседневную отбраковку, голодное истощение — свою волю жить и выбирать.

Роман доказывает на опыте, что в самой отчаянной ситуации есть выбор. Но покоряет не это. А чувство опоры на себя, свои ценности, которые не позволяют героине застрять в колебаниях.

Выбор есть тогда, когда выбора нет. Нет выбора, сбежать ли одной или вернуться за сестрой. Нет выбора, стащить ли морковь, рискуя попасть под расправу. Нет выбора, бросить ли ради эмиграции мужа, которого только что спасла из репрессивной машины. Нет выбора, заговорить ли, наконец, о своем прошлом. Читателю судить, права ли Эгер: сама она опирается не на представления о правильном — ее ведёт чутье, где жизнь, она как воду чувствует. Я черпаю из ее колодца весь год, переливая в себя заемную, вычитанную в книге убежденность, что упасть духом успею всегда. А торопиться надо с делами жизни.

Дмитрий Шеваров, прозаик (г. Москва)

Ноев ковчег семьи

Бывают книги со странной, запутанной судьбой. Они и в руки-то попадают нам в какой-то особенный момент. А до этого где-то прячутся.

Впрочем, книга о которой я хочу рассказать, вовсе не пряталась. Скорее, я от нее прятался. А она тридцать три года стояла у меня на полке. На обложке даже имени автора нет. Только название: «Семья». Бумага пожелтела, мягкая обложка пообтрепалась, и однажды я отвез книжку в деревню.

Нынче летом заглянул в нее и пропал: три дня читал, не в силах оторваться.

История романа «Семья» началась в 1939 году в Америке. Издательство Little, Brown and Company получило рукопись никому неизвестной Нины Фёдоровой. Роман был написан на превосходном английском языке и рассказывал о совсем тогда недавних событиях: оккупации Китая японскими войсками в 1937 году. Но столкновение Японии с Китаем — лишь фон повествования. О войне можно было и в газетах прочитать.

Суть романа, его солнечное сплетение — в самом названии: «Семья». Семья русских беженцев, заброшенная смутой в чужую страну, в китайский Тяньцзинь. Лишенная кормильцев (дед погиб в Первую мировую, сыновья — в Гражданскую), без всякой надежды вернуться на родину или перебраться в более благополучную страну — семья становится ноевым ковчегом. Этот беззащитный ковчег плывет сквозь бури, подбирая по пути всех тонущих: обездоленных соотечественников, нищих китайцев, впавших в депрессию англичан. Всем находитесь угол и кусок хлеба. Еще вчера чужие друг другу люди становятся родными.

Быть может, это самое большое чудо на свете: родство, возникающее из капли любви. Родство, соединяющее людей, обреченных, казалось бы, на вечное разделение по политическим взглядам, национальностям, языкам...

И как вершина этого чуда — наше читательское родство с героями романа.

Сопереживать всему, что с ними происходит, перелистывать их дни как собственные, следить за трудным плаванием этого пестрого ковчега, — какое-то

забытое счастье. Что-то подобное я переживал, лишь читая семейные главы «Войны и мира».

Вернусь к истории публикации романа. В 1940 году он вышел в свет и попал в десятку самых популярных в США книг. «Семья» получила литературную премию, роман перевели на двенадцать языков. Русского среди них не было.

Только в 1952 году Нина Фёдорова перевела свой роман на родной язык и эмигрантское Издательство имени Чехова выпустило русское издание «Семьи». Тираж был раскуплен с небывалой быстротой.

В Советском Союзе о Нине Фёдоровой и ее романе никто не слышал вплоть до конца 1960-х. Слух о замечательной книге привез из-за границы молодой филолог-шекспировед Дмитрий Урнов. В Америку он попал в компании трех в серых яблоках рысаков. Как опытный спортсмен-конник он сопровождал лошадей в качестве кучера. Рысаков в СССР купил канадский миллиардер Сайрус Итон, который тогда боролся за мир и даже получил за свою борьбу Ленинскую премию. Так вот, Дмитрию Урнову и ветеринарному врачу Московского ипподрома и было поручено доставить рысаков за океан.

После долгого плавания на грузовом пароходе прибыли в Монреаль. Тамк Урнову обратился за интервью корреспондент канадского радио. Корреспондентом оказался князь Ливен, в московском доме которого родился и жил Дмитрий. После беседы о лошадях и роли фантастических совпадений в жизни человека, Урнов спросил князя: «Скажите, какая, с вашей точки зрения, самая лучшая книга, написанная русским о русских за рубежом?»

— Только не просите у меня эту книгу. Она была издана довольно давно, и ее трудно достать. Это «Семья», роман Нины Фёдоровой.

Дмитрий Урнов бросился искать книгу, но нашел ее только через несколько лет в русском отделе библиотеки Стокгольмского университета. Заказал ксерокопию, прочитал ночью в гостинице и навсегда влюбился в «Семью». Вернувшись в Советский Союз, стал ходить по издательствам: нельзя ли издать? Ведь правда, хорошая книга?..

«Возражений не было, — рассказывал Дмитрий Михайлович Урнов, — но и желания издать тоже. Читают. Плачут. Хвалят. И в итоге качают головой: "Нет, печатать это у нас невозможно". Нельзя и всё. Почему же нельзя? В книге нет ни малейшей бестактности по отношению к советской власти. Нет монархических и каких-нибудь других реакционных идей. Ясно, что это очень здоровая, нормальная, человеческая книга. А все-таки — нет, нельзя. Напомню, это было самое начало семидесятых годов. В воздухе было разлито это "нельзя", столь же непреодолимое, сколь и неопределенное...»

Пока Советский Союз неуклонно, как ледник, двигался от «ничего нельзя» к «всё можно», Дмитрий Михайлович разыскал в Америке автора «Семьи». Оказалось, что Нина Фёдорова — псевдоним Антонины Фёдоровны Рязановской, в девичестве Подгориной. Писательница родилась в Полтавской губернии в 1895 году. Выйдя замуж, жила в Харбине. В середине 1930-х переехала в США. Преподавала русский язык. В 1979 году Урнову удалось поговорить с Антониной Фёдоровной по телефону. Встретиться им не удалось.

Антонина Фёдоровна умерла, так и не узнав, что ее роман издан на родине. «Семья» появилась в «Роман-газете для юношества» в 1989 году — конечно же, благодаря Дмитрию Урнову, который заключил книгу своим превосходным послесловием.

В 1991 году Дмитрий Михайлович эмигрировал в США. 20 апреля минувшего года он скончался в одной из калифорнийских клиник.

Ольга Балла

Сове Минервы пора вылетать

Общая тема трёх вышедших почти одновременно книг издательства «Новое литературное обозрение» (сама по себе вполне неисчерпаемая) — рефлексия советского опыта, осмысление того, как, при помощи каких средств создавались специфически-советская разновидность человека, присущее этому человеку восприятие себя и мира, свойственные ему модели поведения и что из этого вышло (спойлер: усилия оказались плодотворными — вышло очень многое). Будучи сведены вместе, три эти книги дают почти стереоскопическое в своей полноте изображение: в первой из них, в читательской автобиографии Натальи Русовой, рассказ о таком формировании — честный, аналитичный — ведётся изнутри, как повествование о собственной жизни и истоках собственных смыслов, в двух других — скорее, извне: в смысле не столько фактической биографии авторов (о которых нам как раз мало что известно), сколько занятой ими позиции: Алексей Голубев и Леонид Фишман анализируют советское с дистанции, не отождествляясь с ним. И если первые две книги говорят об истоках (поздне)советского человека, об образующих его силах, то третья, Леонида Фишмана, — о том, что случилось с советским человеком, когда воспитавшая его, понятная ему эпоха кончилась: как он справился с этим.

Наталья РУСОВА. Книги, годы, жизнь: Автобиография советского читателя. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 296 с. — (Россия в мемуарах)

Вспоминая собственную жизнь через историю чтения, через главные книги, читавшиеся на разных биографических этапах, через смену читательских пристрастий, профессор кафедры русского языка Нижегородского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук Наталья Русова восстанавливает таким образом смысловую и эмоциональную историю целого поколения, а то и не одного. Прежде всего, конечно, своих ровесников — родившихся в конце сороковых, переживавших юность в шестидесятых; но книги и авторы, на каждом из этапов становления личности мемуаристки направлявшие это становление, оказываются во многом теми же, которые читали, становясь собой, люди следующего поколения, рождённого спустя двадцать лет (тут я уже могу судить изнутри, по собственному и своих ровесников опыту: действительно, многое совпадает — прежде всего потому, что мы шли по путям родителей, ценностные установки с которыми у нас ещё не расходились — культурный разлом случился позже. Знаковые книги и авторы совпадают едва ли не на каждом шагу: Жюль Верн в детстве — Роже Мартен дю Гар в отрочестве — Юрий Трифонов и Михаил Булгаков с «Мастером и Маргаритой» в юности... Совпадают даже «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга, ставшие открытием не только

для Натальи Русовой, назвавшей свою книгу в честь эренбургских воспоминаний, но и для всего поколения её ровесников и именно в этом качестве взятые в своё время мною с родительской полки). У поколения, следующего за нами, — родившихся в восьмидесятых, по всей вероятности, книжные стимулы взросления были уже другими. Во всяком случае, читательский маршрут автора выглядит настолько характерным для времени, что, основываясь на нём, можно, кажется, отваживаться на некоторые обобщения относительно читательских практик, ожиданий, потребностей людей общего с нею культурного пласта вообще.

Позиция в отношении собственного читательского прошлого у Русовой, пожалуй, самая правильная из возможных: одновременно, неразделимо — критичность и благодарность (так, автор честно признаётся в том, что и ей, и её сверстникам было свойственно «преувеличенное и нерассуждающее» преклонение перед запретными и отверженными авторами — и недоценка признанных, а уж тем более «обласканных» советской властью. О, как узнаваемо и это). Ни одна из них не отменяет другой и не спорит с нею — они просто существуют в пределах одного взгляда. То, чему она благодарна, она не идеализирует, а анализирует.

Кажется при этом — по всей вероятности, это тоже поколенческая черта или одна из черт советской культуры её последних десятилетий, — что этическая мотивация при чтении на всех этапах жизни автора всё-таки существенно преобладала над эстетической. Последняя, с неотъемлемой гедонистической компонентой, разумеется, тоже была («какое дивное послевкусие у этого текста!» — восклицает автор, говоря о «Мастере и Маргарите» Булгакова), но занимала явно подчинённое положение. «Диалектика нравственного суждения, — пишет Русова, оценивая свой читательский опыт в целом и ранние его стадии в особенности, — пожалуй, одна из основных ценностей, вынесенных мною из многолетнего чтения». Этичность, этическая центрированность мировосприятия — черта не только советского чтения, но мировосприятия советского интеллигента вообще. Литература же именно на уровне общекультурных установок (вряд ли только интеллигентских, но уж их в особенности) была в первую очередь осознанным источником моделей самосозидания, жизнестроительства. Автор и по сей день, хотя советское время уже далеко позади, ищет в литературе общезначимые образцы поведения и искренне верит в их стимулирующую, формирующую силу: «...Не могу не пожалеть, — говорит она, — о почти полном отсутствии в русской литературе произведений “радостного делания”, изображающих профессиональный труд со всем присущим ему драйвом, вдохновением, отступлениями и атаками, победами и поражениями».

Сопластники автора ждали от литературы в первую очередь правды (понятой как этическая ценность), «свидетельств времени» и «прозрений». Это Русова говорит в связи с Юрием Трифоновым — который ожидания полностью оправдывал. Трифонова она сравнивает с Чеховым — поверите ли, не в пользу последнего! — именно по нравственному критерию. Вспоминая студенческие годы, она пишет: «...Для меня и тогда, и сейчас очевидна огромная разница между ними, и не в пользу Чехова. Дело не столько в несравненно большей ёмкости трифоновского текста и в открывающемся за ним историческом пространстве, сколько в нравственной позиции автора. Безусловно, Чехов по-разному относился к своим персонажам, но всё это отношение варьируется в одной цветовой и звуковой гамме несколько презрительного, отстранённого сожаления. А вот у Трифонова, при бесконечном понимании самых неприглядных действий и мыслей, чёткость моральной оценки несомненна». Литература для неё — это прежде всего о добре и зле: «Все его городские повести, — говорит она о Трифонове, — кричат о трагической невозможности *общего* противостояния злу, о незаметной и непоправимой разобщённости сил добра, которая привела к сонной апатии социума». То, что даёт важный нравственный (социальный, что то же) урок, в конечном счёте важнее чисто

эстетического события — как «Жизнь и судьба» Гроссмана, которая не принесла «художественных открытий», но тем не менее стала «важнейшим чтением» и «главным произведением» 1988 года. (Ни об одном из текстов не сказано и не могло быть сказано, что он, хотя и совершенно неинтересен в этическом отношении, стал источником ярких эстетических переживаний, — не та ценностная система. Видимо, в свете чего-то подобного автор, таинственным образом, считает «талантливым» «Что делать?» Чернышевского и, высказав это, сразу же цитирует фрагмент этого невыносимо плохо написанного текста.) Чтение вообще было для ровесников автора аксиологически заострённым занятием: «Книжное половодье хрущёвской оттепели <...> очень многое определило в жизненных ценностях моего поколения».

К устойчивым чертам читательской практики людей поколения Русовой относится и не раз упоминаемое ею многократное перечитывание (именно вследствие такового книга делалась неисчерпаемой, обрастая всё новыми и новыми значениями), и страстные обсуждения прочитанного (опять-таки с сильной этической доминантой: «...В спорах и обсуждениях, — пишет Русова, — открывалась друг другу нравственная структура каждого»), и общение с помощью знаковых цитат, и опознавание своих по этим цитатам и по книжным пристрастиям вообще, и чрезвычайно высокий статус литературы вплоть до употребления применительно к ней религиозной лексики («духовное существование») — «жадность к книжному слову, — комментирует это всё понимающий автор, — стала одним из способов утоления религиозного чувства». Впрочем, для человека литературоцентричного времени пастернаковский, поэтический Христос оказывался не только «милосерднее» и «человечнее» — в конечном счёте, ближе евангельского, но сильнее Его! «Его пришествие действительно могло, — говорит Русова о Христе Пастернака, — дать начало подлинному человеческому бытию и человеческой истории». А настоящего, значит, — нет?

Вообще, здесь много интересного сказано не только о самом чтении, но и о его, так сказать, культурных окрестностях, сопутствующих формах: о книжных барахолках и библиотеках как коммуникативных средах, о библиотеках домашних как ценностных, стилистических проекциях личностей их владельцев.

Интересная, с одной стороны, яркостью личности автора, с другой — типичностью её читательского пути, узнаваемостью маркеров каждой из его стадий, читательская автобиография Русовой показывает в числе прочего, кому и чему принадлежит ведущая роль в процессе чтения, определяющая в конечном счёте характер его результатов. Удивитесь ли? — не книге: читателю. В автобиобиблиографии Русовой ясно видно, как умный, думающий, растущий человек берёт то, что ему нужно, из чего угодно — даже из третьесортной литературы о Ленине, которой ровесники автора и она сама изрядно начитались в детстве, и не только по принуждению, но и вполне по доброй воле. Что до времени, с его культурой, установками, ценностями — третьего, наряду с читателем и книгой, участника события чтения, — то оно тут тоже не главное, хотя очень старается таковым быть и некоторых результатов всё-таки добивается. Оно всего лишь задаёт направления внимания — и не более того.

Алексей ГОЛУБЕВ. Вещная жизнь: материальность позднего социализма / Пер. с англ. Т.Пирусской. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 328 с.: ил. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

Сказать, что американский историк, доцент (Assistant Professor) российской истории Хьюстонского университета (США) Алексей Голубев пишет именно о «вещах» позднесоветского времени, было бы всё-таки некоторой натяжкой: настоящий предмет его внимания — скорее, практики и проекты, а также пространства, с которыми

эти практики и проекты были существенным образом связаны. Точнее всего тут было бы говорить о взаимоотношениях человека с материальными объектами, имеющих, в свою очередь, обратное влияние на самого человека (в конечном счёте — о формировании человеком себя, при котором материальному объекту, чем бы он ни был сам по себе, достаётся роль посредника, инструмента, отражающего зеркала; самое большее — экрана для проецирования на него «исторического и социального воображения». И это чрезвычайно интересный и плодотворный ход мысли.

О «вещах», то есть о предметах в сколько-нибудь строгом смысле, речь идёт, пожалуй, только во второй главе книги — там, где автор анализирует советскую (и отчасти постсоветскую) практику изготовления и коллекционирования масштабных моделей разных машин, концентрируясь по преимуществу на военной технике. (Но и те оказываются не более чем посредниками в воспитании определённым образом настроенного человека: по мысли автора, государство поощряло и даже систематически организовывало их изготовление затем, чтобы внедрить в человека — через собственные его, создающие модель движения — определённое видение истории.) В других главах он говорит: об отношении к технике вообще и о решениях связанных с нею изобретательских задач в особенности (и о теории их решения — ТРИЗ, предложенной Генрихом Альтшуллером, как особенной разновидности «советского техноутопизма»); о принципах реставрации старых деревянных строений на Русском Севере, имеющих целью поиск «исторической подлинности» (весьма, как показывает автор, проблематичный), о символической нагруженности при этом дерева как материала и вообще о музеефикации старинной архитектуры в послевоенном СССР (тут автор очень любопытно выявляет преемственность между откровенно почвеннической реставраторской практикой и раннесоветским — чуждым, казалось бы, всякому почвенничеству — конструктивизмом); об обживании и не предусмотренном градостроителями использовании — о выходе их, значит, из-под всякого официального контроля — «проходных» пространств: подъездов, подворотен, заполняемых всяческой неконвенциональной жизнью на грани криминала, а то и за этой гранью; о подвальных «качалках» (в роли вещи тут выступает «железо», с помощью которого подпольные культуристы накачивали свои мускулы; автор усматривает глубокое родство этого увлечения с медицинскими практиками Гавриила Илизарова и Валентина Дикуля, которые, как он утверждает, «вывели раннесоветский миф о силе металла на новый уровень», что, в свою очередь, обеспечило им и политический вес) и, наконец, о телевизоре совсем уж последних советских лет, когда с их экранов морочили голову зрителям Чумак и Кашпировский и покоряла сердца и тела новейшая тогда аэробика, она же «ритмическая гимнастика» (причину власти всего этого над умами автор видит именно в телевизоре как материальном объекте). Говорить о телевизоре как о вещи в данном случае, кажется, изрядная натяжка, хотя автор очень старается сделать её убедительной и показывает даже, что телевизор определённым образом структурировал домашнее пространство, подчиняя его себе).

Перед нами не то что последовательно выстроенная система, — на то, чтобы описать и охватить единой концептуальной сетью все мыслимые аспекты взаимоотношений советского человека с материальными объектами (ну, скажем: с одеждой, посудой, игрушками, письменными принадлежностями...), автор и не замечается, намечая лишь несколько подходов к этой неисчерпаемой теме с нескольких (всего-то с шести) разных, весьма удалённых друг от друга сторон, разговор о которых опять же не претендует на то, чтобы сложиться в последовательное повествование. Связность всем этим фрагментам придаёт их общая теоретическая основа — и вот тут уже, при всей изощрённости используемого автором теоретического инструментария (которого как такового он не изобретает, всего лишь разрабатывая, развивая уже существующие подходы, применяя их к позднесоветскому материалу) —

есть, кажется, основания говорить о некоторой зауженности, «пережатости» авторского подхода к этим материям. Грубо говоря, он ощутимо идеологизирует все эти отношения человека с материальными объектами в их советском варианте и сводит их по существу к властным отношениям: власть — с помощью вещи — стремится выстроить человека по своим соображениям. Особенно ярко это показано на примере моделизма, из которого автором практически совсем изъята чисто познавательная компонента: создавая модель собственными руками, человек, особенно ребёнок, просто отчётливее понимает, как был устроен прототип; наощупь прослеживает — вращивая в собственное самоощущение, — логику её организации; формирует себе техническое мышление. Голубев видит это так: «В силу связи между советской технополитикой и внешкольными мероприятиями юные участники кружков подвергались идеологическому воздействию <...> Эта связь превращала материальные объекты их деятельности в объекты идеологические, наделённые политическими и историческими смыслами»; «материальная трансформация моделей, — настаивает он, — была неразрывно связана с дискурсом и идеологией». (Автор тут проникает, кажется, прямо в позднесоветское подсознание — в тотальной идеологизированности того же моделирования и его участники, и даже его организаторы вряд ли отдавали себе отчёт, более того, рискну усомниться и в том, что упомянутая связь — несомненно существовавшая — была так уж пряма, всеохватна и безусловна.) Частный же человек, в свою очередь, ищет способы ухода из-под этой всепроникающей власти. Так происходило в случае обживаемых подростками, пьяницами и беззаконными любовниками подъездов и подворотен; в случае изготавливаемых позднесоветскими энтузиастами деревянных кораблей, воспроизводящих суда поморов, что позволяло их строителям почувствовать себя наследниками «поморской культуры мореплавания» (то есть — создавало им альтернативную идентичность или хоть иллюзию таковой). Подвальные «качалки» в этом смысле стоит считать, видимо, переходной / гибридной формой, имевшей целью, с одной стороны, выстраивание правильного, идеального советского тела (недаром качки-любера были известны своей борьбой с тлетворными влияниями Запада), с другой — оттачивание самоконтроля и, значит, повышение личной автономии. Речь идёт, в конечном счёте, всегда о некотором насилии и путях его избегания, и роль позднесоветской вещи, таким образом, сводится к идеологическому (политическому) программированию человека.

Кажется, настоящую убедительность эти — сами по себе очень интересные — ходы исследовательской мысли приобрели бы в том случае, если бы было проведено систематическое сравнение аналогичных практик (хотя бы моделирования или использования «проходных» пространств) в других, желательно как можно более несоединённых странах (скажем, в Канаде и США, где автор работал в университетах). Тогда стало бы яснее, что в этих практиках специфически советское, а что — общечеловеческое.

Леонид ФИШМАН. Эпоха добродетелей: после советской морали. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 232 с. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

Сколь бы ни были интересны две предыдущие книги этого обзора, самую захватывающую работу интерпретации советского и прямо из него вытекающего постсоветского опыта проделал автор третьей — политолог, доктор политических наук Леонид Фишман (Институт философии и права УрО РАН, Екатеринбург). Это вообще одна из наиболее здравых книг о позднесоветских и постсоветских процессах, читанных автором этих строк в последнее время. Фишман поставил себе целью, проанализировав

«тектонические сдвиги в коллективной морали», вне всякого сомнения, произошедшие в нашем отечестве в конце XX — начале XXI века, найти ответ на вечно жгучие вопросы: в каком всё-таки обществе мы живём «и почему так получилось». Да, он совершенно согласен с тем, что не получилось ничего хорошего. Однако он намерен — для полноты понимания — выйти за рамки традиционно противопоставленных друг другу ответов на этот вопрос. Согласно одному из них российское общество как таковое, в принципе, — «набор архаических феноменов, сплошное “отклонение” от социальной и политической “нормы”», как в советские времена, так и после них; а уж советский человек вообще был лживым, лукавым, циничным приспособленцем без уважения к себе и чувства собственного достоинства, и морали как таковой в тогдашнем обществе даже зародиться не могло. «В целом можно сказать, — цитирует Фишман высказывание одного умнейшего, тончайшего автора о своих собратьях по культурному пласту (даже не скажу, кто это, чтобы лишний раз не расстраиваться), — что [у советских людей. — *О.Б.*] нет всего того, что связывает человека со всем прекрасным, странным, живым, тонким, сложным, что создано родом человеческим». Согласно же другому (его тоже формулировали не самые глупые люди, вот, например, Александр Зиновьев), советское общество было как раз высокоморально, а после 1991-го случилась моральная катастрофа, потому что злонамеренные силы ввели наивных и доверчивых советских людей в заблуждение. Проблематичны, показывает Фишман, оба ответа, — да-да, и первый в его неогрублённых вариантах! — поскольку оба «в равной мере схематичны и идеологизированны». Следовательно, надо искать другие пути к пониманию.

(Что до проблематичности первого ответа, получаемого с помощью хорошо усвоенных «западных мейнстримных теорий» и их категориального аппарата, — она в том, что предлагающие его замечают в постсоветских процессах «преимущественно отклонения от должного, от социального идеала»: «например, тоталитаризм (авторитаризм), усиление феноменов социальной архаики и *власти-собственности, недостойное правление, неопатримониализм, неофеодализм, коррупционные взаимодействия, которые необходимо преодолеть в логике транзита, модернизации и движения к обществу открытого доступа, находящемуся на идеологической вершине ценностно-институциональной иерархии западоцентричного политического знания*» — и говорят таким образом о том, чего в изучаемом обществе нет. Но и это ещё не вся беда: «...Со временем выяснилось, что вся подобная *институциональная архаика* постепенно обнаружилась и в обществах, которые должны были служить образцом для сравнения».)

Стремясь избежать идеологизации, автор выбирает в качестве исследовательского инструмента исторический анализ и прослеживает происхождение советской системы ценностей, а главное — моделирует её структуру («советское общество, — говорит он, — имело <...> тонкую, сложную, исторически изменчивую и противоречивую структуру ценностей на всех культурных этажах и во всех сообществах, не сводимую к официальной иерархии высших ценностей»). Структура в его представлении оказывается в самом общем виде двухъярусной — он называет её «советской моральной пирамидой», причём говорит, что такая пирамидальная конструкция свойственна «любой универсальной системе ценностей». Верхний её этаж — так называемая «этика принципов»: она включает в себя «нормы и ценности, мировоззренчески фундированные таким образом, что смысл придерживаться их далеко выходит за пределы повседневной жизни, является трансцендентным». Нижний — «этика добродетели и героическая этика». Именно она устояла и дала начало моральным принципам девяностых со всеми их неоднозначностями, когда в результате крушения советской власти верхушка с её мировоззренческими принципами оказалась срезанной.

Показывает Фишман в результате вот что: во-первых, в советской морали было множество элементов, напрямую — и не очень отрефлексированно — заимствованных из столь осуждаемой в советское время морали буржуазной, и вообще независимо от публичных деклараций на эту тему «во многих чертах советское общество больше напоминало буржуазное, чем социалистическое», во-вторых, те ценностные установки, что сложились в девяностые и действуют по сию пору, не просто не так уж противоречат советским, а возникли в результате их трансформации, напрямую их продолжают. «...Произошло нечто вроде отбрасывания головастика своего хвоста, в результате чего окончательно оформилось общество с *другой* (не обязательно содержательно *новой*) моралью, зревшее в недрах общества советского». В девяностые, полагает автор, произошла не то чтобы катастрофа, но «реактуализация тех ценностей, добродетелей, личностных образцов, которые в целостной структуре советской морали играли подчинённую роль»: и потребительский дискурс, и забота прежде всего прочего о себе и своём окружении (эта последняя развилась впоследствии, прямо-таки на наших глазах, в оправдание борьбы за «своё» и «своих», взывающее «к лучшим сторонам человека» и апеллирующее к героическим ценностям).

Насчёт нашего нынешнего состояния Фишман ни в малейшей степени не обольщается, посвящённую ему подглавку справедливо называет «Скрепки и пустота» и описывает его следующим образом: «...Свет <...> становится всё тусклее, тени всё длиннее, а смыслы всё туманнее». Но алармизм — точно не его позиция: «Впрочем, говорят, — добавляет он далее, — именно в такие времена и вылетает сова Минервы».

Кажется, ей уже настала пора вылетать.

Борис Минаев

Попытка удержаться

Когда иду в театр, всегда вспоминаю — когда тут был, что видел? С драматическим театром имени Станиславского — всю жизнь у меня прерывистые, но особые отношения. Начиная, наверное, еще с «Лысого брюнета» (начало 90-х), когда на театральную сцену впервые вышел Петя Мамонов. Помню, в зале сидели люди в «косухах», в цепях, странные девушки в странных прическах, немного дико озиравшиеся вокруг: как себя вести в театре, из них знали немногие, при появлении Пети (а он не все время был на сцене) раздавались лихой свист и выкрики.

Но оказалось, что Мамонов — не только герой рок-н-ролла, но и большой драматический артист. Потом (в начале 2000-х) еще несколько его постановок я здесь видел (например, «Есть ли жизнь на Марсе?»). Еще в 90-е были спектакли Владимира Мирзоева («Сон в летнюю ночь», например) — невероятно пластичные, магические, немного страшные (и молодая, дико красивая Виктория Толстоганова в них). Я шел тогда в театр, зная, что чуть ли не основную его легенду я пропустил, и было обидно, но что ж делать: «Взрослую дочь молодого человека» Анатолия Васильева, увы, я не застал. Но видел «Мужской род, единственное число», в немного холодном зале зимой 97-го, легкий такой французский водевиль, но безумно популярный у зрителей — со звездой театра Владимиром Корневым, киногероем еще 60-х («Человек-амфибия»). Зал благодарно хохотал от довольно грубых шуток, от буффонады и бурлеска, но, наверное, это и было нужно тогда, в середине 90-х.

...В 2013 году худруки театра имени Станиславского перестали часто-часто меняться, и сюда пришел «на постоянку» известный театральный новатор Борис Юхананов (в следующем году будет 10 лет, как он тут появился, в красном здании на Тверской возле бывшего Музея революции). Юхананов все тут перестроил, переделал, от старого зрительного зала и узкого фойе ничего не осталось — только зеркала, зато теперь тут целое «общественное пространство» для лекций, кафе, книжного магазина. Не театр, а целый клуб творческой молодежи.

...Начинал Юхананов в этом театре совершенно замечательно — с «Синей птицы» Метерлинка, но это был не совсем Метерлинк, конечно. Да и не совсем театр. То есть да, театр — но уж больно для меня непривычный.

Вся эта вереница людей, причудливо и изысканно наряженных, эта медленно бредущая ярмарка фриков, эта бесконечная медитация внутри загадочных образов и фантазий — что это? И почему три спектакля, а не, к примеру, один?

«Синяя птица» была оммажем, или, попросту говоря, посвящением Владимиру Корневу и его жене Алефине Константиновой, их долгой и яркой театральной судьбе, вообще посвящением человеку искусства и включала в себя и отрывки из спектаклей, и их личные воспоминания, и те самые «странные видения», причудливые образы, без которых любой спектакль Юхананова невозможен.

Коренев и Константинова с удовольствием сыграли в этой «Синей птице», и это был театральный новатор, молодой режиссер, чьи эксперименты они безоговорочно и безоглядно поддержали.

Коренев скончался 2 января 2021 года. «Человека-амфибии» больше нет. Больше не придут на его спектакли девушки 60-х и 70-х годов со следами бывлой красоты, для которых он полвека оставался кумиром и тайной влюбленностью. Да и вообще в театре, который поменял и внутреннюю отделку, и название, и принципы работы (только фасад, наверное, остался прежним), — вся публика, конечно, тоже поменялась.

«Электротheater Станиславский» больше не скрывает лабораторный характер своих постановок. Важно, что это — лаборатория открытая, приглашающая стать свидетелем всех ее опытов и экспериментов. Не скрывающая, что для того, чтобы понять новую постановку, сначала неплохо бы прослушать курс лекций о культуре, философии или театральной эстетике. Приглашающая к обсуждению спектакля (это здесь в порядке вещей).

Лаборатория, в которой все жанры смешаны и все принципы — текучи. Понятно, кто сюда ходит: огромный мир, так сказать, «студентов и аспирантов», абитуриентов и молодых гениев, людей молодых, ищущих, творческих, амбициозных, желающих прославиться сразу и вдруг, а также их друзья и знакомые — целый мир молодой творческой Москвы. Вот аудитория Юхананова. Безразмерный московский андеграунд.

...И сейчас, в 2022 году, — новая грандиозная работа — цикл театральных вечеров под названием «Мир. Рим».

Шел на один из премьерных показов и думал: а может, мне на последнюю часть надо идти? Как вообще все это смотреть?

Масштаб задуманного Борисом Юханановым, конечно, поражает: двадцать один спектакль!

Четыре шекспировские пьесы на «римские» мотивы — в основе проекта.

Десятки дебютных студенческих работ (или работ совсем-совсем молодых актеров, художников) — студия Юхананова открывает, что называется, таланты в фабричном количестве. Коллажи, поражающие свободным дыханием — видеоинсталляции, музыкальные и голосовые медитации, пародии, элементы дизайнерских перформансов, куча актерских «этюдов», лирических отступлений.

Огромная, как говорится, масса материала. Но дело, разумеется, не в ней, не в массе.

В шекспировских трагедиях (скажем, в «Кориолане» или «Тите») речь идет о войне и власти. О жестокой неотвратимости войны. О природе власти, всегда опирающейся на войну, как на свой инструмент.

О человеке, который во всей этой кровавой каше вынужден жить, дышать, любить, страдать, каким-то образом сохранять свое человеческое естество.

Такова, так сказать, общая рамка цикла «Мир. Рим».

И когда ты понимаешь, о чем, собственно, речь, — автоматически настраиваешься на некие «шифровки», на эзопов язык, на фиги в кармане, на выпирающие из текста спектакля намеки и указания, словом, на современный контекст, в который будут погружать эти «римские трагедии». Да, собственно, и сам Шекспир писал их, разумеется, отчасти целя в современных ему персонажей и современные обстоятельства.

«Звуки и буквы, которые определяют слова "мир" и "Рим", образуют квадрат, который мы наполняем звучанием шекспировских трагедий: "Юлий Цезарь", "Антоний и Клеопатра", "Тит Андроник" и "Кориолан". Из этого квартета текстов можно создать первозданный шекспировский Рим, в котором личность формировалась принципами, правом и правилами, но при этом человек сохранял свою субъективность как тайну.

Если же соединить эти два слова, то получится «МИРРИМ» — слово с рычанием внутри, намекающее на присутствие римской волчицы. Мир понят как образ

бытийственной тайны, полноты жизни, не тронутой ангажементом и склонной к немоте и тишине», — пишет в программке (то есть в программном тексте к спектаклям цикла) сам Борис Юхананов.

Грубо говоря, не ждите — не будет вам тут ничего актуального и современного! Не надейтесь.

Что ж, мы, собственно, и не надеялись особо — и всё же, всё же, всё же.

«С и ц и н и й. Но как могли вы быть настолько глупы
Чтоб не понять его, и так по-детски
Доверчивы, чтоб голоса отдать,
Коль поняли его?

Б р у т. Что ж не смогли вы
Ему ответить так, как вас учили, —
Что в дни, когда он не стоял у власти,
А был еще слугой безвестным Рима,
Он к вам уже питал вражду и речи
Держал в собраниях против вас, пытаюсь
Лишить плебеев вольности и прав;
И что теперь, когда он приобрёл
Влияние и силу в государстве,
Оставшись, как и встарь, врагом народа,
Беду накличет ваши голоса
На вас самих...»

Да, а с другой стороны: как мы сегодня должны читать эти тексты? Тексты о жестокой кровавой войне, об увечьях, унижении и страданиях народа из «Тита» или «Кориолана»?

Вот тут и приходит на помощь привычный ход юханановской эстетики: смешение жанров и стилей, резкость красок и переходов, а главное — вольный дух 80-х годов, когда «все было можно». Вот что пишет об этом критик Вадим Рутковский: «Четыре трагедии Шекспира — "Антоний и Клеопатра", "Кориолан", "Тит Андроник" и "Юлий Цезарь" — основа, но Рим Юхананова — открытый город; Город-Сад расходящихся тропок, которые куда только не ведут. В узнаваемую современность — локациями могут быть и римские площади, и римский сенат, и кабинет цезаря, и современные многоэтажки, рестораны, ночные клубы или офис радио "Бормотуха FM", круглосуточно вещающий околесицу... Патавселенная уравнивает в правах попсу и классику, элиты и чернь, Годара, Че Гевару и песенно-разухабистую Екатерину; это действительно тотальное пространство».

Нуда.

Однако мне показалось, что есть во всем этом «смешении жанров», в коллаже разных эпох, круговерти ассоциаций, еще и отчаянная попытка автора (Бориса Юхананова) остаться *на своей* почве, на своей позиции «высокого художника», немного надменного и печального, но всегда взирающего на этот мир с далекой дистанции, позволяющей его «обозреть», то есть — увидеть целиком.

...Но отчаяние все же чувствуется — и в выборе текстов, и в холодно-отстраненной манере их произносить, доносить до зрителя, в почти пародийной декламации, и в этих страшных крутящихся световых картинках, и в страшных гримасах театральной клоунады, и все-таки — еще и еще раз — в глубине трагедии, происходящей не с одним человеком, а с целым народом, кажется, именно это ищет и находит Юхананов в Шекспире.

Есть два эпизода в спектакле «Подмостки. Вечер 7», в которых происходит синтез, «склейка» всех частей юханановского коллажа, когда зритель должен если не «все понять», то уж, по крайней мере, все *ощутить*.

Вставная новелла голосом «девушки 80-х», сегодня уже довольно немолодой, — о том, как жили в Ленинграде времен поздней перестройки, как пили и жили коммуной, в художническом сквоте, как безнадежно влюблялись и страдали, как бродили по нищему и голому, но уже внутренне свободному Ленинграду... Это совсем личный, совсем авторский голос, субъективный и в правильном смысле слова «женский», то есть горький и лиричный, — что он делает среди всех этих котурнов и высоких истин?

Да в том-то и дело, что абсолютно личная эта новелла — одновременно и самоироничная, и ностальгическая — происходит на фоне огромных исторических перемен, на фоне того *сдвига* в большой истории, к которому, в конечном итоге, обращены все спектакли цикла. Это островок личного бытия в потоке безличных, «общих» трагедий и драм.

Мы тогда жили на фоне афганской войны, галопирующей инфляции, событий в Тбилиси, Вильнюсе и Ереване, всех драм 90-х — не теряя себя, не теряя своей идентичности. Мы выстояли и выжили, потому что любили.

Этот вывод мне дорог, так же как и дорога другая метафора, которой Юхананов внезапно «склеил» куски своего античного коллажа: когда люди в масках современных западных политиков, являющихся в нашем медийном потоке сегодня «символами зла», — сьедают эти маски, громко хрустя вафельным печеньем, из которого они сделаны. Пожирают лица Байдена или Меркель, да, собственно, не важно, кого именно, — маски «врагов».

Этот кусочек каннибализма, который вводит поначалу в ступор — что это? — агитка? — пропаганда? — заканчивается тем, что персонажей этих (с масками) «лечат» медсестры в белых халатах, делая им некую «электрошоковую терапию», и они становятся нормальными.

Сложная метафора, которую можно прочесть и так и этак — но в целом ясно, что на всем протяжении спектакля (и надеюсь, всего цикла) мысль о «дистанции» между человеком и Историей, о попытке «удержаться» на островке личного «я» — может быть, главная для создателей.

Удастся ли удержаться, удастся ли найти эту спасительную нишу и забраться в нее, удастся ли сохранить эту дистанцию, чтобы сохранить себя, — это уже другой вопрос.

Но попытку такую, наверное, сделать необходимо, чтобы тебя не смыло волной страха и крови.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Журнал «Дружба народов»
можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.
Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**
Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**
Электронную версию «ДН» можно приобрести на
<http://дружбанародов.com>
Журнал продается в московских магазинах:
«**Фаланстер**» (Москва, ул. Тверская, 17,
вход с Малого Гнездниковского переулка)
«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА
Корректурa: Елена ЛАПШИНА
Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

**3 приза
по 500 000 р.
в трёх
номинациях**

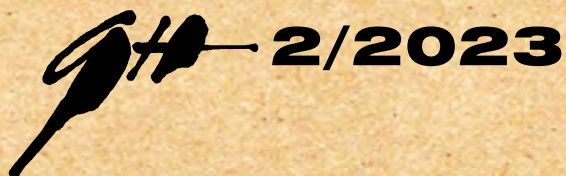
- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2023 года

18+



премияарсеньева.рф



Читайте:

Андрей Волос. «Облака перемен». Роман

«Первые недели нашей любви мы без устали болтали. То есть я-то по большей части помалкивал, а Лилиана говорила, рассказывая о себе много и с удовольствием. Немудрено, что она стала несколько повторяться. Вскоре я начал замечать, что повторения, которые должны были бы являться подобно эстампам из-под одного камня, друг от друга отличаются — словно она всякий раз тащила наугад карту из колоды и сама удивлялась, что это семёрка бубен, а не валет червей, как в прошлый раз. ...Она была совсем маленькой, когда мама с папой по дороге на дачу попали в аварию. Это было ужасное, непереносимое событие: мама погибла. Обломки рухнувшего тогда мира вторгались в настоящее: глаза Лилианы становились большими и мокрыми, я сочувствовал и утешал как мог. Когда она впервые поделилась со мной несчастьем, то следующие полтора часа мы провели в совершенном трауре, а немного отвлечь её мне удалось, предложив не ограничиваться кофе, а взять по салату, и она выбрала с крабами. Во второй репликации мама летела к папе самолётом. Папа с киногруппой отправился раньше, она следом — и её самолёт не долетел, вот такая история. В третьей версии случилась не авиакатастрофа, а ужасный удар лёгочного вируса. В Москве её бы, скорее всего, спасли, но дело было на съемках папиного фильма, и там, где-то между Ташкентом и Фрунзе, дело закончилось самым плачевным образом...»